Цена 80 коп.

Индекс 70544

ISSN 0131—2251

Молодая гвардия 2 1989



2

Первая страница обложки журнала: Фото М. Климентьева.
Вторая и четвертая страницы обложки журнала: Фото Б. Раскина.

«Молодая гвардия», 1989, № 2, 1—288

Наш адрес:

125015, Москва, А-15, Новодмитровская ул., 5а. Телефоны редакции: приемная — 285-56-90; отдел прозы — 285-80-15; отдел поэзии — 285-88-40; отдел очерка и публицистики — 285-80-26; отдел критики — 285-80-14; отдел «Товарищ» — 285-89-66; секретариат — 285-80-16.

Подписка на журнал ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» производится без ограничений с любого месяца года.



ПОЭЗИЯ

Виктор ВЕРСТАКОВ

ОТКИНУВ ПАРАНДЖУ ВОЙНЫ

ВРАЧ

Переезжаем Саланг,
смотрим и влево и вправо:
то на обочине — танк,
то под горою — застава.

Ветер порывами бьет.
Мы не торопимся, чтобы
не проморгать гололед
и не заехать в сугробы.

К этому часу уже
заночевали колонны,
сгрудились, как в гараже,
дула направив на склоны.

Все изменилось внизу —
трасса, природа, погода.
Мчим из метели в грозу,
рухнувшую с небосвода.

Но разгорается вдруг
зарево встречного света...

Что тебя бросило, друг,
в гонку опасную эту?

Мы бронегруппа почти —
два боевых «бэтээра».
Здесь в одиночку идти —
самая крайняя мера.

Вправо, товарищ, смотри!
Справа за вспышкою вспышка.
Ну подожди, не гори,
мы уже близко, мы близко.

Ты поработай * в ответ —
«духи» не любят работы.
Выключи, родненький, свет.
Что же ты медлишь, ну что ты!..

Вырвался из-под огня
броневичок с капитаном.
«Похоронили меня?
Рано, товарищи, рано!»

Встал на броне во весь рост,
вытянул руку с часами:
«Еду к больному на пост,
а уж с засадой — вы сами...»

Та же гроза в небесах,
та же засада пред нами.
...Были б врачи на часах,
все остальное — мы сами.

ДЕВЧОНКИ НАШЕГО ПОЛКА

Я не о тех, кто ждет нас дома,
хоть жизнь их тоже нелегка...
Грустят под гул аэродрома
девчонки нашего полка.

В палатке гладят и стирают,
в палатке думают о нас.

* «Работа» — обстрел.

Но от любви не умирают,
как мы от выстрелов подчас.

Библиотекарша, связистка,
официантка, медсестра.
Стоят их коечки так близко,
чтобы шептаться до утра.

Но вот заходит на посадку
с гор прилетевший вертолет,
и медсестра глядит украдкой
на телефон и воду пьет.

Палаточный откинув полог,
выходит молча за порог.
Как странен взгляд ее, как долог,
как темен мир и как жесток.

Пусть обошлось: никто не ранен
на тех горах, где мы лежим, —
но долог взгляд ее и странен
и не по-женски недвижим.

ЛЕЙТЕНАНТ ЦАРАНДОЯ*

В Кабуле — весенняя мода
на все, даже на паранджу.
Рассматриваешь пешеходов,
а я на тебя погляжу.

Здесь женщины — в цвете небесном,
иконном, рублевском почти.
Но, впрочем, тебе неизвестно
про наши иконы. Прости.

Идешь по большому Кабулу,
сын маленького кишлака,
среди многолюдного гула
тебе неуютно пока.

Дуканы, жаровни, машины,
навесы, витрины, лотки.

* Царандой — народная милиция Афганистана.

И женщины, словно кувшины,
блистательны и высоки.

В селении высокогорном
другие фасон и цвета:
там женщины горбились в черном,
смотрели сквозь нити холста.

И мать, провожая, всплакнула
под грубою той паранджой.
...Был красен твой путь до Кабула
от крови своей и чужой.

Ты думал, что рай тебе снится
на узком врачебном столе,
открытые женские лица
увидев на грешной земле.

Одетые в белые ткани,
медсестры стояли вокруг,
когда ты в наркозном тумане
боялся коснуться их рук.

Нас женщины в черном — рожают,
нас женщины в белом — хранят,
в лазурном — любовью сражают,
украдкою бросивши взгляд.

Но вся их небесная мода
тебе поклониться должна:
ты в сером — под цвет небосвода,
в котором дымится война.

РАССКАЗ СОЛДАТА

Полыхал «бэтээр» за спиною,
и бензин разливался вокруг.
И навеки прощался со мною
настоящий, не песенный друг.

Настоящий, родной, опаленный
не придуманным жарким огнем.
Рядовые, без лычек погоны,
покоробившись, тлели на нем.

И подробностей вам не расскажут
ни комдив, ни начпо, ни комбат,
только место на карте укажут,
где отмучился этот солдат.

Да и мы с ним простились лишь взглядом,
когда полз я к живому огню.
Если вы с нами не были рядом,
как же это я вам объясню?

На маршруте в засаду попали,
и граната пробила движок, —
вот и все в документах детали
плюс диагноз: смертельный ожог.

Ну а то, что дружили мы свято,
что делили мечты и пайки, —
мне, пока что живому солдату,
пересказывать вам не с руки...





СТИХИ МОЛОДЫХ

Михаил ШЕЛЕХОВ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ТРУБАЧ ПУСТЫНИ

Соловей мой, трубач кочевых
лагерей,
Что поешь ты у нашей заставы?
Умолкает твой розовый плач на
заре,
Как покличут солдат перевалы.

Ты приехал сюда на солдатской
броне
Или с летчиком в громе машины?
Или сам долетел на залетной весне
Нежным запахом черной полыни?

Горн печали, далекий Отечества
дым!
Женский голос серебряной масти...
Тихо курим да в южное небо
глядим,
И глаза разъедает нам счастье.

И, врастая стремительно в утренний
строй,

Как невесту, тебя вспоминаю!
За тебя, соловей, невидимка лесной,
Автомат свой в атаку кидаю.
Нам в суровой пустыне никто не поет.
Только письма приходят порою.
И живет по ночам наш брезентовый взвод
Одинокой твоей красотою.

АЗИЯ

Окраина сердца. Пустырь.
Сараи. Арыки. Старуха.
Вдали — бездорожный ковыль
И кладбище света и звука.
И смотрят глазами столетий
На призраки черных степей
Батыры из камня — мечети,
И чайные розы детей.
Идем мы, в пропыленных робах,
Рабочие долгой войны,
На краткий солдатский свой отдых
И видим: мрачны валуны.
Пространства бездонная скука.
Полыни сухой нашатырь.
Базары. Верблюды. Старуха.
Окраина сердца. Пустырь.
Но знаем, что будут не вечно
Расколоты зноем пески
И встанут в крови человечьей
Весны голубые ростки...

«ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН»

Лишь солнце за угол земли завернет
И в сумерках всхлипнут ворота,
В окне моем снова и снова встает
Безмолвный фантом вертолета.
Не движется лопасти черной весло.
Как призрак, висит он без силы.
Беспомощный профиль его тяжело
Несет отпечаток могилы.

Сгорела вертушка в железном бою
На склоне исламского года...
С тех пор не садилась в родимом краю
Тревожная тень вертолета.

Винты броневые мне в душу стучат,
И кличет воздушная битва!
И черные звезды на небе горят,
Как будто о павших молитва.

И кажется мне, что моя это тень
Зовет и кружится все ближе...
И кличет на помощь в тот гибельный день,
И манит, как птица, на крышу!

Так близко качается «черный тюльпан» —
Мороз пробегает по коже!
И хочет меня унести он в Афган,
И плачет, и все же не может...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Снова радуга... Что-то случилось.
Наступил необычный апрель.
И забилась, и остановилась
Беспокойной весны карусель.

Снова дома я, в тихом апреле,
И любуюсь дровами в цветах.
И последнее эхо метели
Отдается в цветных куполах.
Тихий мир, ты приник и напомнил
Старый лад и российский уют,
Где в окошке, подобно иконе,
Снегирями герани цветут.
Ничего, что трепали нас бури!
В волосах у берез — седина.
Снова сердце почило в лазури
Беспечального вешнего льна.
Все мы, родина, что-то устали,
Придремали на теплом ветру...
Пол-Востока к тебе отшагали,
Чтобы кануть в апрель поутру.



Александр БАЙГУШЕВ

ХАЗАРЫ

Исторический роман

Рис. Ю. Макарова

Исчезнув тысячу лет назад, «таинственные хазары» остались для нас строкой из А. С. Пушкина: «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить неразумным хазарам» — и скупой записью в «Повести временных лет»: «В год 6473 (965 г. по современному летосчислению) пошел Святослав на хазар. Услышав это же, хазары вышли навстречу во главе со своим князем Каганом и сошлись биться, и в битве одолел Святослав хазар и город их и Белую Вежу взял».

А между тем целых 300 лет — со второй половины VII века до середины X века Великий Хазарский каганат занимал заметное место на политической карте Евразии, подчинив себе громадные пространства и включив в свою державу многочисленные кочевые и полукочевые народы — остатки прошедших через южнорусские степи страшных полчищ гуннов. Столица каганата Итиль находилась в низовье Волги, западная граница проходила по Крыму, южная — вдоль Кавказского хребта, восточная — по заволжским степям. На севере хазарам платила дань Русь. Пошлины с торговых караванов, проходивших через владения каганата, а также дани народов кормили правителей. А постоянные набеги хазар на Русь и Закавказье поставляли свежий товар хазарским купцам, преуспевавшим в работорговле на рынках Европы и Азии.

Разноликий племенной состав породил своеобразный «экуменизм» хазарских правителей, поддерживавших все верования одновременно. Многие хазары остались в язычестве. Христианство влияло на Хазарию из Византии, из Тьмутараканской и Киевской Руси, причем одновременно с православием проникли в Хазарию многочисленные ереси. Мусульманство наступало из Халифата. Торговые люди и ремесленники, стекавшиеся в хазарские города, принесли с собой иудейство. Иудеи заселили целые кварталы в столице хазар Итиле, в подвластных хазарам кавказских и крымских городах. Дело кончилось тем, что иудаизм стал господствующей религией.

Экономическое развитие каганата вскоре зашло в тупик. Транзитная торговля, процветавшая в Хазарии, приобрела характер спекулятивной перепродажи. Развращаемые щедрыми подачками торговцев, правители каганата перестали обеспечивать хоть в какой-то степени защиту интересов вошедших в каганат народов.

К середине X века скотоводство и земледелие в Хазарии пришли в упадок. Изменился характер ремесла в городах. Высокое искусство — поэзию и ваяние — вытеснили вещи, предназначенные для массовой продажи на чужих рынках, сделанные на низменный вкус. Упала нравственность, исчезли духовные корни, обострились отношения между племенными группами.

Тень гибели простерла свои крыла над некогда мощной державой с прочной экономикой, самобытной культурой, сильной верховной властью, умевшей сплотить разные народы.

Время действия романа — поворотный в исторических судьбах хазар 965 год.

Владимир КАРПЕЦ,
научный сотрудник сектора истории Института государства и права Академии наук СССР, член Союза писателей

КНИГА I

ЕРЕСЬ

Это было время, когда... абсолютно некритическая смесь грубейших суеверий самых различных народов безоговорочно принималась на веру и дополнялась благочестивым обманом и прямым шарлатанством; время, когда первостепенную роль играли... каббала и прочая мистическая колдовская чепуха. Такова была атмосфера...

Эта сумбурность проявляется в образовании многочисленных сект, борющихся друг с другом по меньшей мере с таким же ожесточением, как и общим внешним врагом.

Ф. Энгельс

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

(Канун Года Барса по летосчислению кочевников;
965 год по календарю;
354 год мусульманской хиджры)

Волчонок

По пустынному Хазар-морю ходко шла пятидесятивесельная военная лодка — сафина. Начертаны были, как положено для военной лодки, белые полосы по бортам сафины, и черный флаг реял над нею с вышитыми серебром словами: «Мухаммад — посланник Аллаха».

Солнце и месяц в тот час, видно, разошлись в дороге — не передали друг дружке света, потому быстро падали на море студенистые сумерки, словно бухарская чадра, двоившие очертания.

Поход был опасным. Но гребцам представили молодого крепкого низкорослого скуластого монаха с распущенными волосами, который самолично собрался плыть с ними и клятвенно заверил каждого, что смерть в этом предприятии будет приравнена аллахом к смерти в бою с неверными, при которой, как известно, аллах забирает душу убитого прямо в рай.

Гребцы работали веслами с утра. И к вечеру, хотя они по-прежнему поддерживали быстрый ход лодки, уже совсем выбились из сил. У многих уже не раз сводило руки и спину.

Вдруг один из гребцов бросил весло, содрал со своей головы взмокшую чалму и похоже, что перекрестился:

— Свят, свят господь... Спаси меня от предприятия супротивного тебе, от ослепления моего и омрачения! Прогони от меня сатану окаянного! — закричал этот гребец.

И стал он хватать себя за горло, будто душило его, и опять закричал:

— О, сатана! Это ты вместо чалмы повязал мне на голову красный платок с навозными жуками — хотел, чтобы прогрызли жуки мой мозг, как преступнику... Прочь, прочь!

Кощунствуя, гребец поддепил ногой снятую чалму и оттолкнул ее от себя подальше.

Он хватил губами воздух и поперхнулся им, обмяк всем телом, поднял было персты над глазами — вроде как для крестного знаменья, но не перекрестился, а опустил глаза долу и заплакал.

Другие гребцы скосились на бросившего весло. Ждали, что сейчас раздастся крик:

— Хватай! Кяфир — неверный среди нас! Кидай его в море!

Однако пересохшими были у всех рты. Гребцы выбились из сил, и сейчас каждый больше думал о том, как бы удержать собственное весло и не выпасть за борт к страшному чудовищу Тиннин, которое, по рассказам, поднималось из морских глубин за своими жертвами именно вот в такие вечерние молочные сумерки.

К Кяфиру подошел тот самый плывший на сафине скуластый монах — с синей повязкой на голове, во власянице и с довольно странной бородой, не обычной, а висевшей девятью отдельными клоками.

Монах вылил из кувшина воды на голову Кяфиру, подал ему чалму и громко, чтобы слышали все, пожалел его.

— Несчастный! — сказал монах. — Зачем спорил ты с судьбой? Зачем крестился, оскорбляя крестом пророка нашего Мухаммада? Мы можем принять тебя за неверного! Я понимаю: ты так устал, что ум твой помрачился, и ты сам захотел смерти! Но терпи! Каждому человеку

его Ризк — земная судьба записана там, на небе, на специальной доске еще задолго до того, как он появляется на свет, и невозможно самому человеку ни силой, ни хитростью изменить долю, записанную на доске. Терпи! Тяготы должны нас так же радовать, как удовольствия!

Гребцы отдыхали, придерживая весла. Но монах сказал:

— Работайте! Осталось грести немного — всего еще на несколько часов. Пусть терпит и гребет по-прежнему и этот провинившийся. Мы не можем сейчас терять гребца, даже если он неверный. Если за ночь не сделаем положенное дело и утро застанет корабль у берега, его увидят и вы все погибнете!

Была уже полночь, когда сафина по знаку капитана наконец замедлила ход.

Что-то приближалось навстречу кораблю, будто огромное белое дерево, густыми корешками проросшее в море.

Но когда корабль подошел еще ближе, то оказалось, что это не дерево, а так виделась с моря Река *, истекавшая ветвистыми протоками: семьдесят жерл, урча, низвергали воду, и тысяча мелких ручьев струилась меж ними, будто воины при семидесяти командирах.

Только теперь корабельщики, много слышавшие легенд про это дерево-реку, догадались, куда их заманили щедрой оплатой и заверениями про угодное аллаху предприятие.

Гребцы побросали весла и возопили:

— О души наши! Увы нам! Мы приплыли к косматым хазарам!

— Спаси, аллах! Над хазарами сидит колдун!

— Вот она — страшная Река!

— Как бы не содрали тут с нас кожу по заведенному у них обычаю!

Капитан, однако, успокоил тревогу; приказал, чтобы без лишнего шума все надели кольчуги, разобрали щиты и сабли.

На веслах капитан оставил всего несколько человек, среди них и Кяфира.

Теперь корабль осторожно скользил по одной из проток, среди зарослей высокого чакана. Лучники стояли наготове по обоим бортам и целились в туман.

Кяфир вдруг вскочил и стал показывать капитану ру-

* Волга. Хазары называли ее Итиль, то есть Река.

кой вперед. Он бросил весло и испуганным криком стал пугать капитана, сам весь дрожа:

— Вон город! Остановись! Нас засыплют стрелами — нельзя подплывать... Я знаю этот город. Поверь мне!.. Стой!

Словно рыбацкая сеть с ячейками была накинута на оба берега — так переплелись сплошные заборчики-дувалы. А внутри каждой ячейки этой сети, как пойманная рыбешка, сидели где глинобитная хижина, где едва поднимавшаяся над травой землянка, а где стояли островерхие юрты группами и порознь. И скот пасся. И видны были кое-где церкви с куполами-шлемами, плоскокрышие иудейские кинасы, мечети с минаретами.

Посреди реки остров, от него к обоим берегам тянулся на цепях наплавной мост. И был на острове белый дворец с башней.

Корабельщики вгляделись и вдруг различили, что на плоской крыше башни странно прыгает и обеими руками тянется к восходящему желтому месяцу человек в белом длинном плаще. Человек прыгал на самом краю крыши и будто хотел схватить руками лунный луч.

И вот этого-то прыгающего на башне человека в белом длинном плаще, который, похоже, запросто общался с Луной, не вынесли корабельщики. И напрасно монах пытался им объяснить, что прыгающий человек — всего лишь иша * — Управляющий богатством хазар, и что у этого иши вера такая: сам каган здешний и кочевники молятся Синему Небу и Солнцу, а иша молится Луне. От уговоров монаха лишь еще больше перепугались корабельщики.

— Наверняка колдун этот иша! Известно, что колдуны да каббалисты знаются с Луной. Страшен этот Управляющий богатством.

— Поворачивай назад, капитан!

— Давай гонца с подарками вперед вышлем.

— Вон этого, отброса, пошлем. Он и на вид какой-то неказистый, да и веслом плохо работал.

— Пошлем Кяфира. Если сгинет, не жалко.

— Эй, капитан, не слушай неразумных. Правь прямо к пристани. Не дожидайся, пока нас перебьют стрелами.

— Не посмеют! У нас белые полосы на бортах и флаг

* У древних тюрков существовало разделение власти: духовную и законодательную осуществлял с помощью биликов — изречений обожествляемый на земле каган; а исполнительную — Управляющий богатством, назначаемый каганом «за подвиги» иша.

аллаха реет на мачте. Всем видно, что мы — военный корабль Халифата.

— Вот потому и расстреляют сразу!

Кто-то взял другого за грудки, а кто-то уж и кинжал к горлу соседа приставил. Взыграла жаркая кровь, а страх перед хазарами помог окончательно помутиться разуму. Вмиг на корабле все перемешались в отвратительной потасовке, в которой каждый бил каждого и уже никто не думал о своей правоте, а только о том, как бы наказать кого-то другого за собственный страх.

Корабль уже черпанул бортом, когда вдруг кто-то отшвырнул капитана с его мостика.

— Именем святейшего пророческого присутствия, повелителя правоверных халифа Ал Мути повелеваю вам, правоверные: на колени!

Голос был настолько властен, что дравшиеся приостановились.

— Повелеваю под страхом немедленной смерти: на колени!

Корабельщики оглянулись на капитанский мостик и увидели золотую цепь из крупных колец, усыпанных алмазами. Даже в свете Луны она блистала, как на солнце, надетая на власяницу того, кого они до сих пор считали только простым монахом.

— Эй, вы! Вы видите эту цепь, и вы знаете, что ею сам халиф награждает своих почетных послов. Ну! Я не вижу повиновения!

Порядок восстановился.

— Надо замерить шестом глубину. Здесь где-то возле берега обрыв, подойдем прямо к берегу. И, пожалуй, я высажусь!

Когда сафина осторожно ткнулась кормой в берег, перекинули мостки, с кормы скатили по мосткам арбу с каким-то грузом, укрытым старым покрывалом. Потом свели по мосткам привезенного мула, запрягли его.

— Правоверные! Теперь помолимся, — сказал монах и первым опустился на колени.

Вокруг было удивительно тихо. Слышны были лишь глухие всплески воды — то играла крупная рыба, которой кишела река.

Прошло, наверное, с час, а на сафине все молились.

Как просто и легко было бы сейчас подкрасться к кораблю и перестрелять всех.

Тот гребец, про которого решили, что он Кяфир-невер-

ный, сошел на берег — напросился приглядывать за мулом. Он несколько раз испуганно оглянулся на шорохи в прибрежной темноте, а потом вдруг отогнул покрывало и юркнул под него на арбу.

От Луны отбежали облака. Из открытой степи за рекой пахнуло свежим ветром, и сразу же пронзительно запахло полынью — горько и муторно, до кружения головы, до видений.

Монах поднялся с колен, полез рукой за пояс, вынул кожаный мешочек, в котором звякнули деньги, кинул мешочек капитану.

— Прощайте, правоверные! Мир вам! Убирайте мостки и прочь от города. Мешочек с деньгами я даю капитану, чтобы он прибавил за службу каждому из вас от меня лично по динару. Мир вам! Возвращайтесь в Баб Ал-Абваб: вы все совершили угодное аллаху дело!

Монах поклонился и легко спрыгнул на берег к арбе. Почти тут же сафину дернуло, и на быстрых веслах она стремительно стала уходить вниз по течению.

Монах потрепал мула по холке, поправил упряжь, проверяя крепость, стукнул ногой по колесам арбы, потом стал вглядываться в прибрежье.

На берегу не было ни души. Только колыхались, отсвечивая серебром, островки ешмана в песчаных разводьях.

Монах низко наклонился и поцеловал землю:

— Здравствуй, Этукен — земля!

Монах еще раз поцеловал землю, потом снял пояс, которым была перехвачена его власяница, и повесил пояс на шею. С поясом на шее отдал девятикратно поклон Реке:

— Небо четырех жеребцов сотворило: Ветер и Дождь, Облако и Град. Четыре жеребца заставляют дождь лить, и снег идти, источать воды, и градом бить. Здравствуй, Черная Река! Снова вижу я тебя в образе прекраснейшей девушки, сильной, стройной, высоко подпоясанной...

Монах повторил девятикратно поклон и поцеловал железную пряжку пояса, на которой между двух сопок была изображена волчица Ашина, прародительница династии каганов, властвовавшей в Хазарии.

— Не скаль зубы на меня, Ашина-Волчица, а выпроси мне прощения у Этукен — моей земли. Понимаешь: был тощим конь; о месте, где ему разжиреть, думал конь, отправляясь из родных мест. Скажи, Волчица, земле Этукен, пусть простит меня, глупого коня! Вот сейчас конь отведает своей полыни!

Монах нашел островок полыни, стал выщипывать и, как конь, жевать траву:

— О Кунгаулсун — Желтая Полынь Высокая Трава! Как же конь мог жить без тебя?!

Впряженному в арбу мулу надоело стоять, и он тронул с места. Арбу тряхнуло, и из-под покрывала, под которым прятался сбежавший с корабля гребец, раздался вскрик: гребца придавило перекатившимся грузом.

Монах подошел к арбе, приоткрыл покрывало.

— А, Кяфир! Вылезай!

Гребец вылез.

— А корабль-то ушел! — сказал монах. — Ты нарочно остался? Задумал так или от испуга?

Гребец промолчал.

— Ты что? Тоже из нашего города? Не мотай головой, я догадался об этом, когда ты первым сказал капитану, что видишь город. Тоже блудный сын, как я?

Гребец стоял, опустив голову, и по-прежнему молчал.

— Вот так разводит судьба людей. Были мы оба под покровительством Синего Неба; теперь я мусульманин, ты христианин. Это я сразу понял... Однако вот — пожуй травы. Забыл небось, как пахнет наша Кунгаулсун? Ты жуй, а я еще пока помолюсь! Старым нашим богам! Я думаю, аллах простит мне этот грех.

Монах повернулся спиной к гребцу, отошел несколько шагов в сторону, сел на корточки, воздел руки к небу:

— О Земля, о Синее Небо, о Огонь, о ты, Зеленая Степь!..

Когда монах вернулся, гребец стоял у арбы.

— Ну, что? Поедешь со мной в город? — спросил монах и, не дожидаясь ответа, полез на передок арбы: — Садись сзади!

Гребец сел.

Мул медленно потрусил по прибрежному песку.

Гребец смотрел на монаха, кусая губы.

Луна спряталась, и стало очень темно. Гребец неслышно подбирался поближе к монаху, ползя по арбе.

Когда до спины монаха остался всего один шаг, гребец привстал, согнулся, как готовая прыгнуть на жертву кошка. Он уже качнулся, начиная прыжок. Но решил перекреститься. Перекрестился мелко, торопливо, снова стал

готовиться к прыжку. Но в этот миг вышла луна, и гребец начал креститься уже в страхе перед тем, что наплывало на него из темноты, как привидение.

Он увидел распятие. Не из храма, а настоящее, — живое распятие: вроде бы человек на кресте и вроде еще жив!

В желтом лунном луче наплывавшее на арбу распятие мерцало, как под колеблющимся пламенем свечи, и виделось, будто у человека на кресте шевелятся губы, будто трясет он светлыми волосами. А рядом с распятым появилось еще и женское тело, посаженное на кол. И было похоже, будто оно еще извивалось.

Арба двигалась вперед, и теперь по обеим сторонам от нее тянулись кресты, изредка перемежавшиеся колами. Распятые и посаженные на кол тела выплывали из тьмы и исчезали во тьму. У луны теперь больше не хватало света для всей земли, и она омывала своими лучами только умирающих.

На телах многих погибших шевелились какие-то черные пятна. Настолько черные, что в них непроницаемо погибал желтый лунный свет.

Вдруг арба зацепилась осью за один из крестов, тот повалился, и сразу будто ударило вокруг черной тучей и раздалось хлопанье множества крыльев. Черные пятна пропали с мертвых тел и, роясь, воспарили в воздух. И закаркало все вокруг.

Мул дернул и понес, арба тряслась, едва не разваливаясь от быстрого хода. Кресты остались позади, мул снова пошел медленно.

— Свят, свят, свят... О вещи непостижимые! О, что я сделал, что мне мерещатся такие видения! — беспрестанно, будто перед тем, как испустить дух, испуганно причитал гребец Кяфир и совсем, как днем на корабле, хватал себя руками за горло, сопротивляясь удушью.

Монах как будто спиной увидел, что творилось с гребцом.

— Что? Страшно? — не оборачиваясь, буркнул гребцу монах. — А, возможно, нас с тобой посадят уже сегодня сюда, рядом. Тебя на крест, а меня на кол. И даже имени не спросят, чтобы обойти кровную месть. Тихо, тайно убьют. Но обязательно с уважением. Чтобы душу не уничтожить и ты мог на небе как мученик за свою веру предстать. Если ты христианин, так крест тебе сделают. По древнему обычаю, как римляне вас распинали. Кандар-каган Песах, главнокомандующий, — страшный поклонник древних обычаев.

Гребец затих. Потом подполз ближе к монаху, встал на коленях на передке арбы с монахом рядом, долго вглядывался в лицо монаха и вдруг протянул руку к его бороде. Оскалился:

— Ха, точно! Девять клоков бороды! Да ты Волчонок! Девять клоков бороды могут носить только те, кто принадлежит к священному роду степных правителей каганов. За твою пролитую кровь накажет само Синее Небо. Кто в Степи на тебя решится поднять руку?! Так что я не пойму, зачем ты крадешься в город ночью?! Давай дождемся рассвета. Утром люди смогут хорошенько посчитать число клоков твоей бороды. Или, оставаясь ночью неузнанным, ты хочешь испытать Ризк — судьбу, записанную тебе на небе на медной доске?.. Однако неужели ты так обижен на судьбу, что согласен сам поиграть со смертью?

Кяфир, продолжая скалиться, заглядывал в лицо монаху.

Тот отвернулся. Не отвечал долго. Потом тихо буркнул:

— Да, я — Волчонок. Девять клоков моей бороды правильно подсказали тебе, что я принадлежу к великому Дому Ашины-Волчицы, рождающему для степи ее правителей каганов... Однако у меня свои замыслы, Кяфир. Так случилось, что я не могу допустить, чтобы все в городе сразу узнали, что Волчонок вернулся. И потом еще вот это, — он махнул рукой на груз, лежавший под покрывалом на арбе, — с этим мне можно возвращаться в город только ночью... Нет уж! Будем въезжать в город все-таки ночью. И давай не трусь. Все в воле аллаха, и впрямь ведь невозможно изменить долю, написанную на доске.

С реки потянуло молочной дымкой. А впереди стало уже видно частокол, огораживающий город, и городские ворота. Город был темен, и даже на белой башне, нависшей над ним, не было ни огня.

Мул направился было к воротам, но вдруг монах резко потянул за вожжи, направил арбу с дороги прямо в заросли чакана. Забравшись в непролазную чащобу, соскочил с арбы, стал распрямлять руками чакан, укрывая след колес. Обернулся:

— Помоги мне, Кяфир. Сегодня не поедем в город. Сегодня не та ночь. Не пришла Весна!.. Видел: совсем нет огней. А мы должны выехать в город в новогоднюю ночь!..

ДЕНЬ ВТОРОЙ

Серах – черное пламя

О, Ляля-Весна! Нет и не будет никого властнее тебя в Хазаране и слаще тебя нет! В первый месяц года нисан, с первым теплым терпким хорасанским ветром приходишь Ты — целомудренная и смелая, тихая и разбойная, вкрадчивая и неодолимая, единственная для каждого и принадлежащая всем. Глубже и бездонней становится небо, и звезды высоко встают, и вот уже все в городе знают, что ты придешь. Слух проносится внезапно, как счастливый смерч, и никто не удивляется его внезапности, а только все спешат надеть праздничные одежды, потому что одежды эти, конечно, уже вычищены и уже тоже ждут.

Бывает, еще студены ночи, и лежит еще в лощинах буро-красный грязный снег: перемешивается снег за зиму с песком, приносимым ветрами из Рын-песков, и без прямого солнца не растаять такому снегу. Бывает, еще не прилетели и птицы, или только самые первые, — и купеческие караваны еще не сплывают с верховьев реки, потому что по реке идут льдины. Но вдруг становятся неспокойны люди. Кажется всем, что уже словно чьи-то неслышные шаги всколыхнули воздух совсем рядом и напоили его бальзамом, оставили запах истомленного, зовущего тела.

В Хазаране это дни для разлученных влюбленных. Пять законных вероисповеданий здесь, как строгих несмешивающихся каст: язычники, слушающиеся магов; язычники, опекаемые волхвами; христиане; мусульмане и иудеи. И под страхом костра, утопленья, сдирания кожи, побитья камнями не смеют дочери одной веры сочетаться браком с сыновьями другой. Но в дни Весны безумно рискуют влюбленные, надеясь на помилование. Ибо, когда Весна приближается, уже нет в городе иной, кроме в Лялю-Весну, веры.

Старики жрецы из Белого храма все-таки тащат белоснежного жертвенного агнца своему богу. Но что это с ними вдруг сталось? Отчего вдруг вовсе не степенны, а суетливы их шаги?! Где благочинная отрешенность и куда пропала возвышенная пустота из их глаз?! О, как гибельно заблестели теперь их черные, еще не выцветшие очи! Ах, даже и стариков, видно, взбередили эти полупрозрачные вечера приблизившегося нисана, эта пришедшая ароматно-душная ночь, погружающая в волнительно-горячечный сон даже человека с увядшей мышцей! Ай, старики, старики! Что вы шепчете? Ведь разве это молитва, хотя и из книги бога повторяете вы строки?!

Весна — как девушка на выданье. Поучали Гепоники — наставления, писанные ромеями, новыми римлянами — о великой силе первой девичьей тряпки: будто еже-ли бросить ее среди поля, то ни лоза, ни семена не будут повреждены градом. Вот будто как — даже град ею усмиряем!

Усмирила иудейка Серах язычника Булана. Понадеялась на силу первой девичьей тряпки — без свадьбы стала ему женою. И не может которую ночь Булан с ней расстаться.

Близится третий рассвет, а Серах все лежит с Буланом в его юрте, на теплой кошме. Руки ее его обвивают, и губы ее в его губы дышат, и забывает Серах все то страшное, что ожидает ее у кинасы, — про свой стыд и стыд отца. Крепче прижимается она к любимому и старается думать только о весне — о Новом годе, что с рассветом, с солнцем придет. Весна Лялю — богиню Весны и Семьи приведет. Все надежды у Серах теперь на заступничество Ляли.

— Весь свой виноградник отдала я тебе, любимый! Мои губы — теперь твои губы, мое тело — теперь твое тело, моя кожа — теперь твоя кожа, и вся я — сам ты. Ты обласкан и опустошен мною, и не узнаешь ты никогда крепче ласк, чем мои, и не будет никогда сладостней для тебя, чем со мной. Вот ты наполнял меня собою до краев. От тебя расцветет виноградник мой и принесет тебе плоды. Господин, что тебе еще надо другого в жизни?!

Шепчут губы Серах:

— Я — колдунья! Ах, возлюбленный! Ах, муж мой! Разве ты не чувствуешь, как все вокруг тебя переменилось?! Это я открыла тебе цвет ночи: отныне и навсегда будет ночь для тебя, как черный виноград, потому что — вглядись! — как лоза, ползут, вьются мои волосы, а цвет

их — черный виноград. А утром ты узнаешь цвет солнца и поймешь, что солнце красное, как мои губы. И запах трав и цветов я сегодня тебе открыла: травы всегда теперь будут пахнуть для тебя моей кожей, оливками будут пахнуть, а у цветов будет запах моих губ и ноздрей. Ах, где твои пальцы? Ну, скорее погладь мою кожу. Вот сладость! Разве знал ты когда, что бывает такая сладость в этом мире?! Я, я ее тебе открыла!

Шепчут снова губы Серах:

— О, милый! Не забудь, что я твоя Юкерцеп Узу — отчитанная заклинаниями вода! И что Дарусуп — виноградное вино твое — я тоже!

Шепчут губы Булана:

— О, Абурин Эме — мною самим добытая жена! О, Абурин Эме!

И снова полетели из мира сего двое.

А когда они опустились на землю, то покрыла Серах поцелуями лицо мужа, и оба они долго лежали и тихо смотрели, как вплывает в их юрту, клубясь, предрассветный молочный туман.

И сказал Булан:

— О, моя Абурин Эме! Никогда не догадывался я, что за счастье быть хозяином своей женщины. У меня никогда не было даже своего пса, а теперь вот — ты. Я прикасаюсь щекой к твоей щеке и понимаю, что хороший охотник всегда думает и за свою собаку тоже. Я всегда очень хотел стать господином.

А Серах в ответ засмеялась и запела кочевничью песню:

Мои глаза — колдовские,
Моя душа — странница,
Мое лицо — полная луна.
Я разбила твое сердце.

Послушал эту песню Булан, засмеялся и положил свою руку на холмы Серах, и громко, словно был кто-то еще в их шатре и надо было, чтобы все расслышали, закричал:

— Мое!

— Твое! Твое! — откликнулась Серах, а Булан почувствовал, как опять твердеют ее холмы, и губы ее вновь его позвали.

Когда же Булан совсем обессилел, то Серах уже сама по-хозяйски как-то скоро и очень деловито поцеловала

его, и сама засмеялась свой деловитости, и наклонилась над Буланом, и позвала шутливо:

— Ну, что? Есть у тебя еще силы приказывать, господин мой, хозяин?

Густые вьющиеся волосы Серах гроздьями черного винограда упали Булану на лицо, нежными ягодами покатились по его щекам.

— Слушай, Булан! Давай сделаем тебе полезное! Ну, будь смелым — решайся же! Слышишь, потянуло костровым дымком от реки, с острова. Это костер во дворе Белого храма. Обрядовый костер уже догорает — решайся: ты пропустишь свой час!

Но взбунтовался Булан — не согласен с любимой. Нежной и крепкой рукой ее поднимает с постели — выносит на ветер: под Кек Тенгри — Синее Небо, навстречу Оду — восходящему Солнцу.

— Вот мои боги, жена, насильно взятая мною! Видишь их ты, моя Абурин Эме! Как же я им изменю?! С богами моими дух мой — как же я покину свой дух?!

Скривила Серах лукавые губы:

— Оставайся со своими богами, мой милый! Посмотрю, чего ты с ними в жизни добьешься.

Растерялся Булан, не понимает любимую:

— Возлюбленная моя, но мы теперь с тобою одно. Ты теперь стала мною. Разве уживутся во мне разные боги? Разве возможно, чтобы две разных души были у одного человека?

— Милый, а я уж малышек наших себе представляла — двух Торексенов — наследников твоих, сыновей законных. Я уж представила, как священники из Белого храма к нам во двор заходят — свежие угли сжигают: в веру сильных малышек наших принимают. И вот уже не плачут малютки: теплым жмыхом, будто соской, им позаткнуты рты. Тихо сопят малышки. А вырастут — встанут в Белом храме рядом с самим ишей Иосифом — нашим Управителем. Кто сейчас ты? Только Лось-младший * — из захиревшего рода. Так пусть же возвысятся хоть твои дети!

Опустил Булан любимую свою на землю — на ноги поставил:

— Женщина! Я господин твой, тебе меня слушать!

---

* Булан — по-хазарски лось.

Здесь мои предки — не ссорь меня с ними. Нас люди осудят.

Медлит Серах, не знает, то ль мужу вкруг шеи обвиться, то ль с ним строгою быть; потом говорит, улыбаясь:

— Двое нас теперь. Зачем же нам прочие люди?!

Отшатнулся от Серах Булан:

— Женщина! Ты говоришь зловредные слова. Я — свободный. А человек свободного состояния в отличие от раба живет для своего рода. Если мужает твой род, то и в бою не страшно: боец, принимая смерть, остается бессмертным в своем роде; в своих сыновьях — Торексенах, в своих сородичах. Домом кочевник называет свой род. Род, как река, велик и бесконечен. Человек умирает здесь, а в том мире приходит к Екес — предкам.

— Милый мой, где твои мне клятвы? Разве не одна я для тебя теперь?

Но уже гневен Булан:

— О, моя любимая Серах! Разве ты не считаешь меня достойным сыном моего отца?! И разве не знаешь ты, что это моего отца Булана-старшего из великого уважения к нему вся масса народа выбрала гонцом на восток?! Мой отец ушел, чтобы привести к нам сюда с Алтая полк со знаменем. Полк со знаменем вернет всем нам — свободным воинам — мужество и общую доблесть. И возвысится сразу наш Эль. Вернется гордость в наш народ. У нас выживший из ума каган. Но если нам умного кагана...

Засмеялась Серах звонко. Серебром ледяным засмеялась:

— Милый воин, для торговцев достаточно стражи, чтобы золото их охраняла. Зачем полки? Зачем войско торговцам?.. Ходят слухи, что принц Тонг Тегин, по прозвищу Волчонок, должен вернуться. Он теперь в Халифате, но на родину собрался. Однако купцы его не примут... Вот так-то...

Перестала кривить губы Серах. Лед растаял в голосе ее, шагнула она к любимому. Прижалась:

— Лучше не думай сейчас о доблести, милый! Ее не оценят. Пойдем, милый, в юрту. Ты устал. Сомкнем вместе глаза.

Они вновь за пологом теплым.

Шепчет Булан:

— Милая, мы еще возвысим наш Эль — народ-государство. Отец мне сказал, уходя на Алтай, что в здешней местности стало много желтого золота и белого серебра и мало доблести. Отец опасался, что если так дальше пойдет, то в нашей местности вовсе не останется бессмертия. Наши Эбуке — предки всегда жили Домами — больше тысячи человек в каждом Доме, самом малом роде. А теперь у нас в Городе-на-Реке стали жить отдельные люди. Они разбрелись из-за желтого золота и белого серебра. Не стало Домов, и не на чем стало кагану поставить высокий престол — поднять Эль. Отец потому и пошел за полком со знаменем, чтобы, увидев знамя, одумались люди.

Шепчет Серах:

— Милый! Зачем ты повторяешь речи Тонга Тегина — младшего Волчонка! Что нам до всех. Не будь же ты наивным, мой милый. Твой отец ушел на Алтай за полком — и хоть все в городе об этом знают, но кто помог тебе в твоих несчастьях?! А где отец твой? Ведь он не вернулся, Булан-старший. Он ушел за доблестью для всех, а потерял и собственное имущество. Неужели со мною будет такое же худое? Я рожу тебе добрых Торексенов — законных сыновей, а ты их бедняками бросишь, как бросил тебя твой отец?!

— Милая, родная! Да, я остался сиротою. Но ведь кто-то должен был идти. Ведь всей массой народа был избран самый достойный.

— Спи, мой страдалец!

Ровно дыхание Булана, но обвила его шею Серах, целует:

— Милый, единственный мой! Нету у тебя отца, ушел он, взял с собою твою родовую доблесть. Но теперь я... я для тебя за доблесть буду. Я, я отныне — дух твой!

Склонилась Серах над спящим Буланом. Что-то будет с нею завтра? Вся ее надежда на утро, на богиню Весны и Семьи — Лялю. Верит Серах, что спасет Ляля от позора полюбившую девушку. Только надо, чтобы завтра Булан на руках своих Серах к народу вынес и к великой Ляле с покаянием за грех свой обратился. Ведь завтра — особенное новогоднее утро. Завтра Ляле-богине дано право простить поторопившихся влюбленных и семью их устроить.

Ляля — ведь сама Весна Священная. А все знают в городе, что Весна Священная в Новый год могущественнее кумушек из кинасы. Только бы завтра было чистое небо и ясное солнце!

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

Лось, Булан-старший

Луны нарождались и умирали, а старик Лось, Булан-старший все шел на восток. Неделю назад пал его конь. Крепкий приземистый Гнедой оказался самым сильным — еще на полпути где-то в полупустыне за Арал-морем ушли от Булана-старшего один за другим на Небо сто молодых воинов, выбранных народом хазар сопровождать своего чрезвычайного посла на прародину тюрок Алтун-Ишп (Алтай). Как радовались молодые, что увидят землю исхода. Однако голод и жажда жестоко расправились с не приученными к дальним походам молодыми воинами. Опытный Гнедой держался дольше людей. Но и он сдался перед судьбой.

Старик Булан-старший исхудал, харкал кровью. Дорогие посольские одежды его изорвались. Его лицо стало похоже на жухлую тыкву. Но он упрямо продолжал брести на восток. Дух Неба вел его. Наверное, он давно бы освободил тело от мучений и умер. Но в синей посольской котомке за спиной Булана-старшего лежало письмо к Добуну Баяну из рода Ашины-Волчицы со слезным поклоном от Всей Массы Народа Хазар, и Булан-старший знал, что участь всего его народа зависит от того, дойдет ли до Добуна народный поклон. И Булан шел на восток.

Был полдень, когда старик Булан-старший почувствовал прикосновение живой воды, светящейся, умиротворяющей, возносящей синий цвет. Почувствовал синий цвет сперва губами — а потом и увидел его сияние. Крутые сопки, как крепкие спины коней, склонившихся над синими чашами озер. Высокие стройные сосны, уходящие вершинами в небо. Под ногами свежий зеленый ковер, будто расшитый синими ирисами, золотыми палочками желтоголова, белоснежной геранью и красными тюльпанами. А над зеленым ковром пьянящая, как парной кумыс, магическая синь. Старик Лось, Булан-старший, понял, что Большая юрта великого Добуна Баяна должна быть где-то здесь.

Он нашел ее удивительно легко, словно помогло само провидение. Она стояла одиноко на краю соснового бора.

Лось, Булан-старший, подошел к юрте и опустился на колени. Собак возле юрты не было — они днем охотились за полевыми мышами. Булан-старший довольно долго стоял так на коленях, пока домочадцы Добуна Баяна наконец не заметили его и не вызвали хозяина.

Не поднимаясь с колен, Булан-старший, удостоверившись, кто перед ним, ревниво пересчитал, сколько клоков бороды тот носит.

Насчитав девять, повалился Добуну Баяну в ноги и девять раз поцеловал прах у его ног.

Затем, дождавшись, когда Добун Баян самолично поднимет его, вынул из синей посольской котомки (ее, конечно, заметил Добун) свернутую в свиток посольскую запись, скрепленную золотой печатью в два солида и железным амулетом, изображающим волчицу между двух сопок.

Увидев железный амулет, Добун Баян вздрогнул. Горькая усмешка искривила его лицо.

— Ты опоздал, посол! — сказал со вздохом Добун Баян. — Пославший тебя почтенный Дом, видно, живет старыми вестями. Что же ты не обратил внимание на то, что моя Большая юрта раскинута одиноко на краю соснового бора?

Сказав так, Добун сам поклонился в пояс пришедшему к нему послу и ушел, еще раз вздохнув, назад в юрту.

А старик Булан-старший заплакал.

Еще в дороге сведущие люди объяснили ему, что у великого Добуна Баяна неприятности. Как всякий достойный муж, думающий о вечности своего Эля, Добун Баян, отходя от войны на покой, захотел исполнить свои мужские обязанности и продолжить род. Он взял в жены иноплеменницу, необычную своей красотой — золотоволосую. Еще со времен прародительницы Ашины-Волчицы все колена Дома Ашины впитали вместе с молоком матерей страсть к золотоволосым женщинам. Иначе как бы рождались в Доме Ашины подобные солнечному свету каганы для всей Великой Степи. Вот и Добун Баян выбрал себе в жены дочь не пустого рода. Чуть ли не из самих Русов. Однако вот с Добуном Баяном случилось, что племя не одобрило его выбора. Не желая бросить жену с детьми, Добун Баян поставил свою юрту одиноко на краю соснового бора.

Все же посол Булан-старший понадеялся, что обида великого Добуна Баяна не простерлась настолько далеко, чтобы совсем отойти от забот о народах Великой Степи.

Теперь же после того, как Добун Баян не принял по-

сольского свитка, отчаявшемуся послу Всей Массы Народа Хазар осталось только плакать. И старец лег в пыль перед Большой юртой и лежал так несколько дней, отказываясь принимать пищу и расцарапав в кровь себе ногтями лицо. Его кусали собаки, пинали ногами слуги, мочил дождь и бил ветер. Но старцу неожиданно помог народ.

Народ возроптал на черствость своего повелителя. И Добуну Баяну не осталось ничего другого, как пригласить старца с почестями в Большую юрту и принять от него посольскую запись.

Прочитав письмо, Добун Баян нахмурился:

— Потерять древние Таботаи — гробы предков? Да что же у вас там в вашем Эле творится?! Как возможно такое кощунство и небрежение?.. Тут также утверждается, что ваш каган давно потерял свою божественную силу Яда Медекун — способность вызывать дождь, и в стране вашей участились засухи, падеж скота и голод. Почему же тогда до сих пор не отправили своего кагана на небо, как повелевает в случаях ослабления силы кагана наш Тере — обычай?

Старец вздохнул и потупил глаза:

— Великий Добун Баян, мы, хазары, помним Тере и свято его почитаем. В случае ослабления божественной силы кагана народу надлежит без промедления, дабы не передалась всему Элю — народу-государству слабость правителя, наложить кагану на шею шелковый шнур и, удавив, отправить с надлежащими почестями в иной мир. Однако вот беда, из-за которой Вся Масса Народа Хазар, выразив свою волю на Собрании Сильных, решила обратиться к тебе. У нас оказалось, что на стол кагана нет достойного преемника.

— А тегины? Неужели ваш нынешний каган настолько бесплоден, что многочисленные его жены не родили Элю ни одного наследника? Похоже, ваш народ не собрал своему правителю достойного гарема?! Говори правду! Или вы там на западном краю нашей Великой Степи совсем захудали?..

Старец обиделся. Поднял гордо голову:

— Почтенный Добун Баян, мы в несчастье, но мы не какой-нибудь пустой осколок от кочевой орды, дошедшей до дальнего западного моря. Когда триста весен тому назад мы, подняв сияющее медное знамя, пошли отсюда с Алтая вслед закатывавшемуся солнцу, то было нас девять

родов. Теперь нашему кагану положено двадцать пять жен и шестьдесят наложниц по числу больших и малых народов, которые входят в Великий Хазарский Каганат и поставляют нашему кагану воинов. А что до тегинов-принцев, то до последнего времени у нас их было два. И росли они достойными наследниками. Старший Алп Тегин — храбрый воин. Скачет на белом коне, потому что не боится показывать врагам пролитую кровь. Младший Тонг Тегин учен и мудр, а воинские доблести его таковы, что сам халиф нанимал его главнокомандующим своих войск на Кавказе. Полагаю, что его слава полководца Ал Хазари докатилась и до ваших мест, великий Добун!

Добун Баян развел руками:

— Ничего не понимаю! В таком случае, чего же ваш народ прислал ко мне тебя — своего слезливого гонца?..

Старец опустился на колени:

— Почтенный! Яви к нам божескую милость... Я не все рассказал тебе про тегинов. Дело в том, что они не сошлись с Управляющим богатством кагана ишей Иосифом. Старший Алп Тегин откочевал со своим полком прочь от Великого Двора далеко в Степь; держится на отдалении и во всеуслышание поносит ишу — Управителя за то, что он, мол, променял воинские доблести хазар на торговлю. Впрочем, про старшего принца можно было даже особо и не говорить, так как ты знаешь сам, что по нашему обычаю Одтегином — хранителем очага и первым претендентом на престол является младший сын. Но Волчонок — Тонг Тегин поступил еще хуже, чем его брат: хранитель очага взял и остался в Багдаде. Пожертвовал всю свою военную добычу в ученый монастырь, принял мусульманскую веру и объявил себя суфием — облаченным во власяницу. В отсутствие тегинов-наследников иша Иосиф совсем распоясался — делает, что хочет. Привечает одних торговцев. Кагана держит в Куббе — золотой юрте и народу совсем не показывает. Войско не собирает. Полагает, что достаточно наемной стражи из семисот Арсиев. Народу дает разбредаться. Мы живем в низовьях великой реки, истекающей из земель Рус. А в ее верховьях уже давно охотится страшный барс Святослав. Мы все дрожим. Как бы он к нам не спустился... Умоляю тебя, великий Добун! Нам стало известно, что у тебя подросли сыновья от золотоволосой женщины. Согласно Тере только рожденный от золотого солнечного

света может вернуть сок в засохшую ветвь. Возьми нас под себя, почтенный Добун, пока к нам не нагрянул сын правительницы Росского Каганата страшный барс Святослав, и пошли нами править своего сына от золотоволосой женщины. Пусть твой сын привезет святые древние гробы Таботаи взамен тех, что у нас, несчастных, пропали, и пусть садится над нами. Достаточно одного храброго полка со знаменем, чтобы вся масса народа нашей местности поверила в твоего сына, приободрилась, и дела наши пойдут к лучшему, — закончил свою мольбу старец и упал к ногам великого Добуна Баяна.

Добун Баян долго молчал. Потом поднял старца и, не объявляя своего решения, спросил:

— А как тебя зовут, слезный посол хазар? И почему именно тебя послал ко мне Курилтай хазар — Собрание Сильных?..

— Я — Лось Булан-старший. А выбрали меня, потому что я из того же рода Лося-Булана, из которого происходит у нас иша Иосиф — ненавистный народу Управляющий богатством при кагане. Люди сказали: «Это из вашего рода Лосей произошел человек, который сошелся с торговцами, перекинулся в их веру и теперь, вместо того чтобы думать о доблести Эля и благе всего народа, служит одним торговцам. Вот вы, Лоси, и исправляйте беду, иначе молоко ваших матерей не будет вам впрок...»

Когда собрались сыновья, Добун Баян пересказал им речи старца.

— Да, что-то совсем неладно в Хазарском Эле, — согласились сыновья Добуна, — и, верно, не все открыл тебе, отец, этот старец. Что это за иша-Управитель, которого народ не может прогнать? Где это видано, чтобы иша, которому положено считать деньги, получаемые от налогов, держал взаперти в Куббе своего божественного, небом рожденного и небу подобного кагана?.. И уж неспроста оба тегина-принца, оба священных Волчонка-наследника от хазарского престола отбежали!.. Доходили и до нас сюда на Алтай слухи, что давно смута в Хазарском Эле. Рассказывали люди, что развелось у них возле Еке Ордос, Великого Двора, в Городе-на-Реке много всяких сект и тайных обществ. Каждый у них тянет свое, а все вместе подпиливают опорный столб, на котором держится престольная юрта. Вот они уже и гробы предков Таботаи потеряли. Срам-то какой!.. * И что же нам ты теперь посоветуешь, отец? Идти одному из нас туда со своим полком, чтобы вместе с этими разбредшимися людьми погибнуть?..

Великий Добун Баян повернулся к сыновьям спиной, вышел из юрты. Долго глядел на небо. Синие чаши озер отражались в белых облаках, плывших по небу, и желтое солнце наполняло эти чаши струящимся светом.

— Сыновья! — сказал, вернувшись к ним, Добун Баян. — Само Кек Тенгри, Синее Небо, поручило нашему роду Ашины-Волчицы обустраивать людей в Великой Степи. Если бы я не принял слезного письма от народа хазар, то незнание о беде осколка нашего Дома было бы нам каким-то оправданием. Теперь же, хоть и очень смущает меня то обстоятельство, что среди больших и малых народов, которые подчиняются тому кагану, не нашлось у них своего достойного домогателя на престол, придется скакать туда старшему из вас. Иди, Мерген, и разыщи старца Лося-Булана, чтобы взять его с собой в верные проводники.

Мерген ушел, но почти тут же вернулся:

— Отец! Дурное предзнаменование! Старец, измотанный долгой дорогой, уже решил, что выполнил свое поручение, и позволил своей душе отлететь в другой мир. Умер старец.

Великий Добун Баян заказал шаманам камлание, отвращающее дурное знамение. Три дня бил черный бубен, и четыре птицы взлетали к небу, но не улетали — возвращались обратно.

Через три дня черный шаман предрек Мергену Добуну самые тяжкие несчастья в предстоящем дальнем походе.

Все же не умерло и одной луны, как старший сын Добуна Баяна, опытный и доблестный полководец Мерген Добун, выслал вперед себя во все стороны вестников-глашатаев — собирать Каткулдукчи, Смелых Воинов, готовых идти за счастьем на закат солнца. Снял юрты. Погрузил на синюю арбу прах предков, как полагается, когда люди переселяются навсегда на новые земли. Поднял

* У древних тюрков жил обычай, согласно которому при переселении народа или смертном сражении с врагами каган вместе со знаменем вез Таботаи — гробы предков. Этот ритуал перекликается с древним арабским. Еще в X веке очевидцы продолжали наблюдать характерную картину: полководец Халифата вступает в город с гробами предков.

высоко к солнцу сияющее звонкой медью знамя Дома Ашины-Волчицы и двинулся со своим бесстрашным полком в сторону туманного ненастного заката.

Впереди полка бежала весть о дурном знамении и тревожном камлании. Бежали всякие дурные слухи о земле хазар, в которую направляется полк.

Но полк Мергена Добуна тем не менее, как камень обрастает в болоте мхом, обрастал добровольцами. Смелых мало беспокоило дурное знамение, ничего не значило для них и тревожное камлание, они считали, что, коли посланный хазарами гонец добрался до Большой юрты на краю соснового бора на Алтае и оттуда отошел полк, то предзнаменование и камлание уже мало что могли значить — теперь все значил вышедший в доблестный поход добрый полк со сверкающим медью звонким знаменем.

Великая Степь шелохнулась, напряглась, сдвинулась. Свертывали юрты, готовили к дальнему пути надежные повозки, подкармливали к перегонам скот. Когда полк Мергена вышел с Алтая на закат солнца, за ним уже катилась орда. Она катилась, как саранча, съедая всю траву, сметая все на своем пути. А впереди нее шли дожди.

Высланные вперед в сторону Арал-озера дозорные, вернувшись, сообщили, что травы впереди хорошие и зеленый мост этим летом, кажется, перекинулся через всю полупустыню до Урала.

Нахлестывая коня, Мерген крикнул:

— Надо успеть, пока идут дожди! Вон сколько за нами поднялось народу. Если так дело пойдет, как бы мы не смели и самих хазар, — и, довольный шуткой, удало засмеялся.

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

Серах – черное пламя

— Э-эй! Пробуждайся скорее, муж мой! Разве ты не чувствуешь, что волосы мои рассыпались по твоему лицу и лизнули тебя черным пламенем? Ну, открой же глаза! Что жмуришься? Или никогда не видел меня ВСЮ? Вот мои черные глаза-птицы — они уже летят, зовут тебя встречать солнце. Вот мои губы алые, жаркие, с тонкими устьями — они тебя сладостью и хмелем, как кумысом, сейчас напоят.

Проснулся, смеется Булан, жадными руками обнимает милую:

— Ой! Горячо! Ты как пламя!..

— А я и есть Серах-Пламя. Разве ты не знал, что Пламя означает на моем родном языке мое имя?! — жарко ласкает мужа Серах. — Было Пламя в свите у Неизреченного бога, а потом спустилось в облике женщины на землю к людям. К тебе, мой желанный, чтобы тебя зажечь, пришло! Ну же, загорись честолюбием, гордостью, жаждой богатства! Будешь меня крепко любить, я нам огромное богатство наколдую!

— Ой, Пламя, любимое мое!.. А я об этом уже думал. Я не какой-нибудь Талай-заяц! Я знал, какую Чаку-девушку похищать. Слышал я от ушлых людей, что отец твой Вениамин обладает колдовским пятиугольником, что в тайную общину «детей вдовы» он входит и про секреты Ремесла знает от самого мастера. Скажи, сможет твой отец помочь мне тоже вступить в общину? А какой из себя пятиугольник? Из золота?

Серах пальцем прикрыла губы Булану:

— Тсс! Не повторяй глупости, мой милый! Разве был бы простым ремесленником мой отец и варил бы он рыбий клей, если бы был у него заветный пятиугольник... Пятиугольник в тайном обществе «детей вдовы» имеет только сам мастер. Обладая пятиугольником, мастер может прожить 5557 лет, а потом в тихом сне перенестись сразу на небо. Вот, мой милый, что такое пятиугольник...

Шепотом, словно его подслушивают, выдавливает пересохшими губами слова Булан:

— А ты, Серах, знаешь, кто у нас в городе мастер? Кто?

Но уже опять веселится Серах. Опять милого крепко обнимает. Опять черным пламенем своим зажечь жарко хочет.

— Ой, смешной ты, Булан! Кто же непосвященным откроет, кто мастер. На то ведь и тайна, чтобы ее не все знали... Ай, ну не сжимай же так свои губы. Приоткрой рот немного — так слаще нам будет целоваться...

Полетели на облаке в синее небо Булан и Серах, крепко-крепко обнявшись.

Вырвалась из объятий Серах. Схватила медное зеркальце. Смотрит на себя. Взбила высоко волосы — как гроздья черного винограда.

Надевает яркое платье — желтое, из одного цельного куска материи.

— А ты, мой резвый Булан, что все еще тянешься? Поднимайся живее, соня! Или ты запамятовал, что сегодня — новогоднее утро?! Приходит Весна Священная. Бежим скорее с тобой на остров — к Белому храму побежим, к Белой башне, ко дворцу иши-Управителя. Будем встречать весну на острове среди самых богатых и знатных! Буду я на острове на встрече весны всех красивее! Или ты уже стесняешься жены своей? Не хочешь гордо показать ее всему народу — перед Всей Массой Народа такой завидной Абурин Эме (самим добытой женой!) смело покрасоваться?! Ах, какая удача, что сегодня Весна приходит — ну же скорее бежим просить прощенья за наш грех, милый!..

Шумит, плещется людской поток — через наплавной мост на остров. Взявшись за руки, как дети, бегут Булан и Серах на остров. Мимо церкви с запертыми дверями пробежали. Мимо пустых мечетей. Мимо иудейских кинас — караимских домов молитвенных собраний. Вот уже на наплавном мосту Булан и Серах — дробно стучат по дереву деревянные сандалии Серах, но еще чаще стучит ее сердце.

«Только бы не заволокли небо тучи. Только бы не скрыли тучи солнца, — думает Серах. — Только бы не разогнал дождь праздник — не отпугнул ливень с молниями Весну Священную. А уж Весна-то меня поймет! Сегодня Тере — хазарский непреложный Тере на моей стороне. Пусть же Тере сегодня и мне поможет выжить», — думает Серах. Ведь дает в руки оно влюбленным древнее право Весны Священной. Сколько раз наблюдала маленькая Серах, как, вздыхая, разводили руками перед грехом молодых имам и епископ, раввин и маг в первое весеннее, новогоднее утро: «ИХ СОЕДИНИЛА ВЕСНА!» — смирялись одинаково разные священники и уже не могли не признать совершившегося по велению самой природы брака двух юных существ.

— Нас соединила Весна! — прижимается к Булану Серах и заглядывает милому в глаза. — Ведь правда?..

— Вот сейчас оно выйдет — наше общее Солнце! — быстро шепчет Булану Серах.

— Колдунья! — обнял юную Серах Булан.

А свет шел на них. Свет близился. И вокруг все оживало, наполнялось звонкими красками и преображалось. И в оглушительном свете родившегося дня затем внезапно, тих и укромен, возник заповедник — будто в шалаше они оказались среди огромного леса толпы, качающего всеми ветрами.

Как схоронились они на глазах у всех? Почему их двоих уже не смеют толкнуть бесцеремонные локти; их двоих уже стыдятся коснуться чужие потные руки; их осторожно обтекает толчея?! Или это их, юных влюбленных, разглядела и укрыла пришедшая с солнцем Ляля-Весна?!

Знала Серах, что видит Священная Весна то, чего не увидишь глазами, и что слышит Священная Весна то, что не расслышать ушами. Рассказывали и прежде юной Серах люди, что Весна вездесуща. Но могла ли Серах надеяться, что вот при всех падет Весны Священной милость на нее с Буланом?!

Будто нет сейчас ценней для Ляли-Весны другой драгоценности во всей любострастной толпе, всю себя ей, Провозвестнице любви, отдающей, чем они с Буланом двое. Будто нет для Весны Священной среди всего ликующего громогласия славу ей возносящих никого других милее, чем в укромном уголке их с Буланом влюбленный застенчивый шепот. «А может быть, само Кек Тенгри, Синее Небо Хазар, тут озаботилось — Ляле-Весне наказало Лося, Булана-младшего, и его юную жену Серах, Черное Пламя, крепко опекать: чтоб не оказался пасынком сын Булана-старшего; как-никак ведь за весь народ ходатаем ушел, оставив сиротой сына, Лось, Булан-старший?!» — думает Серах.

— Я очень люблю тебя, мой Булан, — говорит, — славный сын храброго отца, за народ наш весь хазарский достойного ходатая! Я очень тебя люблю и вечно верна тебе буду. Не посрамит рода твоего, имени отца твоего семья наша. Сыновей я тебе рожу — удалых Тороксенов. Счастливо мы жить с тобой будем!

Булан и Серах спешат ближе к Белому храму. Солнце вышло. Оно ясное, светлое. И теперь Серах хочет пробраться поближе к священникам. Чтобы, когда глашатаи затрубят в длинные трубы и прославят Новый год и Весну, священники хорошенько бы услышали, ничего бы не пропустили из того, что Булан сейчас при всех людях

про их любовь объявит; громко-громко назовет Серах женой своей, самой Лялей-Весной освященной.

Вот уже подняты длинные трубы. Вот уже кричит весь народ, подняв руки и приветствуя криками праздник. «Не забудь: как меня на руки поднимешь, сразу громко кричи: «Нас соединила Весна!» — шепчет Булану Серах.

И вдруг в толпу врезается барабанная дробь:

— Нишит-е (будем бить палками)! — Это нечто вроде объявления Арсиев-стражников о собственном появлении. — Разойдись! Все по домам — сегодня Весна отменяется. Академия мудрецов при Белом храме пересчитала календарь и откладывает Весну. Праздник переносится. О дне Весны будет объявлено...

Только что вокруг в веселом настроении бушевала толпа, и вот вытянулись все лица. Люди послушно уныло расходятся...

— Эх, нынче весна голодная. В городе совсем плохо с хлебом, так хоть повеселиться надеялись. Пока смеешься, вроде и не так слышно, как урчит в желудке... Но вот тебе подарок!..

Так ворчат. Но не бунтуют. Приучены повиноваться.

Булан растерянно смотрит на Серах. Как же их законный вечный брак?! Как теперь, если Весна Священная не приходит?..

У Серах убитое лицо. Но вот она уже трудно улыбается.

Серах берет Булана за руку:

— Пойдем гулять на торги?!

— Какие торги? Ведь они начинаются Весной. Глашатаи всегда прежде громко трубят в длинные трубы, объявляя приход Весны, начало праздника и начала торгов. Нельзя! Амили еще по рядам не ходили, не отделяли в свои тележки десятину.

Серах гордо выпрямилась.

— Все можно остановить. Даже весну. Но не торговлю!.. Никому торговля не подвластна — даже богу и его пророкам. Как ни гнали Христос и Мухаммад торгующих из храма — смирились. Усвой, милый: ничто не может остановить рынок, если рынок хочет торговать. Пусть в предвестии мора и падежа скота еще громче каркают в городе, перелетая от падали к падали, вороньи стаи, пусть маги и муллы пугают, что за грехи наслан демонами на город Голый Дзв (чего только не наплела людская молва), пусть толпа беснуется в сладострастии — торги все равно начнутся. И если закрыты двери базаров, если выгнали стражники оттуда торговцев, то вот он, наплавной мост, — чем не место для рынка?! А голодные люди — так те сговорчивее. Голод не тетка — с последним на рынок пригонит.

А на мосту так и лучше! Чего купцам базара ждать, коли тут покупателей пруд пруди? Тут не зевай — продавай, да с мошною от стражников ходу! Тут и цену скинешь: десятину не отдавать — все одно в барыше!..

Наплавной мост стонет под тысячами ног.

— Нишит-е (будем бить палками)! Иша-Управитель не разрешил на мосту торговать! — беспрестанно орут стражники.

Кричат, угрожают. Но трогать никого не трогают. Кого бить? В такой толпе руки и ноги за обиду повыдергают — в такой толпе каждый противу стражников герой.

Качается наплавной мост. Подпоясанные веревками черные лапсердаки приезжих торговцев смешались с золочеными, дорогими кафтанами хазарских Рахданитов, ведущих заморскую торговлю. Архалуки и шубы северных гостей трутся меж пестрых халатов купцов с юга. Торгуют по-разному. У кого товар поплоше, мошна победнее, те сразу заорали во все горло: зазывают, выкладывают цену. А купцы побогаче не спешат, себя не показывают, и цену наперед не называют: мимоходом прицениваются, с безразличными лицами приглядываются к толпе исподтишка. Метким глазом отметят покупателя — и глядь: уже скользнули в толпу их приказные: сейчас покупателя как рыбу выудят, будто на леске подведут к купцу, с крюка не спустят, сумеют и цену поднять, и товар расхвалить.

Посреди моста груда шелковых кусков. Желтолицый китаец расположился на шелке, как дома: уже и пиалу с травкой заварил. Всем видом показывает, что день весь на мосту просидит, а цену не скинет. Тонконогий араб затащил на мостки верблюда. Вода уже брызжет меж досок, вот-вот черпанут бортом мостовые лодки, а араб никак не может развернуть своего верблюда и сгрузить тяжелые тюки дамасского полотна. С дубовым и березовым поленьями в руках расхаживает взад-вперед русоголовый славянин. Плоты у него где-нибудь под городом. А он ищет с образцами покупателя. И найдет! Вот араб

занят своим товаром, а уже косится на поленья: кому в Халифате не нужны весло и гроб, подпорки для корабля и намогильный знак, а из чего их сработать ремесленнику, как не из надежного дерева из Руси-хаданга?! Да и воевать не будешь без колчана и стрел, не примешь гостей без резной утвари: нужен белый халандж, славянская береза!.. И глядите, не выдержал араб, бросил поводья своего верблюда рабу, а сам ухватился за поленья, взял, вертит в руках, на зуб попробовал, знаками сомненье выказывает — весь ли товар, как образцы, а сам спешит: удача-то какая — без перекупщиков-пиявок местных обошелся! Славянин в ответ повернулся к Хорсу-солнцу, бьет себя в грудь. Араб отсчитывает динары: клятва Хорсу надежней расписки!..

Эй, а вы, нищие, прочь! Не глядите голодными глазами на рыбу. Не для Тутгары-прислуги приготовлено здесь угощенье — здесь торговля только для тех, у кого есть даники и тассужи, у кого в широком поясе звенят монеты, а не булькает вода в голодном брюхе! Здесь все для пира, но за пир надо платить не голодными взглядами. Вон они лежат — нежно-желтые, как янтарь, темно-красные, как гранат, ломти рыбы копченой и вяленой. Покупайте тьму бочек! Покупайте две тьмы бочек! Не беда, что в городе голод. Не для псов-попрошаек хоронились купцами запасы. Сыпьте, сыпьте монеты и берите товар. Хоть в Багдад, хоть в Кордову везите! Русским воском крепко зальют при вас бочки — не пропадет по дороге товар, не испортится ни один кусок, не угаснут янтарный и гранатовый цвета.

Ищете изысканного, тонкого кушанья? Купите соленого арбуза! Только здесь, в Городе-на-Реке, знают секрет, как сохранить на всю зиму свежесть арбуза. Если купите ладью с арбузами, то купец бесплатно пошлет с вами верного приказного: можете снять с приказного голову, если в ваших северных странах втридорога не раскупят арбузы. И торопитесь: вон уже выбрал арбузы для своего хана Кури бритоголовый печенег.

Эге, а что это у печенега под мышкой? Уж не обвязаны ли тряпкой серебряные трубы? Не разрешено кагановым указом продавать печенегам серирские серебряные трубы с бычьими головами — для войны служат эти трубы и для грабежа. Печенеги пугают мирных селян их страшными звуками! И грабят! Так кто же это продал серирские трубы печенегу? Кто сам на себя набег накликает?

Ах, вот зачем понадобились печенегу арбузы: под арбузами скроет возчик серебряные трубы.

У новгородцев товар помельче, а цены выше. Янтарем и жемчугом, серебряными кольцами, браслетами и гривнами соблазняют новгородцы. Впрочем, есть у них и другой товар — пенька и лен. Но уж тогда бери лодку-ушкуй, а из-за какой-то бочки новгородец рядиться не станет. Да и то: удобно покупать у новгородцев товар ушкуями. Ушкуй — челн верткий, на волне устойчивый: можно бы и за море на ушкуях, если бы не цепи поперек реки. Так бери, покупай товар ушкуями — звериная морда на носу ушкуя лучше стражников хранит товар: подумают охотники до грабежа, что это русы, и со страху сами ударятся в бега.

Возле новгородцев толкутся с товарами их побратимы — буртасы и булгары. На коротконогих буртасах меха, как на женщинах. Свои меховые шапки буртасы обернули цветными чалмами... Прокладывая себе дороги локтями, тащат тяжелые связки куниц бородатые булгары. В рубахах и джуббах, в белых чалмах снуют туда-сюда с корзинами, полными изюма, мардаты. Чинные, в одеждах из парчи, с оружием из серебра, глазеют на народ чернобровые мадьяры.

А на правом берегу у моста торгуют киевляне. Вывалены из лодий на берег бочки меда и воска, стоят кувшины сладкого березового сока, лежат кольчуги, панцири, ножи, мечи. Рядом кучами зеленый и красный сафьян, желтый пергамен. Нет только рогожных мешков с золотой пшеницей. Стражники не пропустили пшеницу в город. На дне реки кормят рыб золотые зерна, а купцы, что дерзнули везти хлеб в город, распяты.

Булан и Серах бродят в толпе. Глазеют на товары. Вокруг них бойко шепчутся:

— А пшеницы-то нет! Нету русов с пшеницей — быть голоду.

— Да, нет! Управитель богатством народ спасет. У него на крайний случай амбары пшеницей набиты... Вот он их, как совсем помирать начнем, сразу и откроет — облагодетельствует честной народ.

— Держи карман шире! Может, кого и облагодетельствует, но не нас с тобой. Пшеница-то вон как в цене все поднимается.

— На то рынок. Чего нет, то и дорожает!

— А слышал: русов-то, говорят, не по нашему обычаю распяли, не на деревенских ослах... На крестах... По-староримскому...

— Ну? Значит, их не наши стражники, а между собой они там... Христиане-еретики против своих же. Выясняют, кто православнее. Небось «павликиане» с «ромеями» опять чего-то не поделили... Вот еретики такой казнью и намекают... Что, мол, с «ромеями» по их...

— А что тут можно намекать? Если русы пошлину не хотели платить, то убиение законно. Как же еще от сокрытия пошлины купцов отучать... Но вот коли русы те пошлину заплатили...

— Да что ты сказал? У тебя язык — собачий хвост...

Серах хватает Булана за руку, силой оттаскивает в сторону. Ее сердце стучит. Разговор, который они слушали, уж очень как-то стал похож на нарочитый: эти слухи уж не сами ли соглядатаи Управителя богатством распространяют? Сами скажут — сами тебя тут же и схватят, и на осла деревянного или, еще страшнее, кожу с живого сдирать начнут, чтобы признавался. В чем угодно, когда кожу-то сдирают, признаешься.

Булан и Серах снова ныряют в толпу. Скорее. Дальше, дальше от внимательного глаза, который, им показалось, к ним начал присматриваться. Только бы успеть убежать...

Уже за мостом, на берегу среди юрт, перемешавшихся с редкими саманными домами, Серах решительно кладет обе руки на плечи Булану:

— Милый! Вон большой толстый тополь, а под ним мой дом. Я должна идти...

Булан опускает голову:

— Ты бросаешь меня?.. Что с тобой, милая, теперь будет?

Серах долго молчит. Ждет, смотрит Булану в глаза. Потом, не снимая своих рук с его плеч, говорит медленно и почти строго:

— Не спеши хоронить меня, Лось, Булан-младший. Я не Тоюрке (юрточная юбка), не какая-нибудь пугливая кочевница, которая обесчестится и сникнет, только плачет и терпит, как ее бьют, а потом продают, как самый гнилой товар, на Сук Ар Ракике — невольничьем базаре. Я сейчас пойду, а в субботу, когда мой отец Вениамин вернется из плавней с заготовки рыбьего клея, ты должен прийти в наш дом. Я уже твоя жена. Солнце взошло сегодня при ясном небе — оно освятило нашу крепь с тобой. Весна Священная соединила нас. Мы оба чувствовали, как она нас в толпе укрывала. И теперь ничто уже нашу брачную крепь не разорвет. Однако я не хочу лишнего позора для отца. Ты же знаешь про строгости в наших иудейских кинасах — учителя караимские блюдут показную нравственность лютее раввинов, хоть и честят раввинов талмудистами, а себя именуют свободными. Я умоляю тебя: ты должен добиться, чтобы в субботу мой отец решил, что это он сам тебя для меня выбирает...

Серах трудно засмеялась, потрепала Булана по голове:

— Ну, справишься? Ты вон ведь какой Каткулдукчи (воин)! И видом приглядный, воинственный. И отец у тебя известный — ходатаем своим Вся Масса Народа не всякого выберет! Как сыну ходатая, за весь народ ратующему, взять и отказать? Мой отец такой — он тут сразу в лепешку расшибется... Сумеешь отца покорить? Мы должны что-то делать, пока все не раскрылось! Ты же не допустишь, чтоб меня побили камнями?!

Булан ободрился:

— Я хитрый! Я не какой-нибудь Талай (заяц). Я не лягу на спину, подняв лапки кверху.

Серах жестко сказала:

— Помни, что с обесчестившего девушку, если он не выплатит отцу виру, сдирают кожу.

Булан вздрогнул. Желтое короткое платье полыхнуло, как желтый солнечный зайчик, и, как зайчик, будто стерлось на белой саманной стене.

Булан долго не уходил. Смотрел на толстый тополь над домом Серах — на ветках тополя уже проклюнулись нежные зеленые листочки.

Сдавленный крик долетел до него, как плач на плахе.

— Нас соединила Весна!

Это был крик Серах.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

Работорговец Гер Фанхас

А в это же время (или, по другим источникам, несколько раньше) на самом южном краю Европы, в Испа-

нии, в столице Кордовского Халифата Кордове, думал о тяжкой судьбе разбросанных по всему миру таких же сирот, как Серах, тайный мастер общины «детей вдовы» Хасдай. Усталые это были думы. Сколько уже было пророчеств о том, что «кончаются сроки». Но ждали, надеялись, и снова обманывал срок.

Абу Юсуф Хасдай ибн Шафрут смотрел в окно — по тесной дворцовой площади от него уходил придворный поэт Менахем бен Сарук. Вместо зонта поэт держал над головой плащ цвета меда, который яростно рвал у него из рук колючий ветер. Дождь клубился водяным месивом. А откуда-то с реки, со стороны Средиземного моря, еще и еще наползали черные злые тучи.

Поэт был длинен и тощ, как кол, а торчавшие всклоченные волосы делали его еще длиннее. Этот кол норовило переломить ненастье. Оставленная солнцем вдова-природа сама била свое дитя.

Внезапно, однако, поэта будто лавиной снесло с площади. Хасдай схватился за сердце. Площадь заполнилась русами.

Хасдай понимал, что надо бежать. Русы только недавно, неожиданно налетев на многих лодиях, пограбили город. Но ноги Хасдая прилипли к полу. Тогда, чтобы хоть что-то взять, чем-то занять себя, чтобы оттянуть время, Хасдай протянул руку за медным зеркалом. Пусть врываются к нему, пусть убивают, а он в последний раз посмотрит на себя.

Ему есть с чем предстать богу. Жаль, конечно, что об этом не успел написать знаменитый поэт Менахем бен Сарук. Ведь они только что так понимающе поговорили. Конечно, бен Сарук слишком затуманивает свои поэмы сложными намеками и каббалистическими символами, но знатоки древнего языка сохранились даже в самых далеких общинах, и они любят, проявляя свою ученость, разгадывать поэтические намеки. Особенно именующие себя «детьми вдовы-природы»...

Но, может быть, русы пощадят хоть поэта? Тогда бен Сарук, оплакивая Хасдая, еще громче его — Хасдая — прославит, чем если бы он остался жив: самое плохое часто бывает к лучшему. Отнявшиеся от страха ноги по-прежнему не подчинялись Хасдаю, но руки шевелились, и он гордо поправил поддельные длинные виски, которые щедро высовывались из-под его черной шапочки (Хасдай был давно уже совершенно лыс). Затем представил, как

только что перед ним, сухоньким стариком страшно маленького роста, буквально распластывался, стараясь подобострастно заглянуть в глаза, знаменитый на всю Испанию и по общинам рассеяния поэт. И самодовольно (а самодовольство даже в страхе не покинуло его) улыбнулся. Хасдай сам понимал, что заглядывать ему в глаза было за что. Сайарифа * Абу Юсуф Хасдай ибн Шафрут, став одновременно везиром кордовского правителя Абд ар-Рахмана, четыре года назад добился невозможного — под защитой его денег Абд ар-Рахман объявил себя самостоятельным зеленым халифом в противовес исконному багдадскому черному халифу. Теперь здесь, в Испании, на самом краю Средиземноморья и уже не в Азии, а в Европе, тоже мусульманская столица. Кордовские Рахданиты — купцы, ведущие заморскую торговлю, надулись от спеси, видя в возвышении торговой Кордовы начало торжества золота над миром. Отныне разбита единая чаша ислама. Повержена сама изначальная идея, рождавшая его восхождение, — совмещение в одном лице главы огромного государства и единственного полномочного представителя самого бога на земле. Ислам сейчас ведет изнурительную священную войну с христианской Византией. Но, расколовшись, он отныне и сам обречен. Поле битвы с гниющими костями достанется третьему. Но кому? Они только что всласть наобольщались тут с поэтом. Конечно, претендентов найдется много. Но почему не рискнуть?!

— Тебе не кажется, Менахем, что то, что именно на сегодняшнюю субботу упал канун нового, 354 года хиджры (965 года по летосчислению врагов нашего халифа), есть нам знак. Кончаются сроки! — намекнул Хасдай. — Не пора ли субботу сделать праздником для всех? Тайне Ремесла сбросить покровы...

Это был страшный намек. Даже гнусная ересь караимов, предлагающая уравнять в почитании Моисея, Христа и Мухаммада (мол, они — всего лишь три пророка, пришедшие от одного общего для всех людей бога), покажется многим единоверцам — это понимал Хасдай — детской забавой развольничавшихся ремесленников-ткачей по сравнению со святотатственным предложением Хасдая? Как? Поделиться с другими своим богом? Столько столетий окружали своего бога мистической тайной!

* Ростовщик и банкир.

Обрекали себя на гонение, на презрение, открыли алхимию Ремесла и познали, как растить золото из золота, а теперь поделиться? Хасдай понимал, что, даже если этот путь предложит знаменитый поэт, его не примут спесивые, которые тут же тупо забудут о всех собственных унижениях и о том, что у Неизреченного бога (так они именуют своего бога перед другими, пугая себя и их, будто его имя так ужасно, что если изречь, то небо обрушится!), к сожалению, давно уже нет собственного государства. Храма своего и то нет, ибо давно утеряны где-то в пещерах Кавказа (куда бежали священники после разрушения собственного государства) скиния и святой ковчег: да и ставить храм негде... Нет своей земли... Однако что доводы против спеси?! Особо для тех из спесивцев, кто уже записал себя в «детей вдовы». Ох, эта спесь горя!

«Но не покарал ли нас бог за страшный намек? За самообольщение?» — вдруг в совершенно обратном направлении пошли мысли Хасдая. Только что готовый издеваться над единоверцами за их многовековую спесивую трусость перед Неизреченным, он сразу весь съежился. Его бросило в жар. Бог же мог прочесть его святотатственные мысли и наслал на них с Менахемом страшных русов, чтобы русы их убили. Вот почему прилипли от страха у него ноги к полу... Но если русы сейчас его, Хасдая, убьют, то куда же, застигнутая в момент кощунства, пойдет его душа? Святотатная душа оставляется без пристанища.

Всесильного везира Абу Юсуфа Хасдая ибн Шафрута трясло. Он уже не страшился за тело, он плакал по своей душе — вечной страннице.

Важно вошел мусульманин-дворецкий. Поклонился до земли, как самому халифу. Доложил, что во дворец прибыли странные какие-то послы. Их сопровождает много русов. Они приплыли на лодиях русов. Но сами не русы, а обличьем коренасты и низкорослы, с лицами, будто тарелки, обтянутые мелкой желтой сеткой, и глаза узкие, раскосые, совсем как щелки.

Хасдай медленно приходил в себя. Чтобы выиграть время и получше скрыть свой проходивший уже страх, недовольно поморщился. Он уже сообразил, что случилось. Для безопасности многие посольства, особенно направляющиеся в дальние страны по морю, предпочитали нанимать охрану из русов и плыть на их лодиях. Да что

говорить! У черного багдадского халифа и у византийского императора — у обоих сейчас гвардия из отважных русов.

— Почему ты не объяснил послам, что у меня суббота! Разве я не имею права на собственный праздник?! Я в субботу общаюсь только с единоверцами. Таков порядок моей веры...

— Великий везир. Послы сказали, что они... твои единоверцы!

Хасдай выронил медное зеркало, которое, прибирая себя, вертел в руке. Хотел ударить дворецкого. Сдержался — напомнил себе, что дворецкий мусульманин. Правящей веры. Успокоил себя тем, что, наверное, дворецкий получил от послов-дикарей хороший бакшиш, вот и старается им угодить и не придумал ничего лучше, чем уравнять дикарей с единоверцами Хасдая.

Все же, собравшись с духом, Абу Юсуф Хасдай ибн Шафрут приказал впустить неурочных послов.

Послов оказалось трое. На всех них были очень богатые халаты. Но на головах не чалмы, а расшитые золотом высокие, как кувшины, шапки верующих в Неизреченного бога и поверх халатов плащи цвета мела.

Вслед за послами слуги внесли обильные дары — меха, драгоценности, соленую красную рыбу. На общей веревке вволокли несколько молодых рабов и рабынь, бросили их к ногам Хасдая.

— Мы — Рахданиты из Великого Хазарского Каганата. Прибыли к халифу послами, а к тебе пришли братьями в боге, о почтенный Хасдай! — представился старший из послов, толстый, как огромная бочка сала. — Да благословит тебя Шехина! Прими подарки и разреши нам, дабы оправдать наши расходы на дальний путь от моря Каспия, кое-что продать и купить на твоем рынке. Мы же, со своей стороны, приглашаем кордовских купцов к нам на Каспий в город Итиль, что стоит на великой реке, истекающей из земель Рус. Путь до нас опасный и дальний — по Средиземному морю и Понту Эвксинскому, а дальше по Дону и волоком к нашей реке или караваном по Кавказу. Или можно добираться к нам через немцев и русов. Однако рынок наш столь богат, что дает купцу тысячекратный барыш, который оправдает все опасности. Тебя же, Хасдай, лично приглашает наш правитель Иосиф. Он у нас носит титул иша. Считается он Управителем при кагане, но власть у иши поистине царская,

ибо каган мало выходит к народу и служит больше богу, чем нам, грешным. Так что если ты захочешь послать письмо, то можешь поименовать нашего ишу царем — ему это будет приятно, а нам лестно. Если же ты, как умный Сайарифа халифа, захочешь вложить в наш рынок кое-какие свои деньги в расчете на хороший барыш, то лучше тебе иметь дело со мной. Зовут меня Гер Фанхас. Я староста всех базаров в нашем городе, Сайарифа нашего кагана и сам владею доходной работорговлей во всей Европе. Мою добропорядочность и честность в торговых делах подтвердит тебе каждый Рахданит, торговавший на рынке рабов в Праге или Константинополе. Знают меня также в Багдаде и Киеве... Я надежный Сайарифа...

Гер Фанхас еще что-то продолжал говорить о торговых делах. Но Хасдай не слышал его. Премудрый и всесильный везир Абу Юсуф Хасдай ибн Шафрут во все глаза смотрел и не мог поверить в сотворенное для него Шехиной по случаю праздничной субботы сакральное чудо. Наверное, если бы пророк Моисей прислал к нему вестников-аггелов, он не был бы удивлен и растроган больше, чем от внезапного появления этого толстого, как бочка сала, туземца Фанхаса с гордо, как аристократический титул, произносимым «Гер» (прозелит) перед именем. Вот он — Третий. Вот кто уже идет, чтобы изменить все в этом мире, сроки которого кончаются. Вот истинные «дети вдовы-природы», овдовевшей после захода солнца. Уж такие-то не пропадут... Вот из кузнечика саранча!..

До сих пор Хасдай слышал о Великом Хазарском Каганате, — якобы великой державе Неизреченного, возникшей где-то на самом восточном краю Европы в прикаспийских и придонских степях,— как о манящей сказке. Послы в Византии извещали Хасдая, что свои дипломатические письма хазарский каган скрепляет печатью весом в два золотых солида — по рангу великих держав и что византийский император настолько заискивает перед славой хазар, что взял в жены хазарскую царевну по имени Чичак и теперь в Византии у модниц нарасхват чичакионы — шапки, как у царевны. Посольство в Багдаде смущающе доносило Хасдаю, что там в чести полководец Тонг ал-Хазари — по происхождению хазарский принц, человек к тому же еще и зело ученый, пожертвовавший всю свою воинскую добычу в монастырь суфиев на книги и сам там поселившийся. Хасдай видел не раз и товары: рабов, красную рыбу, соленые арбузы, рыбий клей, дошедшие из Хазар. Но добавлявшиеся шепотом слова о принятой хазарами необычной вере всегда казались Хасдаю розыгрышем, безумной шуткой, чем-то совершенно невозможным. И вот они стоят перед ним — кочевники и его единоверцы.

— Чего вы хотите от меня? — спросил Хасдай. — Вашему правителю Иосифу нужна помощь деньгами? товарами? войском? мудрыми советами единоверцев?

Хасдай понимал, что надо бы ему назвать послов «братьями в вере», но язык у него все никак не поворачивался так назвать пришельцев. Он смотрел на их лица как тарелки, обтянутые желтой сетью мелких переплетшихся морщин, на раскосые глаза — пылающие черным огнем хитрые щелки, и никак не находил в себе нужного к ним обращения. Они были совсем другими, чем он.

— Почтенный Хасдай, распространяемое слово поможет нам, — послы вежливо раскланивались. Хасдай понял, что они были достаточно мудры, чтобы не произносить лишних тирад.

Затем Хасдай долго смотрел в окно вслед уходившим послам, плотно окруженным рослой охраной из русов. Дождь прошел. Но с востока набегали новые черные тучи.

Когда необычные послы скрылись из виду, кордовский всесильный везир почему-то упорно протирал себе глаза. Ему все казалось, что ничего не было, что это его, уставшего от субботнего праздничного одиночества (вынужденного тем, что во дворце ему нельзя было оскверниться общением в святой день с иноверцами), во сне посетило праздничное видение.

Потом, уже совсем смутно, он вдруг припомнил, что толстый, как бочка сала, Гер Фанхас что-то еще пытался ему говорить про Барса Святослава, который-де окреп и ходит уже совсем рядом с владениями хазар, и что по кочевому календарю последующий год будет годом Барса *. Но зачем, осторожно косясь на свою охрану из русов, как бы ненароком сообщил об этом хитрый кочевник мудрому везиру Хасдаю, это еще предстояло вычислить. Может быть, из-за Барса и поднялся ветер, что погнал хазарских послов на запад вплоть до самого дальнего моря — до самой Кордовы?..

* 965—966 годы.

Когда пришел срочно вызванный им для совета Менахем бен Сарух, Хасдай нервно ходил по освещенной пятисвечиями зале.

— Мой друг! Им поможет распространяемое слово! — закричал навстречу недоумевающему от такого парада поэту всесильный везир: — Пробил час! Нам поможет распространяемое слово!..

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

Кяфир Памфамир – всего лишенный

Кяфир извивался, как змея, на передке арбы под парившим солнцем. Руки и ноги Кяфира были крепко связаны вожжами. В зарослях чакана было сыро, жарко и душно.

— Ну что, Кяфир, задумался о своей судьбе? Будешь рассказывать правду? Говори: по чьему поручению ты пробрался ко мне на корабль? Кто тебя послал следить за мной — сам император Никифор Фока? Кто наставлял — Паракимомен, его спальничий?.. Говори же все, нечестивый! Ты видишь: не только у императора Византии хорошая сыскная служба, но и почтовый Барид всемогущего халифа не бездействует — нанял надежных осведомителей, и я был предупрежден о византийском лазутчике. Ты уличен, и если хочешь молить меня о снисхождении, кайся!..

Кяфир снова скрутился, как змея, всем телом. Застонал.

Монах подошел к нему. Распутал Кяфиру ноги и, рывком приподняв, поставил на ноги.

— Смотри мне в глаза и отвечай. Имя твое?

— Памфамир, — спекшиеся губы Кяфира едва шевелились.

— Понятно. Это греки тебе такое имя дали. Всего Лишенный значит. Такое имя обычно дают крещеным рабам. Ты из рабов?

— Да. Я отсюда, из Хазарии. Отец меня продал здешнему работорговцу, толстому, как бочка. А работорговец — грекам.

— Вижу, ты искренен. Дальнейшее я могу рассказать за тебя сам. Тебя купил Паракимомен — спальничий; окрестил и предложил тебе на выбор: либо вольноотпущенником с обязательством выполнять его особого рода поручения, либо носить ночные горшки за какой-нибудь работающей на сыск гетерой. Ты решил попробовать и то и другое, и вот преуспел — отправлен следить за самим Волчонком Ал Хазари, — монах гордо выпрямился, — за мной, значит. Только что же не сбежал, когда выбрался на берег? Надеялся, что я не замечу, что ты спрятался на арбе? Или хотел проследить, куда я со своим тайным грузом направлюсь? Говори.

Кяфир замотал головой:

— Почтенный Ал Хазари! Это верно, что я Кяфир, но я не лазутчик. Я был, как и ты, монахом. Но был обвинен в ереси, бит плетьми и вынужден был бежать на Кавказ, где из христианских владений пробрался во владения халифа. Что скрывать, я — «сын вдовы»!

Монах ближе подступил к Кяфиру, взял его недоверчиво за подбородок, притянув к себе:

— «Сын вдовы»? Ты что же — хочешь сказать, что ты из инакомыслящих еретиков-христиан, которым халиф даровал на Кавказе убежище от преследований со стороны православных?

Кяфир дрожал от страха, когда Ал Хазари сильной рукой притянул его к себе. Но тут он вдруг поперхнулся и, как собеседник Джибраила, сиречь припадочный, изо рта которого бьет пена, захлебнулся в истошном словоизвержении:

— Православные? Это в Византии православные? У патриаршего престола и возле трона базилевса-императора православные?! Нет, там сидят не православные, а ромеи. Римляне пробрались к святыням христианским и, беззаконные, неблагодарные, неблаголюбивые, сами себя охально называют христианами. А нас, «сыновей вдовы» — истинных духовных людей, наследников строителя храма Хирама, нас, верных учению Павла и Мани, возвратившихх в Христову веру заветы семи первобытных духов и священную тайну Каббалы, эти мерзкие богоотступники хают и клеймят павликианами и манихеями, злоеретиками-мессалианами, скрытыми иудеями. Они издеваются над тем, что мы, сыновья «вдовы-природы», стремимся постичь ее сокровенные тайны и сознаем себя лишь Тенями в этом мире. А базилевс-император, считающий себя благочестивым и православ-

ным, заявил, что всякий, кто побуждаем рвением и заботой о боге, должен — чтобы зараза инакомыслия, распространяясь, не охватила всех людей — убивать еретиков. Что это, мол, про нас сказано пророком: «Тех, которые не хотели, чтобы Я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мной!»

Монах отпустил Кяфира, развязал ему руки. Его отношение к Кяфиру резко переменилось:

— Ты действительно «сын вдовы». Много вас, бежавших из открывшей вашу суть христианской державы, теперь бродит по кавказским владениям халифата. Восток кишит вашими «тенями». А чтобы как-то прокормиться, вы готовы наняться хоть гребцами на корабли — на самую тяжелую и опасную работу... Выходит, ты один из обиженных судьбой. А я тебя оскорбил тяжким подозрением. Прости меня, брат мой в злосчастии! Ты свободен!..

Они обнялись под уже гаснувшим светом желтого хазарского солнца — два монаха: невысокий, крепкий в кости, широкоскулый, черноволосый, кареглазый мусульманский монах с громким именем Ал Хазари (именем прославленного полководца халифа на Кавказе) и длинный, тощий, с узким лицом и какими-то выцветшими, будто сгоревшими глазами, с серыми, как пепел, волосами, похожий на Баруа-тень христианский монах Памфамир (в имени которого обозначилась его скорбная доля — Всего Лишенный).

Вышла бледная луна и встала рядом с солнцем. Круглая, она ухмылялась, щурилась с неба на двоих богословов, оживленно обменивавшихся цветами Наур Ва Нур (цветами и блеском Знания).

— А ты знаешь, я читал «Сабуркан», и мне нравится многое в великой Печати. Книги «Йоцира», «Разиель» и особенно «Зохар» — как без них познать магию и тайну переселения душ?! Как научить Вдову-Природу?! Вас, «сыновей вдовы», манихеев, за мистические знания избивают свои же христиане. Нас, мусульманских суфиев, тоже, случается, казнят за лишние знания.

— О, а я читал сочинения суфия Ал Халладжа. На рисовой бумаге! Написаны золотой краской! Книги подбиты парчой и шелком, переплетены в синий сафьян. А какой слог! Какая мудрость!

— А ты осведомлен, христианин, что шерстобит Ал Халладж, увы, подобно зверю, казнен в Багдаде сорок

пять лет назад?.. Во всякой вере есть учители... Как в кандалы, жестоко замыкающие божье слово в Талмуд и не богу — Талмуду молящиеся... Не только у иудеев. Но учение Ал Халладжа живо. Все мы, суфии, несмотря на мученический конец Ал Халладжа, изучаем его книги. И каждый год в Багдаде находятся, несмотря на чрезвычайную опасность, храбрые ученые мужи, которые в день смерти Ал Халладжа выходят на берег Тигра точно там, где когда-то висело на позорном столбе тело Учителя, и высматривают его дух. Если бы я был в Багдаде, я был бы с ними — не боящимися, что их тоже казнят.

— Да, мусульманин, трудно нам, докапывающимся до знания, существовать во всяком вероисповедании. Везде нас одинаково преследуют и травят, объявляют инакомыслящими и еретиками. Я думаю, зто оттого, что все мы одинаково Гностики (Люди Знания). Знание — вот наше Ремесло. А это опасно для тех, кто захватил в разных языках и разных верах власть. Ведь истинное Знание объединяет. Оно всеобще. Бог истинный — для всех един. А учение его мудрости и добрых дел приносится в мир время от времени в непрерывной последовательности через посланных Единого. Имен у посланных Единого много. Так в один круг времени пришло общее истинное учение, основанное на Знании, через посланного, назвавшегося Буддой, в земле индийской. В другое время через Зороастра — в стране персидской. Еще в другое — через Иисуса в краях средиземноморских и европейских. А еще в другое — через Мухаммада в странах азиатских и африканских. Теперь к нам пришел Мани и только напомнил об общем Знании. То, что семь первобытных духов в течение сорока дней откровения открыли первым мастерам Ремесла и что закреплено в тайном учении Каббала (Предание), то теперь Мани через свою великую Печать доверяет всем истинным духовным людям.

Такие вот речи вели между собой два монаха под усмехавшейся высоко в небе бледной луной. Время бежало ланью, уже к полночи приближался его ход, а обладатели Знания все обменивались его дарами.

Забавно устроены Единым люди, считающие себя его Тенями. Только что они готовы были убить друг друга, а теперь рассуждали об «Айн» (тайном «Ничто»), якобы единственно управляющим всею Вселенной. Именовали

всю природу Вдовой, оттого что, мол, природа, как женщина, и вдовеет, когда уходит оплодотворяющее ее солнце. Говорили с уважением о посвященных — «детях вдовы» у иудеев и «сыновьях вдовы» у христиан, суфиях у мусульман; о мистическом голосе первобытных духов, запечатанном в тайных книгах Востока.

Уже обнялись, а теперь лобзаются два монаха. Но слово цепляется за слово, тянет новое слово — и вдруг искра высеклась от трения. Искра вспыхнула и палит. Коричневое пламя раздора разогревает. В полном согласии были; как голубки, ворковали два монаха, пока убеждали друг друга, что мир — не более чем Эманация (Истечение) божества, и человек должен всю жизнь стремиться отрешиться от своей материальной личности и слиться с божеством. Но вот вопрос: «А для чего? И во имя чего?»

Высветилось вдруг изнутри словно темным огнем лицо Кяфира Памфамира, Всего Лишенного, и он изрек:

— Мы еще возьмем свое! Брат на брата и сын на отца пойдут в междоусобной войне в Византии. Будет внутренняя война, и после нее мы сядем возле трона. Я уже сейчас для смертных Памфамир, Всего Лишенный, а для избранных — будущий епископ Памфалон Из Всех Родов. И не у «сыновей вдовы» — манихеев я уже тайно рукоположен во епископы, а в самом Константинополе в официальной церкви. Не веришь? Удивляешься?! Но не тому тебе еще, хоть ты и славный полководец Ал Хазари, предстоит удивиться. Ты привык добывать победы на полях битв, в открытом бою. Но страшнее и величественней битвы тайные, которые изнутри раскалывают, как трещины корабли, и топят огромные державы. В этих скрытых битвах вдруг идут на дно и исчезают бесследно в пучине цари и герои, и возносятся на поверхность моря к солнцу вчерашние рабы, вроде раба Багоя, убившего Артаксеркса Оха и севшего на его трон. Всего Лишенные монахи — манихеи становятся епископами Из Всех Родов. «Сыны вдовы» имеют уже много своих людей в Константинополе. Мы, как кокон, обвяжем базилевса. Мы ловчее, хитрее и мудрее. Наше оружие тайна, и мы умеем надевать на себя личину. Мани объяснил нам: «Я не безжалостен, как Христос, который сказал: «Кто отречется от меня перед людьми, отрекусь от того и Я», а я, Учитель Мани, говорю верящим мне: «Отрекшегося от меня перед людьми и приобретшего обманом свое спасение я считаю неотрекшимся и с радостью и без наказания принимаю и награждаю». Поэтому у нас развязаны руки. Мы можем целовать крест в одном, а делать другое. У нас двойная мораль и двойная совесть, а потому мы, как драконы с двумя головами, непобедимы. Мы отрекаемся перед обычными, непосвященными людьми и верим в кругу посвященных. Мы презираем, как вещи, как навоз, всех, кто не является истинно духовными людьми. С ними можно поступать, как со скотом, — они все равно обречены. Только Гностики (Люди Знания) достойны, чтобы с ними поступали справедливо. Нам, Людям Знания, к каким бы языкам или вероисповеданиям мы ни принадлежали, всегда есть о чем поговорить. У нас есть Наур Ва Нур (цветы и блеск Знания), которыми мы можем друг друга одарить. А человеческий скот везде и всюду равно скот... Вот я общаюсь с тобой, славный полководец Ал Хазари, и чувствую твою духовность. А ты чувствуешь духовность мою. Остальные же — брр! Мне не хочется неразумных даже вспоминать...

Ал Хазари тоже медленно багровел лицом. Вошедший в раж «сын вдовы», однако, все бубнил и бубнил своим одноцветным голосом про избранных и посвященных. Его понесло, как осла, которому крутанули хвост, и он, не заметив, что Ал Хазари уже брезгливо отодвинулся от него, теперь с восторгом делил всех людей на классы согласно «Сабуркану».

— А как иначе глядеть на людей, если род людской уже по самой своей природе безусловно разделен? В первом, низшем классе материальные люди, которые погибают с сатаною. Во втором классе, как вечно радующиеся сумасшедшие в доме презрения, душевные праведники. Эти пребывают навеки в низменном самодовольстве, под властью слепого и ограниченного Демиурга. Они думают, что творят добро и упиваются своей совестливостью и нравственностью. И только третий, высший класс образуют истинные — не просто душевные, а духовные люди. Отделяя от своего духа низменную плоть, они восходят в сферу абсолютного бытия.

Ал Хазари перебил. В голосе у него было не то снисхождение, не то насмешка.

— Но если оставаться двуличными и бессовестными, то как отделить от себя низменное?

Однако «сын вдовы» ответил Ал Хазари свысока, уже как ученику:

— Плоть низменную, а не низменные помыслы надо от себя отделить, чтобы сделать легкой, способной вознестись на небо душу. Мани учит: «Коли плоть безусловно чужда духу, то нужно или совсем от нее отрешиться, или предоставить ей полную свободу, что совершенно равнозначно отрешению. Кто идет по первому направлению, тот соблюдает воздержание, аскетизм. Кто по второму, тот даст плоти разгуляться хоть в самых неприличных мерзостях. Враги «сыновей вдовы» из-за этого второго направления объявили нас нравственно распущенными. Но именно второе направление наиболее отвечает истинным духовным людям, изощренным в Знании, сиречь совершенным Гностикам.

Ал Хазари не выдержал; уже совершенно резко съязвил:

— Ну и какого же направления — воздержания или плотской распущенности — ты, истинно духовный человек, сам придерживаешься?

«Сын вдовы» ответил тихо, но совершенно серьезно:

— По причине определенной природной неполноценности, которую я испытываю вследствие учиненного над сосудом для моей души здесь в Городе-на-Реке в детском возрасте оскорбительного насилия (чтобы потом на рынке выше взять за меня цену), я не могу сам воспользоваться плотской распущенностью и вынужден придерживаться только первого, аскетического направления.

Ал Хазари, уже было совершенно отвернувшийся от «сына вдовы», вздрогнул. Приблизился. Обшарил взглядом нагую, тощую, почти бестелесную, действительно совсем как Баруа-тень, фигуру Кяфира. Смутился, скривил рот:

— Вижу.

Но «сын вдовы» по-своему истолковал смущение. Он решил, что убедил Ал Хазари всеми своими доводами, и дерзко отважился завлечь в свою тайную секту душу славного полководца.

— Почтенный Ал Хазари, — вкрадчиво начал Кяфир, — ты, конечно, не христианин, а мусульманин. Однако мы с тобой в честном богословском диспуте согласились, что между христианином-манихеем и мусульманином-суфием пропасть меньше игольного ушка. Заручиться бы тебе поддержкой братства «сыновей вдовы», доблестный полководец, и братья подняли бы тебя выше русского Барса Святослава, соперничающего славой с Зулькарнейном (Двурогим)... * Это я предлагаю тебе, будущий епископ Астильский, Хвальский, Оногурский, Ретегский, Гуннский, Таматарский, Хоцирский — Памфалон **.

Вот уж истинно: услышат иные об «Айн» («Ничто»), соберутся на задворках, назовут друг друга детьми или сынами Вдовы-Природы, подмастерьями мастеров Ремесла или еще каким-нибудь иным завлеченьем соблазнятся и уже верят в себя, что они посвященные и избранные особы, что они одни — духовные люди, и души их одних не исчезнут вместе с сатаною, а поднимутся сразу на Арават, Седьмое Небо, к сокровищам справедливости, благоволения и росе воскресений. И в этом самомнении своем не хватает такому «сыну вдовы» часто даже простой способности трезво вокруг себя посмотреть, с уважением отнестись к собеседнику, а тем более никакой уже силы нет. Кто он, а кто ты сам — Памфамир, Всего Лишенный?!

В ответ на шепот «сына вдовы» славный Ал Хазари засмеялся:

— Я всегда проявлял любопытство к тайным сектам и обществам, потому что в них поддерживается дух инакомыслия, а инакомыслие — острый нож, которым добывают новые знания. Однако мне противно в ваших сектах и тайных обществах то, что вы себя объявляете избранным слоем, высшим классом, а прочих людей, которые пасут скот и сеют хлеб, чтобы вас кормить, спешите отнести к низшим. Я — Волчонок. Принадлежу к Дому Волчицы — Ашины, и по самой крови своей рожден быть избранным в Великой Степи. Небу подобен каган. Однако я всегда полагал, что каган восседает над своим народом, чтобы весь народ устроить. Так завещана на древних Черных Дощечках мудрость моих предков. Весь народ должен каган обустроить, а не одних доблестных беков и мудрых шаманов. Не об одних Баях (Богатых), но о всех Байгушах (Бедняках) должен всегда думать

* В X веке на Востоке русского полководца князя Святослава молва сравнивала с легендарным Александром Македонским («Двурогим»).

** То есть епископ Итильский, Хорезмский, Оногурский, Терекский, Гуннский, Тьмутараканский, Хазарский. По имеиам семи епархий, охватывавшихся хазарской епископской кафедрой. Названия сохранились от оногур и гуннов, рек Итиля и Терека, от Хорезма и Тьмутаракани.

справедливый, небом рожденный каган. Народ — шатер, а каган — опорный столб. Рухнет шатер без опорного столба. Разбредется народ. Но без самого шатра загадит опорный столб первая же пролетная птица; сломает ветер; и обуглит в небесном гневе колючая молния. Я хочу стать бабочкой, которая влетит в огонь и через свою гибель сама станет огнем. Счастливо гореть, когда ты знаешь, что огонь, в который ты входишь, согреет твой народ.

Волчонок гордо выпрямился и представительно расправил плечи, как славный бек перед воинами, хотя перед ним был только одинокий Кяфир:

— Вот какое мое тебе, «сын вдовы», решительное ответное слово!

И тут же Ал Хазари начал собираться — запрягать мула, разворачивать арбу. Он считал, что убедил. Открыл заблудшему такую высшую истину, которая благодаря своему величию неоспорима.

Совсем стемнело. Луна в небе стояла уже высоко и, казалось, подозрительно, вся скривившись и то и дело прикрываясь облаком, глядела на арбу. Мимо зарослей чакана по дороге, ведшей к городу, прошагал запоздалый караван. Высокие спины верблюдов выплывали из темноты, как горбатые сопки, напомнив Волчонку Алтай, куда он в юности ездил учиться мудрости и доблести. Из города, с минарета, донесся прощальный крик муэдзина, и Волчонок вспомнил Багдад. Потом мерно ударили церковные колокола — христианская церковь позвала к вечерне, и Волчонок будто увидел Киев. Росский каганат еще оставался языческим. Но каганша Ольга, мать Барса Святослава, уже строила церкви, крестилась в Константинополе. Волчонок любил Киев, не раз бывал там с послами. За рекой на другом берегу вспыхнул огонь на капище. На родном хазарском капище. Сюда Волчонок ходил советоваться с предками — очищать душу перед битвами. Огонь на капище скрыло молочным туманом, наползавшим на реку.

Ал Хазари опустился на колени возле арбы:

— Помолимся перед дорогой! Весну в городе не объявляли — мы услышали бы длинные серебряные трубы. Они очень громкие! Но все-таки рискнем въехать. Я ведь, честно говоря, въехать не решился в город еще и из-за тебя. Побоялся, что врага сам привезу... Однако какое твое наше, хазарское имя? Не за Кяфира — неверного Памфамира или тем более епископа Памфалона мне, мусульманину, аллаху молиться? Как тебя, «сын вдовы», по нашему-то звали? Меня Тонг Тегин! Но ты уж и сам, конечно, об этом догадался. А твое родное, наше имя?

«Сын вдовы», еще разочарованный неудачной попыткой совращения в свою секту самого Волчонка, грубо проворчал:

— Не помню...

Монах взорвался:

— Не помнишь?! Так как же ты с Кунгаулсун, Высокой Травой Желтой Полынью, говорить будешь? А как поговоришь с Синим Небом, с Красным Огнем, с Зеленой Степью? Могут не откликнуться тебе! Не принять назад. Стыдно, Всего Лишенный. Как это ты так, себя забывши, на Родину возвращаешься?.. Ты чтишь вслед за твоим учителем Мани Павла из Самосат. А почему же завет другого великого самосатца, древнего Лукиана, забыл? Про нас с тобой, таких, как ты и я, блудных сынов он писал: «Те, чьи дела на чужбине складываются неудачно, в один голос восклицают, что Родина — самое великое из благ. Но даже и преуспевающие считают, что при всем благоденствии им не хватает главного, ибо они живут не на Родине, а на чужбине. В жизни на чужбине есть даже доля бесчестия, и часто можно наблюдать, как те, кто, живя на чужой земле, прославился, приобрел большие богатства, снискал всеобщее уважение подлинным мужеством и обширными знаниями, всей душой стремятся на Родину, словно не находя в чужих краях достойных оценить их успехи». Пронзительная мудрость в эпистоле этого иудея. А ты даже имя свое родное забыл. На тебя плюнуть надо! Ты же конь, вплоть до холки покрытый паршой! А еще про «Айн» («Ничто») рассуждаешь и про Арават, Седьмое Небо... Далеко ищешь, а близкое забыл!.. Сиротой прикидываешься! «Сын вдовы»! Да что тебе отец?! Что мать?! Коли ты даже не стыдишься, что имя свое забыл...

«Сын вдовы» стоял и впрямь, как оплеванный. Низко была опущена его голова, дрожали колени. Уже было за полночь. Белый молочный туман загустел и под упругим ветром летел над чаканом хлопьями. Потом воздух закрутился, потеплел. И с переменившимся, подувшим с юго-востока, откуда-то с Арал-моря, из зауральских степей ветром упал на Ал Хазари и «сына вдовы» терпкий,

горький и сладкий, тяжело дурманящий дух полыни.

Дух Кунгаулсун, Высокой Травы Желтой Полыни, пах свободой и раздольем, бешено скачущими табунами и обжигающей свежестью, потом и солью, солнцем и небом, лаской и любовью. В висках от духа полыни звонко стучало, печень сжималась, а сердце прыгало, как на скачках. В воздухе серебряно запело, и скинувшая облако луна вдруг начала слегка приплясывать под эту серебряную песню. Белым парусом пошла большая волна по реке и затихла так же неожиданно, как появилась. За тенями чакана натужно ухнул филин, и тонкий смертный крик растерзанной на гнездовье птицы застыл в ушах.

«Сын вдовы» упал на арбу и заплакал. Он плакал болезненно и зло, как задыхающийся легочный страдалец. Зубы его стучали.

— Да, я забыл свое родное хазарское имя. А почему я должен его помнить? Это тебе, человеку высокой кагановой крови, которому халиф предоставил военный корабль, чтобы ты мог появиться в родном городе, родное имя в почесть! А мне? Ты еще раз посмотри на меня: я гол как сокол, я нищ как пес, я не заметен, как тень. Ты ведь и не разглядел бы меня на корабле, если бы я, опьянев от проклятого родного воздуха, не сорвал с себя чалму. Видишь: родной воздух уже снова подвел меня! Он как клеймо несчастья. А до тех пор никто меня не замечал, ибо я — Баруа-тень. А может быть, меня так и звали в детстве? Потому что я все время чувствую, что я — всего лишь тень всего этого, — и Памфамир, Всего Лишенный, обвел рукой вокруг себя. — Тени появляются и исчезают без следа. Так и я — тень вон той травы, и тень речного берега, тень облака в небе, и тень вон той белой башни, что маячит над городом. Я сейчас и твоя тень. Ты человек высокой крови и привык, что вокруг тебя много теней, которых ты поучаешь. И отец мой, которого звали Венпамин (как видишь, имя-то отца я хорошо помню) и который варит рыбий клей здесь, в городе, а тайком, утешая себя и других, грезит Каббалой (как видишь, я все про отца знаю!), — отец мой тоже, видно, посчитал, что сынишка у него — всего лишь безликая тень, потому что однажды взял он и продал меня, свою зеленую ветвь, работорговцу?! В нашем славном городе ведь разрешается продавать работорговцу кого хочешь, даже своего ребенка. Так почему бы не продать, если ты оказался в стесненных обстоятельствах?! И вот теперь ребенок вернется. А зачем? Может быть, для того, чтобы вспомнили здесь мое родное имя — поймали как беглого раба и на законном основании опять продали?.. А что если мой отец и работорговец Фанхас опять ударят по рукам?!

Кяфир вытянулся на арбе, протянул голову к Ал Хазари, подставил ему шею:

— На! Скорее возьми пару палок и зажми мою шею между ними, сделай мне на шею ярбигал — шейную колодку, какую надевают рабу. Считай, что мое родное хазарское имя Баруа-тень. Ну, что же ты, Наследник кагана, медлишь? Ты ведь спас мне жизнь и имеешь право взять меня в рабы. Таков Тере — закон хазар. Бери же в рабы Баруа-тень. Тень так устроена, что всегда следует за господином как привязанная. И мне, рабу, будет выгодно: если уж быть рабом, то у самого Принца крови!

Ал Хазари брезгливо отступил от Кяфира.

— Спасая тебя, я думал: «Этот Кяфир скорее всего лазутчик. Но он попался, потому что опьянел от родного воздуха. Вот его покаяние». Я спасал покаявшегося грешника. А ты — Иуда!

— Я Иуда? — Кяфир резко повернулся и, сильным движением схватив за край, сорвал синее покрывало, скрывавшее груз на арбе. — Я Иуда?! А ты, священная кровь Великой Степи, Волчонок, Великий Принц, что на Родину привез?! Что решил втащить под покровом темноты, скрывая свое имя и звание, в родной город и вывалить где-нибудь на площади именно в час Весны во время всеобщего народного праздника под потрясенные и содрогнувшиеся взоры гуляющей радостной толпы?.. Какой страшный подарок ты привез!

Кяфир-манихей схватился за живот и сатанински захохотал, тыча рукой в рассыпавшиеся странные фигуры из алебастра — как бы соединившие в себе скульптурное изображение и гроб-ящик.

Волчонок спрыгнул с арбы, не обращая внимание на истерично хохотавшего Кяфира-манихея, начал поднимать фигуры и бережно расставлять их на арбе. Мужчины и женщины, строгие, в типично кочевничьих позах сидели теперь на гробах-ящиках.

В таких оссуариях еще огнепоклонники хоронили кости своих предков. То был древний обычай. И многие

знатные роды, гордившиеся своим древним происхождением, в доказательство своего происхождения еще хранили самые древние свои гробы.

Таботаи — так назывались эти гробы. Вся Масса Народа хазар почитала и страшилась их. Они были как сама власть, как эхо огненного пути и завета предков. Это был священный прах, который сохранял магическую силу и мог спасти или погубить.

Волчопок расставил гробы и, по-прежнему ни слова не говоря, тщательно поправил на себе мусульманскую шерстяную синюю рясу печали, такие же синие головную повязку и тонкую шапочку под ней.

Сложил руки и обратил взоры к небу. Постепенно его тело обмякло, потеряло подтянутость и волчью стройность. Ушла властность. Теперь только скромный монах стоял возле Таботаев, украшенных скульптурными изваяниями.

Кяфир-манихей, однако, все еще не унимался.

— Я так и подозревал, что ты захватил гробы. Унижаешь меня, а сам ты вернулся с Таботаями — сосудами для священного праха!.. — злорадно кричал монаху Кяфир. — Ты только что обличал меня в том, что я бесчувственная, потерявшая гордость тень, а сам привез на Родину гробы. Пусть это даже гробы твоих предков. Но это же все равно Знак Беды?! Все знают, что человек поднимает свои Таботаи и ставит их на колеса, когда жизнь становится невыносимой и надо навсегда бежать из зачумленных мест. Ты этот знак везешь в город?.. Или твои гробы для нового святого праха?

Монах медленно подошел к Кяфиру, взял у него из рук синее покрывало, снова осторожно и старательно прикрыл лежавшие на арбе оссуарии-Таботаи.

— Полезай, Кяфир, на арбу и не раздражай меня своими глупыми суждениями! Какое тебе дело до всего, раз ты только тень, раз ты равнодушен к Родине?! Ты не понимаешь, что родины нет без родных святых гробов!

Кяфир влез на арбу и взял вожжи; он не унимался в злорадстве:

— Давай я ввезу эти Таботаи в город. Я ведь очень похож на возницу беды — на Голого Дзва. Посмотри внимательно на меня: я совсем голый и тощий, как полагается быть Дэву. Хочешь, я расплачусь с тобой тем, что изображу, тебя ради, для своего города возницу беды. Уж пугать, так пугать этот несчастный город!.. Предчувствую: хорошенькую смуту затеешь ты в городе с этими Таботаями. Ты двоякую пользу от гробов получишь. Сначала ты ими всех напугаешь. А потом скажешь: «Доверьте мне власть! Вот я же вместе с прахом своих предков в город вернулся. Мне можно верить!..»

Монах молча отобрал у Кяфира вожжи, забрался сам на передок арбы.

— Садись назад: я не могу тебе доверить прах своих предков. Не могу доверить, потому что мои предки завоевали для хазар эту землю, построили здесь Эль — свободное государство. Ты должен знать, что Эль обозначает у нас, кочевников, одновременно и народ, и государство! А ты забыл об этом! Ты врешь, что ты сын здешнего варщика клея Вениамина. Ты не сын свободного человека. Ты сын какого-нибудь здешнего жалкого раба, а рабу все равно, кто его бьет — хазарин или кто-то пришлый. Только такой сын терпеливо относится к тому, что в нашем городе взяли власть самые нехорошие, бессовестные люди... А свое тщеславие тешит тем, что вступил в закрытое сообщество тайных детей или «сыновей вдовы».

Не дожидаясь ответа, монах хлестнул мула.

Они проехали совсем немного. Город уставился на них своими воротами. Монах быстро расстелил на передке молитвенный коврик, встал на колени и сложил руки. Мул побрел к воротам сам. А монах закричал громко, как мулла с минбара:

— Я остриг усы, которые раньше оставлял, и взял молитвенный коврик длинный, как день...

Несмотря на ночь, городские ворота, похоже, сами открываясь обеими створками, приветливо поползли арбе навстречу.

И вот тут Кяфир приблизился к монаху, горячим ртом задышал ему в ухо:

— А ты хитер и ловок, храбрый Принц, Наследник кагана! Ишь заорал молитву странствующих монахов. Все учел: и то, что в нашем городе стража набрана из мусульман арсиев, и то, что по происхождению эти арсии из Хорезма, где до самых недавних пор хоронили мертвых по огнепоклонническому старому обычаю в оссуариях-Таботаях. Конечно, ворота сразу откроют перед мусульманином-монахом, хоть ночью их и не положено открывать. Конечно, уж кто-кто, а арсии точно пе-

реполошатся и перепугаются до смерти, как только разглядят эти гробы. Ты ведь, конечно, как-нибудь уронишь в воротах синее покрывало?!

Монах дернул плечом, попытался отстранить от себя прильнувшего к нему Кяфира. Но Кяфир внезапно крепко схватил монаха своими тощими пальцами за горло.

— Не дергайся. Ты хитер, но я тебя перехитрил. Я сам ввезу в город гробы. Я расплачусь с этим проклятым городом, явившись к нему в устрашающем облике Голого Дэва. И будет великая смута! Но ты и твой халиф, которому ты старательно служишь — вон он уже алмазную цепь на шею тебе навесил! — не сумеете воспользоваться смутой. К тебе власть не перейдет, и тебе не удастся передать Хазарию под руку халифа. Хазары пойдут под руку великой христианской Византии — к моему богу и моему императору!..

Монах пытался бороться, но византиец, гибкий и ловкий, был цепок, не отпускал горло монаха:

— А, Принц! Я знаю, о чем ты думаешь. Знаю... Все прозреваю. Ты думал, что я трус? Что я испугаюсь страха, что кочевнику нельзя поднять руку на Принца, ибо Принц принадлежит Дому Волчицы, а само Небо оберегает этот Дом и жестоко наказывает всякого, кто прольет твою кровь, — я только придушу тебя. А Небо не разглядит этого, потому что я — ничто. Я — Баруа!

Длинные тощие пальцы еще сильнее сдавили горло монаха, и тот захрипел, обмяк. Видно было, как напряглись мышцы на шее монаха, но тело его словно бы обвисло.

— Вот теперь поблагодари меня. Как Давид, надев броню Саула, начал хромать и затрудняться в движении, а сняв с себя тяжелое вооружение, облегчился и получил прежнюю свободу, так сейчас пусть радуется облегчению твоя душа. Ведь иначе она бы принесла Элю смуту, а людям — братоубийство. И благодари, благодари меня: я должен был задушить тебя давно, а удушил вот только сейчас, в самый лучший для твоей души момент. Ведь ты молился, и, значит, в мыслях у тебя уж точно не было ничего дурного!

Гребец отпустил горло монаха, хотел потрогать веки, чтобы проверить, насколько надежно сделал свое черное дело, но соблазнился золотой цепью, вытаскивая ее, поспешно сунул руку монаху за пазуху, попытался сорвать алмазную цепь с шеи, не сумел... Бросился расстегивать пояс, не сумел, но нащупал нож и кожаный мешочек с деньгами, вынул из мешочка одну монету.

Монета у Кяфира в одной руке, нож в другой. А арба уже въезжает в ворота.

Кяфир отпихнул обмякшее тело монаха; будто с сонным человеком, сел рядом. Хотел снять с монаха халат, чтобы набросить на свою наготу, не успел.

— Хон Карба — зиму прожил!

Кяфир быстро ответил:

— Хон Карба! — Он знал, что это обычное приветствие, заменяющее по весне: «Здравствуй».

— С удачей, хозяин? Но разве ты не помнишь, что нам, стражникам, не положено открывать запоздалым людям ворота, что нас за это наказывают плетьми...

Кяфир увидел протянутую к нему руку и быстро сунул в нее монету.

— О, смотрите! Не медную, а серебряную! Видать, богатый... Проезжай, дорогой хозяин! — И вот тут — вовсе не для проверки, а скорее от радости, что получил сребреник, и от какого-то подобострастного подхалимского желания узнать, что же это привез нагой, поразительно тощий и длинный, похожий больше на Баруа-тень, чем на человека, путешественник, а такой вот щедрый, как волшебник, — стражник полез приоткрывать покрывавшее Таботаи покрывало и тут же вскрикнул испуганно!

— Таботаи! Гробы!

Снова сверкнуло серебро, но уже не монеты, а рукояти ножа, воткнутого Кяфиром в горло стражника.

— Сына Арс Тархана убили!

— Сына самого начальника стражи убили!

— Гробы в город приехали!

— Гробы!

Что есть силы крутанув мулу хвост, так что тот взвыл от боли и громко заревел, — Кяфир каким-то чудом поймал поводья, и, оставив в руках стражника, захлебывающегося кровью, покрывало, погнал мула в темноту города.

Вслед ему неслись крики:

— Гробы!

— Гробы!

— Злодей убил сына Арс Тархана! Голый злодей!..

У страха глаза велики, и уже кто-то крикнул:

— О Ярип — знамение! Голый Дэв привез в город гробы для всех нас!

Арбу с убийцей и гробами обезумевший мул, не разбирая дороги, проламывая дувалы, понес по городу.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

Вениамин – сын десницы

У ремесленника Вениамина за полночь задержались гости.

Длинный и поразительно тощий, с продолговатым лицом и узкой седой бородой, торчавшей одним-единственным клоком, Вениамин не походил на хлебосольного хозяина. Да и какая могла быть этой весной в городе хлеб-соль, когда осенью не спустились по реке лодки с пшеницей из Киева, не пришли русские купцы?! Вениамин с трудом наскреб гостям муки на тоненькие опресноки. Пришлось покупать зерно у иши, каганова управляющего, а тот, благо у него одного осталась мука, драл три шкуры.

И тем не менее на субботнее застолье к Вениамину собрались едва ли не все обитатели его квартала — ремесленники, рыбаки, виноградари, скотоводы. Сами пришли и, зная бедность Вениамина, принесли с собой что могли из съестного.

Теперь сидели — о своем за медком говорили. Все к Вениамину с уважением.

Был Вениамин самым работящим и бескорыстным и, наверное, потому и самым бедным из тех жителей Итиля, что прибились сюда не из Степи и не с речных верховьев, а из-за гор, с другого теплого моря. Однако ради возраста его почтенного и ради справедливости его был он подобно ткачу Анану — основателю караимской ереси в иудаизме — избран от ремесленников в духовную Академию при Белом храме. И часто посылало его общество своим ходатаем к ише-Управителю или богатым купцам.

Много неприятностей эти ходатайства принесли ему. Другой бы о покое задумался. Однако большая семья и бедность не оставляли ему надежд на покой прежде, да и сейчас младшая дочь еще не пристроена. Конечно, сходить бы ему пешком в Вавилонию. За год дошел бы. В Пумбадитской духовной академии самолично бы посмотрел на писания Анана. Из мудрого источника испил...

Но Вениамин продолжал трудиться — варить рыбий клей. А чтобы в грехе не испустить дух, усилил свою набожность. Он не прикасался к курице, а всякую иную птицу ощипывал только с затылка, как велят правила. Уже с пятницы не разрешал готовить в своем доме горячую пищу, а по субботам из дома не выходил.

Конечно, будь он богат, то поселился бы, как его единоверцы Рахданиты, ведущие заморскую торговлю, на острове посреди Реки — рядом с белым дворцом и белой башней. И тогда ходил бы Вениамин даже во временный Белый храм, построенный для того, чтобы достойно беречь до святого времени истечения сроков и возвращения заветные скинию и ковчег. Сколько было ложных слухов, что пропали святыни Второго храма. Но совершил бог чудо. Каган пошел в поход в Дагестан и возвратил для верующих в Неизреченного бога реликвии. Оказалось, восемь веков сохраняли там тайно левиты в горной пещере сокровища храма. А каган разрешил построить для святынь временный храм. Чтобы была своя гордость у иудеев.

Правда, простому смертному все равно святыни не разрешается видеть. Скиния и ковчег хранятся в храме, как положено, за запретной занавесью. Но важно во время молитвы побыть рядом со святынями... Однако это мечты. Вениамин пробовал ходить по субботам на остров. Но, хоть и состоит в духовной Академии Вениамин, богатые Рахданиты сторонились его, как чумазого.

Вот и сидит теперь по субботам Вениамин дома. На левом берегу — с бедняками-кочевниками. Такие же бедные, как и он, соседи будто и не замечают ни веревки, которой он самоуничижительно подпоясывает свой халат, ни его высокой шапки тузурке, похожей на кувшин. Шапку-кувшин он упрямо носит — не снимал никогда с головы (даже и сейчас не снял, во время застолья!).

А если соседи и кликали его иногда «кувшином», то Вениамин понимал, что это они делали вовсе не для того, чтобы обидеть, а просто так для них выходило сподручнее.

Соседи помогли Вениамину и по субботам себя не обидеть.

Ведь это только в глазах священников из Белого храма, которым до бедного Вениамина далеко, сидел он добровольным изгнанником у себя дома.

Нет-нет, он хоть и не ходил в молитвенное заведение, но тоже, как предписывается правилами, по субботам показывал себя: устраивал дома себе маленький праздник. А если при этом, нарушая другое правило, приглашал нечестивых соседей, то, видит бог, кого же ему приглашать?! Что — к нему, бедняку, единоверцы Рахданиты, что ли, пожалуют?!

В ту ночь, когда в воротах был убит стражник и гробы ворвались в город, соседи задержались у Вениамина далеко за полночь.

Темнокожие, раскосые, с распущенными до плеч волосами, с серьгой в одном ухе, сидели у его очага скотоводы, глядели на Огонь, который почитали своим богом, и в который раз слушали рассказ Вениамина про его чудную, «кувшинную веру», в которой бога даже нельзя вслух никому называть по имени, настолько он свиреп и гневен. Рядом со скотоводами за тем же столом сидели виноградари. Очень смуглые, стройные, они перебрались на Реку с Кавказа, и в их движениях и осанке сохранилось что-то мягкое, кошачье от крадущейся походки горцев.

А под старым тополем — гордостью Вениаминова двора: не было ни у кого из соседей такого! — за медком, в обнимку с Вениаминовыми дочерьми сидели рыбаки, его, Вениаминовы, зятья. Они приносили Вениамину рыбьи кости на клей, а унесли... его дочерей.

Рыбаки были крепки в кости и бритоголовы, что очень смешило Вениамина, потому что в его народе не мужчины, а женщины обривали себе голову — когда выходили замуж. Рыбаки — в белых рубахах и холщовых штанах, как море разливанное.

Они были из приплывших в Город-на-Реке через Дон с берегов Десны славян — из сакалабов.

Гости за столом Вениамина уважали его зятьев:

— Хоп Карба! Зиму прожил, Вениамин! Пусть высоким будет для тебя Небо! Вон возьми барашка с вертела да кумыса — отнеси своим зятьям-то!

— А нам, Вениамин, медку с сакалабского стола прихвати! Да возьми нам сюда рыбки красной: что-то уже мясо не идет!

Вениамин улыбнулся, торопливо поднялся от очага, отнес подарки от скотоводов рыбакам, взял от рыбаков для скотоводов подарки.

— Мир дому твоему, Вениамин! — кричат со всех сторон. — Это хорошо, что ты дочерей за работящих парней выдал! Сакалабы — хорошие рыбаки.

Вениамин ежится, поглядывает в темноту за дувал: не услышали бы те соглядатаи, что кормятся в Белом храме доносами на отступления от соблюдения правил.

Вениамин ведь которую дочь за сакалаба пристраивает. А такое священниками не одобряется.

Но где взять Вениамину зятя-единоверца?! Кто захочет с бедняком родниться! Ох, сколько Вениамин из-за бедности своей терпит...

Было такое, что, когда приплыли они с женой Миррой с Кавказа сюда в город и надо было им обустраиваться — купить участок для дома и обзавестись кое-каким для ремесла хозяйством, то не оказалось у них с Миррой никакого другого ходкого на рынке товару, кроме двенадцатилетнего сына. Подумали-порядили, поплакали, но решили они тогда, что народит Вениамину Мирра еще сыновей, и отвели мальчика на Сук Ар Ракик — невольничий рынок. К торговцу Фанхасу, который занимался скупкой детей у родителей. До сих пор ненавидит Вениамин толстого Фанхаса, помнит, как почувствовал тогда мальчик, что сделают с ним недоброе. Мальчик сумел убежать от жестоких врачей Фанхаса. Однако толстый Фанхас потребовал, чтобы Вениамин позвал мальчика, тот остановился, и его схватили... И Вениамин видел, как от страха посерели у малыша густые волосы. С того дня не было для мальчика ничего страшнее, чем его собственное имя, и забыл мальчик свое имя. А Фанхас продал мальчика в Рум, к грекам, в певчие.

Жена Мирра потом еще тринадцать лет рожала Вениамину, но... уже только дочерей. Видно, покарал их бог за продажу мальчика.

Что поделать?! Мирра потом до самой смерти все вспоминала проданного сына-первенца. А Вениамин?! Он старается быть счастливым в дочерях.

И громко крикнул Вениамин:

— Эй, соседи! Эй, гости мои! Эй, зятья-родственники!

Семя мое — дочери мои! Благодарю, что навестили старика в мою праздничную субботу, что вот радуетесь со мной! За честь, мне оказанную, я кланяюсь вам!

И низко поклонился Вениамин своим гостям до земли. А потом гордо и довольно, напоказ встал над всеми — длинный худой старик, тонкий в кости, но крепкий в теле. И пусть не было в лице у него ничего приметного, пусть даже борода была у него всего в один жидкий клок (в то время как в роду каганов клоков бороды носят целых девять!), пусть в толпе не выделился бы он, но сейчас тоже тешил свое самолюбие — смотрел на всех гордо и свысока.

Хлопнула калитка, вошел еще один сосед; увидев, как разгулялся Вениамин, опасливо оглянулся:

— Хор Карба, Вениамин! Ты бы пригасил пламя, а то как бы не занесло к нам ночью сюда на твой высокий огонь какого незваного гостя. Ворота-то городские ведь почти рядом, а стражники вроде уже навеселе...

Но Вениамин решил гулять:

— Гостей прогонять? От меня? Эй, зятья! А ну, катите бочку с березовым соком!.. У меня еще гости из лука не стреляли, на ковре не боролись, одноцветные одежды для жонглирования не надевали. Или забыли, что завтра — Новый год, что с солнцем-рассветом Весна придет?

Ой, не осудим Вениамина за эту гульбу: хоть и велят жрецы тешить в праздники свое самолюбие, но не стал бы ради одного своего самолюбия он выкатывать гостям целую бочку березового сока. У него отцовский глаз наблюдателен. Не с зятьями-славянами он рядом сидел, не с дочерьми шутками баловался — степенные вел разговоры с другими гостями, но глаз-то все на дочерей косил и углядел, что к младшей его дочке Серах верный жених присоседился. Сама его Серах привела. На три дня погостить к старшей дочери ходила. А по дороге, говорит, парень за ней увязался. «Можно в дом, отец, пригласить?» — «Почему же нельзя? Если на глазах у отца, то греха нет...» Вот сидят теперь рядышком.

Хороша у Вениамина младшая Серах — гибка, как серна, юна, а груди у нее уже, как башни, — кто найдет в них оплот?! А кожа у нее, как оливки; волосы, как черный виноград, вьются-змеятся, как лоза. Но и парень возле нее трется не промах. Не из богатых, но шустр, сметлив, в Хунерчинах — коровьих пастухах в чужом роду ходит. Но и Серах — не дочь Рахданита. И видно: очень нравится ему Серах. Вон как пылают его щеки — аж черными буграми проступили. А глаза блестят, как у трубящего свадьбу лося. Вениамин уже и имя парня успел узнать: зовут его Булан-младший, что означает «Лось младший». Поднимай же выше свои ветвистые рога, Лось! Завлекай юную Серах! А старик отец тебе охотно поможет. Старик и простит, коли что было, лишь бы люди не знали и доброй свадьбой все кончилось...

— Эй, Серах, дочка моя, дорогая, ненаглядная, ты бы попоила желанных гостей медом, да и соседа своего, писаного красавца, не забудь! Даром, что молод он, но отец его Булан-старший ходатаем за весь народ на Алтай ушел. Слышал, я слышал про это! Подайте Лосю-младшему кубок большой, пусть как крепкий мужчина его осилит, — ласково советует Вениамин.

Засмеялась Серах — поняла отца. Умница: подавая парню большой кубок с медом, откинула голову назад, вся выгнулась; глядя прямо в глаза, прильнула на крохотный миг к парню всем своим текучим, разгоряченным, будто от черного костра волос на ее голове, телом. И отпрянула, стыдясь:

— Выпей, Лось! Да будешь ты всегда с победой — и на игрищах, и в любовном состязании, — глядит Лосю в глаза дочка.

А старый Вениамин громко шутит:

— Младшая дочь у меня созрела. Кто сорвет цветочек?!

И кричит совсем хмельно Вениамин:

— Гости мои желанные! Не будем мы из лука стрелять. Темно уже. И одноцветных одежд для жонглеров нету у меня. Но я хоть и тузурке, хоть и «кувшинной веры», как вы говорите, но не хочу вас обидеть развлечениями. Веруйте вы в Огонь. Так устроим игрище с Огнем. Эй, соседи, принесите флейты, принесите бубны. Вон рыбий жир в бочке у калитки. Разливайте рыбий жир по плошкам с фитилями, зажигайте в честь Ода — Огня светильники. А посреди двора кладите большой костер. Хочу я знать, кто из вас, гости мои дорогие, Огнем отмечен? Кто на игрищах выше всех через костер прыгнет?

Засуетились гости, мажут жиром поленья, кладут великий костер.

Кричат:

— А какой подарок победителю, Вениамин?

— Будет, будет, гости дорогие, подарок. Какое же игрище без подарка?! — пообещал.

И запнулся на мгновение Вениамин. Но осенило его:

— Знаю, есть подарок. Нет ничего почетнее для хазара-кочевника, чем самому в смелом состязании или в смертном бою добыть-завоевать себе жену! Однако разве не почетны вы все для меня?! Ну а кого я выставляю в такую жену — в Абурин Эме? — И взял Вениамин за плечи, и прижал к себе крепко Серах, и сказал:

— Вот победителю подарок!

Стихли гости.

Побледнела Серах, шепчет:

— Что сделал хмельной мед с тобой, отец? Как же ты меня... Какой ты!.. Сына-первенца на Сук Ар Ракик отвел! Ну, того хоть по крайней нужде. А меня-то теперь из самодурства...

Но закрыл старый Вениамин своей крепкой ладонью губы Серах, и вот уже подносят факел к костру.

— До облака взметнись пламя: чтобы только Батыр мог через тебя перепрыгнуть!

Разгорается костер, набирает силу. Прощаясь, крепко прижал к себе вздрагивающие плечи дочери старый Вениамин. Успокаивает он совесть свою: не денег ведь он пожалел, выставив дочь в подарок, а хитрость свою проявил... Как велит бог!

Прибежали из соседнего двора:

— Эй, вы что? Набатного била не слышите?!

— У городских ворот народ собирается. Про Дэва кричат. Голый Дэв подъехал на арбе к городу. Сам ворота открыл и сына Арс Тархана зарезал.

— Теперь Дэв по городу на диком муле носится — все ломает и рушит, что под арбу попадет...

Но Вениамин оборвал суматошных:

— Чего пугаете?! Сели бы лучше с нами за стол, выпили бы медку. Все-таки праздник — Весна завтра в город придет...

Пьют прибежавшие хмельной мед, забыли про свою весть.

Еще выше разгорается костер.

Дрожат плечи рыдающей Серах.

А Вениамин смотрит на Булана. В ударе сегодня парень. Как ловок, как смел, как везуч! Может, и удастся Вениамину его хитрость! Ну же, не тяни время, Лось, — не боги, так твоя сила тебе поможет. В тысячу раз будет

тебе, мужчина, милее женщина, не купленная, как товар, на рынке, а тобою самим отвоеванная у других в состязании, как в бою! Так борись, Булан! Смелее, выше прыгай, храбрый Лось!

Тревожные голоса от городских ворот уже стали слышны всем. Слышно, как набатно бьет, созывая народ, било у ворот.

Но на дворе Вениамина не до набата — жаждущие живого подарка продолжают один за другим, опаляясь, летать через костер.

И случилось.

Оскаленная морда мула, вся в белой пене. Высокая тощая тень полуголого человека, будто взметнувшаяся над этой мордой. Треск разламываемого колесами дувала. И Таботан — колоды с прахом, сваливающиеся с арбы прямо в пламя костра.

Серах закрыла глаза ладонями: на мгновение ей показалось, что Голый Дэв тоже принял участие в состязании, — прямо на своей страшной повозке; что Голому Дэву тоже захотелось получить в подарок молоденькую Абурин Эме — самим завоеванную жену.

А когда Серах отвела ладони от своих глаз, то она увидела, что Дэв стоит рядом с ее отцом — такой же пепельно серый, тонкий в кости, одного с отцом роста — прямо как отцова тень, и тоже, как отец, вроде бы и без примет вовсе.

— Ты — Дэв?

Отец не спросил, но всем почему-то показалось, что он спросил.

— Да! Я Дэв и навожу на город порчу!..

Дэв, как две капли воды похожий на отца, ничего отцу не ответил. Но все, кто остался жив после той встречи на Вениаминовом дворе, потом клятвенно утверждали, что Дэв ответил отцу именно так.

Отец и Дэв пристально разглядывали друг друга. Серах шагнула к ним: она сама сейчас спросит Дэва об его имени...

Но тут кто-то прыгнул на Дэва с головешкой в руке, а из темноты истошно крикнули:

— Вениамин! Чего же ты стоишь? Он же пришел за твоей дочерью! Прижигай, а то утащит. Спасай дочь! Прижигай огнем Дэва!

Тень, очутившаяся с Вениамином, увидела головешку, услышала крики и качнулась — совсем так же кач-



нулась набок, как только что Серах, и прикрыла глаза пальцами — все в роду Вениамина почему-то при страхе прикрывали глаза не ладонью, а только пальцами, — потом тень еще раз качнулась и, метнувшись внезапно в сторону, растворилась в темноте.

Еще через мгновение в растерянную толпу, прыгая прямо через дувал, с ходу врубились арсии-стражники.

— Где Дэв? Почему не спалили Дэва огнем? У вас же был тут огонь! — заорали стражники.

И, вымещая свою злобу на ни в чем не повинных людях, вместо того, чтобы дальше преследовать Дэва, стражники начали рубить и колоть направо и налево.

Полилась кровь.

Вениамин схватил за руку дочь, упал с нею перед стражниками на колени:

— Помилуйте нас!

Стражники не обратили внимания на старика и девушку и продолжали бить всякого, кто попадал под руку.

И тогда Вениаминовы зятья, схватив что попало —

горящие поленья, ножи, — ответно ударили стражников.

Соседи прибежали с саблями. Они без раздумья присоединились к сакалабам.

А сакалабам жены несли тяжелые мечи.

Стражники, спасаясь от головешек, отступили под тополь, попробовали, загородившись щитами, встать скорпионом.

На них прыгнули сверху.

К стражникам пришла помощь, но во двор к Вениамину понабежало предостаточно соседей. Считай, весь квартал вооружился.

Тринадцать арсиев-стражников, несших ночной дозор, вспоминали про славу своего Дома и сражались хладнокровно. Они умело закрывались щитами, они рубили только наверняка, и они выстояли:

Но тут кто-то крикнул:

— Да прославятся кабары!

— Эй, вспомним про славу бунтарей!

— А чем мы не кабары, чем мы не бунтари?!

До сих пор были избитые и раненые. Теперь началось убийство.

Старик Вениамин поднял дочку с колен, отвел в дом. Снял со стены лук.

— Зачем, отец? Ты же всегда учил меня, что умный должен отходить в сторону от драки, чтобы не попало самому.

— Здесь скоро начнут бить нас с тобой, дочка. Могут убить, если не защищаться. Припри столом дверь, я буду стрелять, если они попробуют ворваться.

Во дворе кричали:

— Ишь, бледнолицые пришельцы, — через собственный костер попрыгать людям не дали!

— Искореним бледнолицых! Это они пришлых арсиев стражниками в город наняли...

— Постоим за родных богов!

— Бей всех, кто не нашей веры! Да прославится Кек Тенгри — Синее Небо! Пылай, огонь мести!

Серах повисла на руке Вениамина.

— Не надо, отец, стрелять. Кому мы здесь сделали худое? Они все наши соседи — гости твои!

Во дворе громко пели:

Крепко коням подвяжем хвосты,
Поднимем черный прах...

Это была боевая песня кабар. Вениамин прикрыл одними пальцами глаза. Прошептал:

— Они убьют нас, дочка...

Серах дрожала, как тополиный лист на ветру.

Не было страшней дней в городе, чем те, когда вспыхивала «Песня черного праха». В такие дни Вениамин обычно прятался с дочками в углу дома и только безнадежно молился. Кабары — не племя, не род. Они рождаются из ничего, как пожар, сам загорающийся на болоте. Опи — это просто те, кто хочет убивать пришельцев. Так считал Вениамин. Хотя нарицательное имя кабарам дала горькая подлинная история.

Рассказывали, что первые кабары восстали очень давно. Еще при Обадии. Был Обадий ишей — Управляющим богатством у кагана, как и его предшественники из оборотистых купцов, Рахданитов, а веры не местной — в Синее Небо, но веры тех мест на теплом море, откуда их предки были родом, — в Неизреченного бога. Однако до Обадия не выставлялись иши со своими богами. Обадий же призвал с теплого моря левитов-священников, начал строить Белый храм для них — на лучшем месте в городе, посреди острова. Тогда и восстали кабары — хотели четвертовать Обадия, искоренить его род, а заодно всех, кто поклонялся не местным богам. Обадий от кабар (бунтарей) отбился, и бунтари бежали к кочевавшим рядом венграм-мадьярам. А когда мадьяры поднялись и пошли далеко на Дунай, в Паннонию — строить там свое государство, — то с ними откочевали и кабары-погромщики. Те первые кабары давно ушли прочь.

Однако до сих пор тлеет дух кабар. Годами их не слышно. Но вот недород, падеж скота, какие дурные знамения, и совершенно из ничего у добрых соседей, вдруг отравляемых ненавистью к ближнему, рождается «Песня черного праха».

И тогда начинаются погромы — ворвутся к какому купцу-рахданиту и вырежут семью с корнем. Насилуют у пришлых людей дочерей и жен, поджигают их дома.

Вениамин открыл войлок. Осторожно глянул в оконце.

И вовремя. Кабары уже добили арсиев и теперь бросились на зятьев Вениамина. Те, прикрывая своих жен и детей, отступали к дому.

Огонь костра почти погас. Луна зашла за облака. Мечи

и сабли звенели в темноте. Зятья были крепки, и пыл кабар скоро поутих.

Оставив нападение, те пошли раздевать убитых арсиев — делить добычу.

А зятья вошли в дом и пили березовый сок, обтирались полотенцами.

— Делите все добро, что в этом доме, — сказал Вениамин, — теперь все равно не жить здесь.

Дочери заплакали.

Утешая дочерей, Вениамин увидел, что нет Серах. Взял нож у старшего зятя, пошел ее искать во двор.

Луна снова выглянула, а костер немного разгорелся, и никого во дворе Вениамина уже не было. Кабары исчезли в ничто, как из ничего возникли.

Зятья вслед за Вениамином тоже вышли во двор, деловито сложили на костер полураздетые трупы стражников и трупы убитых кабар.

Прибавили огня.

Дочери Вениамина делили наследство. Собирали все, что можно было унести, даже то, что, будь это в их собственном доме, посчитали бы мусором. Не из жадности. Хотели забрать с собой память о доме.

Старший зять пихнул ногой закоптившиеся от дыма сосуды — те самые, что свалились с арбы злого Дэва:

— Ну-ка, глянем на добычу. Выходит, вот и у Дэва чего-то отняли. Смотрите, какие-то изваяния на каменных ящиках.

— Это гробы, — грустно сказал Вениамин. — Я видел много таких в Хорезме. А у нас, кажется, теперь только род каганов так хранит прах своих древних предков.

— Мы, отец, не настолько знатны, чтобы нас хоронить в разукрашенных гробах. Это не для нас — передавать прах по наследству, — сказали дочери Вениамина.

Все же зятья подняли и сложили Таботаи на арбу.

Вениамин одобрил:

— Может, за гробами кто вернется? Слышал я, что у арабов халиф, когда въезжает в город государствовать, то везет впереди себя гробы с прахом своих предков. Может, Голый Дэв, подобно халифу, тоже хотел государствовать над нами?

Дочери целовали отца в лоб:

— Ты, отец, пока спрячься где-нибудь. Иначе завтра, как начнут чинить расправу, тебя первым на дыбу. Твой

двор-то! Ты хорошенько спрячься, а то захотят твой род искоренить, и ты на дыбе нас всех выдашь...

Ушли.

Вениамин не находил себе места. Зачем-то запалил все плошки с жиром. Всматривался в убитых — скрывая от себя, искал: вдруг Серах?..

Поправил костер. Громко, как будто его оправдания мог кто слышать, пожаловался:

— Эх, перестарались мои зятья! Не надо было трупы арсиев на костер... Напрасная обида роду арсиев. От души поступили: думали, что на погребальный костер возлагают, чтобы с честью проводить на небо. Но ведь то их, сакалабский обычай, а арсии — мусульмане. Для мусульманина сожжение тела означает сожжение души. Получилось жестоко. Вот круговерть какая! Как же не вспомнили мои зятья закона нашего городского, что за убитого мусульманина вносится вира, а за сожженного деньгами не берут — только кровь смывает обиду... Да и я-то: как же зятьям не подсказал!..

Пришла пора и Вениамину помолиться в последний раз у родного очага, потому что уже чуть развиднелось.

Вениамин собрал в тряпочку горсть земли со двора, сунул за пояс — чего еще с собой взять? Вот сказал когда-то давно об имени Вениаминовом толковый пастырь: «Вениамин живет Возлюбленным Господом. Сын десницы, будешь ты обитать безопасно, ибо бог покровительствует Вениамину каждый день, и тот покоится между раменами его». Однако как ни толков был пастырь, а не сбылось. Видно, не оправдал Вениамин благоволение божие.

Сзади кто-то прижался к Вениамину, обнял за шею. Вениамин узнал ласковые, теплые ладони.

— Серах? Ты, баловница?!

— Я, отец...

— А я-то уж грешен — думал, не убили ли тебя? На костре вон тебя искал... Уходим, Серах. Надо нам идти. А куда, не знаю, пойдем...

Серах прижалась к отцу:

— Отец, я тут убегала... С Буланом, с Лосем этим... Мы отвезли к нему мое приданое. Серебро, что было на выкуп за меня, я тоже взяла... Оно все равно мое.

По щекам Вениамина потекли слезы:

— Вы будете с Буланом хорошими хозяевами... Только как же с отцовским благословением?

Серах потупилась:

— Я Булану сказала, что он — мой спаситель, что я для него теперь буду Абурип Эмс. Он меня в бою спас. Я у Булана буду жить. А ты куда, отец? Тебе бы лучше совсем из города...

Вениамин смотрел на дочь:

— Я стар уже, чтобы становиться перекати-поле. Здесь теперь моя земля, и другой у меня не будет. Я хочу приходить и смотреть на свой дом и на тополь. Я этот тополь посадил, когда пришел в город. Видишь, каким толстым и крепким стал мой тополь...

— Отец, мы уже подумали с Буланом... Тебе надо разбить дом и поджечь тополь. Булан обещал мне: он приведет утром сюда стражников, и если здесь будет только пепелище, то он громко скажет: «Не будем искать того, чей был тут дом; сами боги, лишив дома, несчастного уже наказали за его преступление!»

Вениамин покачал головой.

— Вы умные с Буланом и хитрые. Однако каким же я буду человеком, если сам разобью и подожгу свой дом?!

Серах следила, как отец раздувал пламя, которое должно было пожрать его труды. Его дом!

Потом сказала:

— Теперь благослови меня, отец, а то нехорошо мне оставлять мужа в первую же ночь...

Она приняла благословение и пошла прочь, пятясь, как велят правила при последнем прощании с родителем.

Вдруг упала. Поднялась, в сердцах ударила ногой тело, о которое споткнулась:

— Поганое! Ой, отец, не будет мне теперь счастья в браке из-за того, что я, отходя после благословения, споткнулась.

Вениамин увидел, что дочь пихает носком своего чувяка тело мусульманского монаха, на нем — синяя власяница, синяя шапочка и синяя повязка поверх шапочки: мусульманские цвета вечной печали по аллаху.

— Не надо бить мертвых, дочка, — тихо сказал Вениамин. — Это нехорошо, да и не помню, я, чтобы какой монах участвовал в драке, что здесь была. Странно. Откуда это тело тут появилось?

— А я помню! — повысила голос разошедшаяся Се-

рак. — Это тело с арбы Дэва вместе с гробами вывалилось.
И снова ткнула тело ногой.
А в ответ вдруг услышала вскрик. И стон. Отекшие губы попросили:
— Пить...
Серах отскочила в сторону.
Вениамин взял головешку, нагнулся над ожившим.
Ран на теле не было. Только темные пятна на шее, похоже даже, что со следами пальцев. Выходило: монаха этого кто-то душил, но тот удержал душу в своем теле. На щеке у монаха блистала в темноте, отливая бриллиантами, диковинная алмазная цепь.
Серах побежала в дом, принесла воды. Вместе с чашкой подала нож. Сказала:
— На! Дай ему попить... И... вот еще тебе это — ты меня, отец, понимаешь... Смотри, какая дорогая вещь у него на шее.
Вениамин ответил:
— У меня есть уже нож. Но что нам сделал этот монах? Я не могу из-за вещи отнять у человека жизнь. Я не разбойник...
Серах зло отрезала:
— А у тебя память плохая, отец? Ты что, не помнишь, как точно такой же — весь в синем — ходил на днях по городу и громко требовал, чтобы всем людям нашего с тобой племени нашили на халаты заплаты цвета меда, а на ворота прибили деревянный знак дьявола?..
Монах открыл глаза. Вениамин присел к монаху, поднес чашку с водой к его губам.
— Отец, не медли!
— Уходи, дочка. Зачем тебе такое видеть?!
Серах исчезла.
Вениамин вытер нож о полу своего халата, смочил в воде край власяницы монаха и вытер мокрым мусульманину лицо.
Он тянул время.
— Я бы дал тебе помолиться, монах, выпросить у твоего аллаха прощение за грехи, чтобы не представать тебе перед ним не прощенным. Но уже развидневается...
Вениамин снова протер лезвие ножа полой халата. Опять склонился над мусульманином.
Никак он не мог распалить себя для злого удара; он не был по натуре жестоким, и ему трудно было решиться на убийство.
— Ну, агарянин, молчишь? Или ты в душе молишься — себе самому отходную читаешь?!
Вениамин вдруг отбросил нож:
— Ай, не буду я тебя лишать жизни. Ну и что, если кто-то, кто похож на тебя (пусть даже это был ты!), требовал унизить всех, кто похож на меня?! Я тебя все равно прощаю. Может быть, и ты когда-нибудь простишь таких же, как я или как моя дочь...
Он поднялся, было пошел прочь... Вернулся:
— Давай, я помогу тебе... Тебе тоже надо отсюда уходить. Если утром здесь тебя обнаружат стражники, расспрашивать начнут. А расспрашивают-то у нас в городе на дыбе...
Вениамин приподнял агарянина, поставил на ноги.
Монах благодарно оперся на руку Вениамина. Двинулись наконец оба со двора. Но возле арбы с Таботаями монах замешкался:
— Мне бы надо их с собой...
— Таботаи? — удивился Вениамин. — Гробы?
Монах кивнул.
Теперь брови Вениамина поднялись так высоко, что его и без того вытянутое лицо стало похожим на голову кобры.
— Так это твои Таботаи, монах? А кто же голый человек, что управлял арбой? Кто — Голый Дэв? Разве это не Дэва гробы?
Монах очень хотел отблагодарить Вениамина, хотя бы нужным ответом на вопрос. Но лишь виновато улыбнулся:
— Я не видел никакого Дэва. Я гробы эти привез с собой на сафине, потом перегрузил на арбу. Может быть, тот голый человек, про которого ты говоришь, — это мой спутник? Он был одним из гребцов. Мы долго плыли морем. Было жарко. Гребцы разделись догола. А потом, в суматохе, когда я выгружался, этот спутник как был гол, так и пробрался ко мне на арбу. Да вот нехорошим оказался человеком: задушить меня хотел. Чувствую, что ломает он мне хрящ, ну сам себе старым воинским приемом и остановил дыхание, притворился, что я уже мертв. Вот как бывает. Я еще этого человека там, на корабле, выкинуть в море не дал: когда обнаружилось, что он христианин, мусульмане хотели его к чудовищу Тин-

нип выкинуть. А я догадался, что он — из наших мест. Решил земляку помочь. Помог! А он потом меня... — Монах потянулся рукой к черным пятнам на своей шее. — Про себя он мне доказывал, что еретик — инакомыслящий. Но не верю в инакомыслие перебегающих под крыло врагов своей веры. Императору Византии продался этот человек... Да вот еще мне про отца он говорил, что отец его здесь. Своего-то имени мой душитель даже и не помнит, а отца его Вениамином, говорил, величали. Сказать бы этому Вениамину, какой сын его неблагодарный... Много злого про себя наговорил мне. Он задумал затем меня убить и наслаждался безнаказанной исповедью во зле...

Монах вдруг споткнулся в речи, остановился и стал всматриваться в Вениамина, будто что-то припоминая, с кем-то Вениамина сравнивая.

Вениамин тоже весь насторожился, внимательно рассматривал монаха. Невыразительно, как-то неловко протянул:

— А меня, монах, тоже Вениамином зовут, как отца того, ну, который тебя хотел на небо. Только я, видишь, не из христиан, — и Вениамин дотронулся рукой до своей высокой шапки.

На востоке уже окрасило слабой желтизной край синего неба. А они все еще стояли посреди разгромленного двора. Рядом с ними, распространяя все усиливающийся сладкий запах, пылал погребальный костер.

— Черны пути судьбы, — вздохнул Вениамин, — кто человек человеку: волк или пес? Враг или друг? Часто помогаешь, а он тебе потом в спину нож. Вот и ты... Я тебя не убил, а ты потом... Ты ведь, как я уже догадываюсь, приплыл к нам тайком из Баб-Ал-Абваба — от стены, что отделяет халифат от земель кочевников. Так я был в этом садке зла, когда бежал с теплого моря от погромов. Этот пограничный город кишит газиями, муттавиями, курраями, гурабами — всеми вашими этими мусульманскими «борцами за веру», «добровольцами», «чтецами Корана», «пришлыми». Видел я: со всего халифата собираются туда ушлые люди в надежде на поход против «неверных». На устах крик — «Принимай ислам или смерть», а за пазухой одно желание — пограбить.

Монах нахмурился, вспыхнул:

— Не сравнивай меня с газиями, — он выхватил из костра пылавшее полено, осветил себе лицо: — Вглядись в меня! Видишь: я — умершая совесть, которой голос Ашины — Волчицы приказал вернуться. Ашина сказала богу: «Ты — бог Черного Пути! То, что у этого тощего коня сломано, соедини. То, что у него разорвано, свяжи». Я пришел связывать, соединять!

Монах разгорячился, в неистовстве водил пылающим поленом перед своим лицом, освещая свое лицо то справа, то слева и едва не подпалив свои клоки бороды. И Вениамин сосчитал их.

А когда сосчитал, то не поверил себе и стал еще и еще всматриваться в лицо монаха. И вдруг громко рассмеялся.

Странен был смех этого только что потерявшего все человека, которому бы надо оплакивать свою судьбу. А он смеялся все громче.

— Дак это ты, беспутный Волчонок Тонг Тегин! О, я наконец узнал тебя! Как же я не опознал тебя сразу? Хотя как узнать? Ведь ты в таком чужом обличье. Ударился в монахи! Ах, это ты — жалкий беглец, смущавший город вольными речами, а потом потихоньку выкопавший гробы своих предков и бежавший из города? Какой же я невезучий! Почему не зарезал тебя, пока не знал, кто ты? Почему помиловал? О, жалкий Тонг! В городе говорят, что все беды из-за тебя — и падежи скота, и неурожаи. Что твой отец, наш великий правящий каган, потерял свою божественную способность вызывать дождь по твоей вине — потому что ты украл священные сосуды с прахом предков.

Монах выронил полено, которым освещал себе лицо, в растерянности пытаясь оправдаться, проговорил:

— Я привез назад священные Таботаи. Вот они!

Но Вениамина было не остановить. Он продолжал обличать, он даже бил себя в грудь, как будто был перед людьми в кинасе:

— Тонг Тегин! Великий Принц! Волчонок! Как я тебя сразу не узнал! Что же ты будешь делать? Опять сеять в городе смуту?!

Вдруг Вениамин осекся. Стал снова вглядываться в лицо монаха:

— Нет, ты не Волчонок. Зачем Великому Принцу было красться тайком в свой город? Кто посмел бы пролить священную кровь сына кагана? Тем более что ты вернулся со священными родовыми Таботаями... Но ты крался в город тайком. Ты обманываешь. Выходит, ты — гнус-

ный Дэв, принявший обличье беспутного Великого Принца! Дэв способен принимать любое обличье. Чтобы сделать мне больно, ты предстал сыном. Теперь — принцем-Тонгом. Но ты ведь Дэв? Ну конечно, ты — Дэв...

А если ты впрямь Волчонок, не сей больше смуты! Дай людям пожить в мире... Без смуты! Народу от лишних властителей только плохо. Вот смотри: ты сегодня в город въехал, а уже со знамениями. Уже и про Дэва голого закричали, и в городских воротах убийство сотворилось. А у меня во дворе кабары народились. Вон твои плоды, — Вениамин показал на костер, — углится плоть, а души невинные загублены — на небо отлетают.

Вениамин помолчал; потом с каким-то вздохом, вроде как жалея, понимая, что это неизбежно, посоветовал:

— Если ты не злокозненный Дэв, а в самом деле непутевый Тонг, то иди лучше сам сдайся. Ради всех. Да на меня не смотри. Я за тебя вознаграждение получать не пойду. Ты уж сам.

Монах не ответил, подошел к арбе с Таботаями, впрягся вместо мула, попытался стронуть арбу. Вениамин подошел, подтолкнул. Потом вернулся во двор, снял с убитого синий халат, догнав, укрыл повозку. Впрягся вместе с монахом.

Некоторое время они шагали молча среди безлюдья. дальше и дальше отходя от места побоища.

Было тихо. Уже возле самого наплавного моста на них внезапно наехал разъезд керхан — свободных воинов.

Воинов было пятеро. И сразу двое из них наперебой закричали:

— Эй, вы! Тут Голого Дэва часом не встречали? Нас по тревоге подняли. Прочесываем город.

— Нам сказали: Голый Дэв в городе.

— Нам сказали: весь ночной дозор стражников арсиев погиб — этот самый Дэв всех убил, а самого сына Арс Тархана прямо в городских воротах зарезал!

Низкорослые тяжелые лошади приседали под тучными, грузными керханами. У каждого из всадников были щит, плеть, аркан и копье. В левом ухе — бронзовое кольцо. У левого бедра — кривой нож.

Один из керхан наехал на Вениамина.

Свистнула плеть, и кровавая полоса рассекла лицо Вениамина.

— Ну, от тебя долго ждать слова, старик? Говори!..

Другой всадник теснил агарянина. Ткнул плеткой в чалму...

— Эй, а я дай-ка мусульманина ошпарю! — но, разглядев, что перед ним монах, воин опустил плеть. Повернул коня тоже на Вениамина, стал стегать плетью.

— Говори!

Не дождавшись ответа, ускакали керхане.

Вениамин и монах вышли на наплавной мост.

А на мосту переговаривались несшие дозор арсии.

Один рассказывал:

— Арс Тархан узнал, что его сына Дэв зарезал, и к себе в юрту никого не пускает. Кричит: «Убью!» Одиноко в юрте сидит, пеплом кидается. Дурное случилось с командиром.

Другой арсий сочувственно кивал:

— Горе тяжкое у нашего Тархана. Раз сына убил Дэв, то тело сына теперь нечистое. Труп его в воротах будет лежать. Убирать три дня нельзя, раз Дэв к нему прикоснулся. А через три дня телу ноги придется отрубить, чтобы убитый за живыми не вернулся, других за собой не потащил. И только тогда можно будет Арс Тархану похоронить сына.

Мусульмане арсии подняли было оружие, услышав шум арбы, но, разглядев монаха, впрягшегося вместо мула в арбу, пропустили через мост монаха и сопровождавшего его Кувшина без всяких вопросов. Арсии даже поклонились монаху. То ли поклоном «божьему человеку» хотели в опасный час умаслить лишний раз аллаха, то ли решили, что раз с впрягшегося в арбу монаха уж явно нечего взять, так хоть благословение.

Наплавной мост был длинным. Вениамин и Тонг миновали его молча.

Расставались Вениамин и Тонг уже на острове. У самого края моста, как раз напротив юрты Арс Тархана.

Вениамин сказал, щупая ладонью рассеченное плетью лицо:

— Вот ведь как бывает: в другое время ни за что бы никого ночью на наплавной мост арсии не впустили, а раз Дэв в городе разгулялся, то вроде уже и не надо порядка.

Тонг вперился в Таботаи, словно прощался с прахом отцов.

Вениамин топтался на месте.

— Ты, Тонг, выпрягся из своей арбы у юрты Арс Тархана... Зачем? — Вениамину не хотелось верить, что Тонг вправду направился сдаваться.

— Ну, я пошел на плаху, Кувшин, — усмехнулся и свысока глянул Великий Принц на Вениамина. Взгляд этот был, однако, чист и светел, без высокомерия. Волчонок скорее уже с высоты своей жертвы жалел Вениамина. Бабочка влетает в огонь и через гибель свою сама становится огнем. Волчонок увидел себя в бабочке.

— Так это ж в самом деле юрта самого Арс Тархана, — пугал Вениамин. — Он тебя замучает. Напрасно ты решил сдаться начальнику стражи!.. Это же я тебе зря сказал... Хотел проверить, не Дэв ли ты? Кто же сам сдается?!

Тонг не ответил. Молча снял с шеи алмазную цепь. Протянул:

— Продай камни!.. Обзаведешься новым хозяйством!

Старик еще потоптался на месте — думал; потом вздохнул:

— Пусть твой бог будет с тобой, когда тебя станут мучить!.. А цепь оставь себе. Отдашь палачу, чтобы убил скорее... Чтобы меньше мучил...

Вениамин побрел дальше.

Он думал о терпении. Ведь разве не терпение спасало столько раз таких, как пришедшие из-за Реки?!

Он думал, вдруг это ради просветления души случилось сегодня с ним то, что случилось?! Ведь учит же книга «Йоцира» (Творение), что задача души единственно состоит в том, чтобы она во время земной жизни подверглась испытанию?!

Но вот почему боги так рьяно подвергают испытанию именно его душу, а не душу разжиревшего, похожего на сплошной кусок сала толстяка Фанхаса, того самого, который до сих пор торгует детьми и когда-то нажился на продаже Вениаминова мальчика? Почему не трогают скупившего полгорода Управителя кагановым хозяйством ишу Иосифа, который давно уже настолько обнаглел, что при живом кагане нередко именует себя царем и требует для себя таких же, как каган, почестей?

Или, может быть, его, Вениамина, неизреченный, невидимый и неназываемый бог столь придирчив к бедным и столь снисходителен к богатым, потому что священники недобросовестно докладывают богу? Получая от богатых подарки, они за эти подарки только о богатых и молятся?

Уже полнеба было залито желтизной.

Вениамин прибавил шагу. Он не шел, он теперь почти бежал — мимо деревянных Истуканов, известковых Балбалов, мимо саманных коробок кинас, деревянных шлемов церквей и каменных башенок мечетей. Мимо множества святилищ, при которых, как мух при жертвенниках, удобно расплодилось превеликое множество толстых и тонких, но в душе, — как казалось Вениамину, — одинаково засалившихся священнослужителей.

— Чревоугодники! — стал ругать про себя Вениамин всех священников.

На какой-то миг он даже шагнул в своих гневливых мыслях еще дальше. Ему открылось, что священники вовсе не нужны — потому что они служат пустоте, потому что, может быть, нет вовсе бога. Никакого бога! Ни у кого! Но тут же он остановился, оказавшись перед пропастью. А как же тогда быть? На что рассчитывать перед начинавшим вдруг слишком жарко палить солнцем или бурей? На кого надеяться, если давно не идут дожди?

Как жить, чувствуя себя ничтожеством? Жить в опустошающем волю бессилии? Ведь не случайно, если боги не помогают, то входит в людей ересь. А еретики только и обвиняют друг друга в отрицании богов: они травят, жгут, распинают своих противников и себя самих. Они кричат, что человек, сегодня дерзнувший поправить бога, завтра способен отринуть его вовсе.

И все же почему-то именно в постоянной ереси — спасение от застоя и полного крушения веры?! Ересь — соль мысли. Так рассуждал сам с собой Вениамин.

Нетрудно догадаться, что в глазах священников из Белого храма — того, что построен на острове, — Вениамин уже сам давно слыл еретиком-караимом, хоть числился у них при Белом храме в духовной Академии (от клееваров, как Анан был от ткачей).

Нет, Вениамин еще никогда не выступал на собрании общины в кинасе с утверждением, подобно Анану, что нет никакого избранного народа, а все народы равны. Вениамин помнил, что у него много дочерей, и боялся расправы. Но Вениамин был старейшим в клане ремесленников, и ему не раз выпадало идти в челобитчиках к

властям по случаю притеснения со стороны купцов Рахданитов. А раз он был в челобитных, то — вот и проклятый караим, вот и злокозненный еретик... Да ведь это и неспроста, что именно его, угрожая чуть не бунтом, ремесленники «впихнули» в Академию.

Но ведь кому-то надо быть челобитчиком за бедных людей?! Кто-то их должен защищать, если к ним нет внимания от священников, и они оказываются без бога?! — думал теперь Вениамин. Ведь для этого же меня и в Академию от народа вводили, чтобы я там интересы ремесленников в обиду не давал.

И не провидение ли в сложившемся сегодня? Не освобождение ли его духу? Ну почему ему, Вениамину, теперь не принять на свое чело этот терновый венец проповедника за бедных?! Он же теперь свободен совсем от имущества?! И он свято и мудро верит в учение Анана! Он стоек и вынесет за справедливость даже дыбу. Он уже стар, а старику — что ему дыба?! Нет, он сегодня не пойдет, как пес без хозяина, вон из города. Он пойдет по дворам. Он будет проповедовать. Он зайдет во все дворы и каждому расскажет в городе про великое учение Анана о равенстве богов. И тогда не будет больше кабар. Они растают совсем, как истаивают холодные льдины под теплыми лучами солнца. Это они, кабары, разрушили сегодня очаг Вениамина. Больше они не разрушат ни один очаг!

Рассвело. С минарета громко закричал мулла. На острове на плоской крыше иудейского Белого храма, утыканной золочеными гвоздями (чтобы на нее не могла присесть и осквернить храм птица), показались в желтых одеждах жрецы, они тянули руки к уходившей луне. Как жрецы сами умудрялись, не поранившись, ступать меж гвоздей? Или в этом и есть главная мудрость обслуживания богов? С левого берега звенели колокола — это приглашала прихожан к заутрене христианская церковь. А снизу с реки, от ветвистого дуба, громко прокричали серебряные трубы — звали к идолам.

Вениамин резко повернулся и пошел назад к наплавному мосту. Напротив юрты Арс Тархана одиноко стояла прикрытая синим покрывалом повозка с Таботаями. Она торчала, как синий знак печали, резко выделяясь на желтом прибрежном песке. Полог в юрту Арс Тархана был слегка откинут. Видимо, Великий Принц наконец

вошел на плаху. Ну что ж, пухом будет ему земля. Вот он тоже ищет духовного подвига.

Вениамин миновал мост. Теперь он шел, смешавшись с толпой — среди людей, спешивших кто в поле, кто на виноградник, а кто на молитву.

На левом берегу возле христианской деревянной церкви Вениамин увидел толпу оборванных ярбигал — «шейных колодок». Так звали в городе рабов, которым полагалось ходить с деревянной колодкой на шее. Ярбигалы потолклись возле двери и не очень решительно стали заходить внутрь христианского храма. Вениамин подумал, что вот так же где-то на чужбине, проданный им самим в рабство, неловко просился к чужому богу его собственный сын. А что если он вернулся? И на мгновение он как будто даже увидел сына среди рабов — в совершенно голом, пепельно-сером человеке, который втерся в очередную группу ярбигал, входивших в храм. Голый, пепельно-серый человек был длинен и тощ, с вытянутым лицом, как у самого Вениамина, и чем-то смахивал на Дэва.

Голый Дэв... его сын... серый человек у христианского храма... Мысли путались у Вениамина в голове, один облик находил на другой... Но почему они были все так похожи на него самого, Вениамина, когда он был помоложе? Неужели это побеги его собственного облика?!

ДЕНЬ ДЕВЯТЫЙ

Балбал Арс Тархан

Быстро темнело. Свет от вышедшей луны расчертил землю длинными тенями, а на крыше белой башни на острове появилась острая фигурка иши, тянущего руки к лунному свету. Пора было разводить стражу. Но начальник городской стражи Арс Тархан в эту ночь не вышел на службу.

Сейчас он сидел в своей юрте на корточках, хватал обожженными ладонями золу из неостывшего очага и кидал ее пригоршнями во входной полог.

К нему в этот день никто не смел войти, но он был начеку, чтобы сразу кинуть пригоршню золы в откинутый полог. Он думал, что он так защитится от Дэва.

Когда ему сообщили, что в полночь голый человек, везший гробы, зарезал его сына, то он сразу понял, что это Голый Дэв и что Дэв пришел за ним.

Пришел, как положено Дэву, с гробами и все прочее тоже, как положено, совершает: сначала сломал его, Арс Тарханову, ветвь, а затем вырвет и корень.

Узнав, как Дэв расправился с сыном, Арс Тархан не заплакал, но быстро прогнал из своей юрты жену с дочерьми и прислугу (может, хоть кто из них ненароком спасется?!) и разгреб очаг, чтобы было побольше золы.

Окружать себя воинами тоже не стал, а, напротив, прогнал их: против Дэва воины бессильны — зачем губить еще и воинов?

Дэва, сиречь возмездия, на свою голову ждал Арс Тархан давно. Но после того, как по приказу пши Иосифа он расправился с русскими купцами, везшими в город хлеб, и тем вызвал на свой город голод, ему стало ясно, что если есть в мире хоть какая-то совесть, то она должна его наказать.

Арс Тархан и прежде не питал особых надежд относительно добропорядочности своей службы. Еще когда только нанимались они всем племенем в Итиль-город служить стражниками, предчувствовал Арс Тархан, что прокормиться-то они, конечно, на службе у пши Иосифа прокормятся и погулять, может быть, даже с саблями в руках погуляют, но раз служба бессовестная, то и расплаты за нее все равно не миновать.

Надеялся он, однако, что из-за смены веры боги его предков потеряют из виду. И что хоть перед памятью предков не будет ему стыдно.

Но слишком уж много натекло с его рук крови в землю: просочилась!.. Вот и добрался до него дурной Дэв.

Арс Тархан взял еще одну пригоршню золы, наугад бросил ее в полог.

В городе Арс Тархан держался надменно; мало с кем говорил; ходил всегда в доспехах, так что его даже прозвали Балбалом — глыбой камня, немного обтесанного — до намека на фигуру. Подобные глыбы в Великой Степи ставят на дорогах, отмечая места, где убили врагов.

Но сам-то он про себя знал, что вовсе не каменный он, а просто — Тархан несчастного племени, потерявшего в песчаную бурю свои стада и теперь вынужденного во главе со своим вождем служить на чужбине в наемниках.

Сейчас он жег золой себе руки, леча болью рук слабость своей печени.

Вытирал локтем сухие глаза, не плакавшие о сыне, и сам понимал, что не плачет только от крайнего отчаяния. Куда ему теперь без сына? Он и навстречу-то дурному Дэву подняться, как воин, не сможет. Как на гибель ему гордо идти, когда он побега после себя не оставляет?! В душе он чуть-чуть надеялся, что Дэв про него забудет и не придет. Но, видно, напрасно. Дэв все-таки пришел.

Арс Тархан почувствовал по дунувшему ветру, что открылся полог, и снова кинулся золой.

Но услышал невозмутимый ответ:

— Хон Карба! Зиму прожил! Приветствую тебя, доблестный Арс Тархан, потомок известного Небу многими воинскими подвигами рода Хотир! Если это ты и я не ошибся юртой, то прошу, не бросай в меня золой. Раз ты в городе служишь начальником над стражею, ты все равно что полководец. А разве не писано предками в наставлениях полководцу: «Не спеши, если даже какой-нибудь человек придет посмеяться над тобой. Не бросай в него горячей золой, а смотри на него благожелательно, со смеющимися устами!» Только простой человек может в горе кидаться в других золой — полководцу не позволено. Полководец должен думать о других и уметь смирять свое личное горе.

Арс Тархан не видел, кто так повелительно заговорил с ним. Он слышал только ГОЛОС — немного ему знакомый, будто когда-то слышанный. Впрочем, известно, Дэвы могут говорить любыми голосами.

А ГОЛОС уже жестче повторил:

— Ну что ты, Арс Тархан, опять кидаешь золой?! Ты обожжешь мне глаза, а я пришел к тебе сдаться. Бабочка летит в огонь и через гибель свою сама становится огнем.

Арс Тархан встал, хотел шагнуть навстречу пришедшему, но ноги не слушались его, язык тоже.

Он выдавил:

— Знаю твое «сдаться»! На, вот моя грудь, убивай меня, Дэв! Не тяни!

Арс Тархан выдавил из себя этот вызов и почувствовал, что уже не дрожит так, как прежде. Догадайся он заранее положить рядом с собой саблю, он бы сейчас, может быть, даже попробовал бы броситься на Дэва, попытался

нанести ему хоть какую рану, мстя за убитого сына, прежде чем сам погибнет.

Но Дэв не ударил кинжалом Арс Тархана, а предложил:

— Ну, зажги светильник. Мне надо с тобой поговорить.

Арс Тархан съежился. Он знал, что предстоит обычный разговор палача с жертвой, и не хотел никакого общения с Дэвом:

— Не надо, Дэв, со мной говорить. Ты меня не проведешь. Я тебе не назову никого из своих сородичей, как бы ты меня ни мучил. Я виноват один. Сородичей моих не за что искоренять!

Арс Тархан ответил, как положено воину. И после этого плюнул на ГОЛОС. Он пришел в себя: не для жизни — для смерти, но пришел в себя, как положено.

На своей службе начальника наемной стражи он всегда больше всего нажимал на то, чтобы делать все, как положено. Это ему было нужно для того, чтобы выглядело все так, будто не он, Арс Тархан, и его стражники, а вроде бы сам Тере, то есть обычай-закон действует его руками.

«Теперь это «положено» снова пришло ему на помощь.

Он старательно плюнул еще и еще — как защищающийся от слона верблюд, который знает, что уж если слон рассвирепел, то все равно его раздавит, но плюется до конца, раз так природой ему положено.

Арс Тархан плевался и чувствовал, как ему становится легче: было тяжкое горе, был ужас, а теперь пришла к нему, в самое его нутро, как бы лишь та же служба, какую он исправно нес изо дня в день. Как положено! Теперь он просто, как положено, служил своему горю по сыну и своему страху перед неминуемой смертью.

— Доблестный Арс Тархан, кончай плеваться и скажи мне, как положено: «Во имя аллаха, прошу тебя войти в мою юрту».

Услышанное от знакомо-незнакомого ГОЛОСА «Как положено», будто прокололо Арс Тархану печень, и он перестал противиться. Поникши, сказал:

— О, тот, кто пришел за мной! Подожди меня снаружи юрты. Я сейчас к тебе выйду...

И вышел навстречу Дэву Арс Тархан. И увидел, что луна зашла за тучи и вокруг юрты сплошная темень. Но не в темени ли приходит судьба?! И — как уверяла потом хазарская хроника — получился у Арс Тархана с самой судьбою своею разговор. Роковой разговор, для нас, сегодняшних, выглядящий нарочито туманным, запутанным и длинным, потому что надо было говорить Арс Тархану со своей судьбой на тогдашнем языке Востока — непременно с иносказаниями и словесными украшениями, дабы запутать подслушивавшего демона и проявить свою начитанность и почтение к гостю.

Но не поверил Арс Тархан. Он испугался, что в облике Принца Тонга Тегина — Волчонка пришел к нему и искушает злой Дэв.

Арс Тархан задернул полог в свою юрту и оставил Дэва с его гробами на улице. И Дэв, проклятый вместе с ними, куда-нибудь сгинет... Ну а если это был не Дэв, если к нему в самом деле приползла Змея с золотой головой?.. Если Волчонок, поверив в полководческую звезду Арс Тархана, готов доверить ему священные Таботаи и Медное Знамя — символы власти в каганате? Если, чтобы спасти Эль — хазарский Народ-Государство, Волчонок вправду готов пожертвовать собой и сгореть, как бабочка: лишь бы пришел сильный полководец Арс Тархан и снова высоко разжег священный огонь Эля?..

Сомнения все-таки сжали гордую печень Арс Тархана. Что тогда? Арс Тархан пошел к очагу, взял в ладони полную горсть золы. Зола палила ладони, но Арс Тархан дошел с нею до полога, отодвинул плечом полог и, выглянув наружу, столбом пыли рассыпал перед собой огненную золу. Так обезопасившись, крикнул:

— Эй, ты, который приходил ко мне сдаваться, приходи ко мне после начала Весны!.. Тогда и разберемся. Приходи, когда Весна начнется...

Вернувшись к очагу, Арс Тархан за тягостной молитвой о погибшем сыне — время от времени прерывая ее — думал о себе, какой он, как Ворон, терпеливый. Всякое сомнение должно само умереть. Свернувшуюся в клубок змею безопаснее всего не трогать. Вылежаться должно всякое решение. Ворон клюет падаль (которая умерла и уже не может сопротивляться). Но живет-то Ворон дольше всех. Кто меня считает каменным Истуканом-Балбалом? Я — Ворон...

ДЕНЬ ОДИННАДЦАТЫЙ

Памфалон – из всех родов

Епископ Дукитий — удобопреклонный по прозвищу Хазаропрозопос, данному ему в святом городе Новом Риме — Константинополе, служил свою последнюю службу.

Он уже привык, что из собора до дома и от дома к собору его, как заблудшую овцу, упрямо пасет хищник. И то, что этим хищником была постоянно скользившая за ним почти незаметная, сливающаяся с серым днем Баруа-тень, вовсе не ослабляло его страха. Но, напротив, делало страх ноющим какой-то тонкой, противной, как вонзающаяся игла, сатанинской болью.

Он уже начинал изнемогать от этой ноющей тонкой боли и готов был сам кинуться под нож — только бы боль оборвать. Только бы оборвать безысходность гибели, преследующую его, точно как эта серая тень.

И сегодня епископ уже сам определил, что служит свою последнюю службу. Больше нет сил.

Сегодня Хазаропрозопос оправдает свое прозвище: Хазарская Рожа — в последний раз послужит бедному люду, простоволосым и черным хазарам: кочевникам, которым он стремился дать кусочек надежды. Скажет все, что он может им, уже свободный от бремени кафедры в епархии и оков церковной дипломатии, искренне и горячо сказать. Все! Он больше не удобопреклонный!..

Сын степи, он хоть и поверил, что только взаимная людская любовь может спасти человечество и уравнять рабов и рабовладельцев, бедных и богатых в небесном царстве спасения, но всегда с трудом для себя призывал прихожан подставлять тому, кто ударит в правую щеку, левую щеку. Слаб и страстен человек и скор на расправу. Конечно, ежели ты раб, а тебя бьет господин, то приходится подставлять другую щеку. Хазарская Рожа не верил в рабов, которые не ждут момента, чтобы скинуть с себя своего господина и хорошенько посчитаться с ним. Он знал только, что до поры до времени рабу приходится притворяться. Вот так же, как сейчас притворяется он, Хазаропрозопос, христианский епископ, желая выгнать лукавого ишу-Управителя из своего храма и, по слабости своих сил, не смея этого сделать.

Хазаропрозопос вспомнил про ишу и пошел по храму. У ниши с изображением Петра-апостола, где по обыкновению прятался Иосиф, он остановился, взмахнул кадилом. Дождался, пока иша, привлекши к себе всеобщее внимание, вынужденно не пошел к епископу, не опустился за положенным благословением на колени. И тогда епископ широко и размашисто перекрестил своего врага. Ему было не по себе, что он благословляет спекулянта, наживающегося на голоде. Но иша Иосиф был тоже, как и епископ, избранным, принадлежал к высшему сословию, и епископ должен был соблюдать закон власти.

Иша Иосиф гордо принял благословение и сразу поднялся с колен.

Какое-то мгновение они оба смотрели с ненавистью друг другу в глаза. Плосколицый, приземистый, будто случайно оказавшийся в храме степной всадник с зеленым клобуком-соколом в лохматых волосах и такой же маленький, но горбоносый, сам как хищная птица, вызывающе рыжий иша — по рангу управитель при кагане, а по реальной власти давно властитель всей Хазарии. И епископу кажется, что вот-вот он не сдержится, сам грубо спросит: «А ты, иша, как думаешь: что будет после того, как с твоей помощью и, боюсь, что по твоему драгоценному совету, меня красиво, в ореоле мученика прикончат?!»

Но иша резко повернулся и, слегка пригнувшись, словно хоронясь от пущенной ему в голову стрелы, быстро пошел прочь из храма.

А епископ вернулся к кафедре и стал медленно снимать облачения. Он скинул с себя омофор (нарамник) и сразу внутренне перестал играть роль великого архиерея. С горы блаженств спустился назад в свою маленькую и тесную церковь, стал обмякать душой и телом. Сердце у него еще часто билось, глаза медленно затухали, теряя лихорадочный блеск. Он объявил, что служба окончена.

Он остывает сердцем под медленный псалом, который поет калека. Он думает, как он еще что-то докажет Новому Риму. «В Константинополе сидят «ромеи», они презирают нас», — думает Хазаропрозопос уже совсем как еретик. Но тут снова вспоминает своего сугубо восточного Голого Дэва, который таскается за ним, как тень. Нет, тут его не возьмешь на испуг! Это шло за ним не знамение — живой убийца. И Хазарская Рожа опередит его.

Он просит защиты: «Люди! Хазары! Новый Рим устал

ждать проку от своего епископа в Хазарах... Я не смог вас подбить на погибельный поход на Русь, и мне уже намекнули в питтакии про нового святого мученика. Неудобопреклонных епископов не лишают кафедр, они становятся мучениками. Оглядитесь, где-то уже среди вас тот «коварный язычник», который с помощью одного ловкого удара ножа здесь, во храме, у алтаря, сделает меня сегодня святым? Я удивляюсь, почему он так долго не протискивается ко мне? Или боится скопления народа, что не успеет убежать, что вы все разорвете его здесь на месте? О, я помогу ему, порожденному лукавым святым Константиновым градом, мусульманскому Дэву. Я подойду сам к нему. Вот, видите, иду!» — кричит епископ.

Нет, Хазарской Роже только кажется, что это он так кричит, потому что его горло пересохло, сердце разрывается на части от боли, и опух язык.

Да и как он может кричать против того, что уже предопределено?!

Он поднимает голову, и его взгляд скользит по храму. «Отчего почти никто не ушел? Может быть, многие просто ждут, что я еще раз вынесу им противень с ломтиками хлеба?» — думает епископ и слышит, как церковный староста громко повторяет:

— Больше не будем обносить хлебом. Нету хлеба!

Староста знает, что освященный хлеб — не простой, но кричит.

Храм быстро пустел. Служки уносили светильники. Только что было в храме влажно, как в мовнице, теперь воздух быстро холодел. Две лампады остались освещать внутренность собора, по которому вместе с людьми теперь, казалось, на равных блуждали тени.

Епископ дунул на две последние лампады, еще теплившиеся перед образами. Одна из них сразу погасла, другая же, напротив, вспыхнула, ярче разгорелась. Тогда епископ встал спиной к темноте храма, лицом к образу апостола Петра, перед которым осталась горящей лампада, и стал тихо молиться — за себя.

Лицо его было жестким, а слова молитвы давно вбиты в память, будто гвозди в доску.

Он молился очень долго, и когда он поднялся, чтобы пойти в притвор разоблачиться, то было с ним, будто идет он не по полу храма, а по днищу ковчега, будто ходит под ним пол.

Потом из темноты притвора как бы отделилось и поползло на него Нечто, похожее больше на тень от него, нежели на самое себя.

— Благослови, отец святой!

Но не просящим, а совершенно невыразительным голосом, как тень голоса, бесцветно, и потянулась к руке Хазаропрозопоса с поцелуем.

Поцелуя Хазаропрозопос не ощутил. Нечто же повторило:

— Благослови, отец святой!

Епископ поднял руку для благословения, но вместо этого начал загораживаться, заслоняться рукой.

Нечто же вдруг коряво и громко, истошно громко, чтобы слышали там, во дворе храма все, кто еще не разбрелся, крикнуло: «Салам алейкум!..» А может быть, крикнуло и не это вовсе, а что-нибудь другое, но что-то не христианское, а громко мусульманское. Такое, чтобы все сразу там, во дворе, поняли, что мусульманским духом против Кяфира-христианина пахнет.

И в ответ на этот громкий крик сразу громко засмеялся Хазаропрозопос.

— Ха-ха, — поднялось к куполу храма и там застыло, повисло, прилипло.

И в единственном свете лампады, мерцавшей перед образом апостола Петра, сразу будто обагрилась позолота на иконах.

Но кровь будущего мученика еще не пролилась. И Нечто не пропало, а вроде как на колени склонилось и попросило:

— Ты благословил меня, святой отец! А теперь исповедуй! Сейчас же прими мою исповедь, ибо я тороплюсь, и хотя я и вижу, что облик мой непереносим для тебя, но обратиться больше мне здесь не к кому, а душегубства душу тянут. Я Назорей-Монах, святой отец, добрался сюда из Святого города. Но совершил здесь уже много грехов: человека убил, стражника, сына начальника стражи Арс Тархана — я его не хотел убивать, человек этот не поднимал на меня оружия, но я поторопился и убил; а другого человека я удушить хотел. Наследника я душил, сына кагана — Великого Принца Тонга Тегина, по прозвищу Волчонок, который в город вернулся — он опять захотел смуту сеять и о величии Эля болтать. Вот я его и удушил. Но ожил Волчонок. Видно, нечистая сила в нем есть... А третий грех мой — сейчас случится.

Ты сам понимаешь какой... Я должен это сделать. Так надо. Не все ли тебе равно, кто это над тобой свершит — я или кто другой. Для возвышения веры нужно сие. Так будь же смиренномудрым! Отпусти мне три греха, святой отец.

И стало ползать Нечто на коленях перед епископом и все норовило поймать губами его руку, а епископ протянул руку и спросил:

— Долго добирался? От Баб ал-Абваба? Значит, по Кавказу через халифат? Через враждебные Христу земли? А почему не через Крым? Там готы-христиане. Там много христиан-русов. Ах, готы от митрополии святого Рима откололись?! Готский топарх попросился под руку к великой княгине Севера? К Ольге! Понятно, почему в питтакиях на меня так нажимали, чтобы я подбил хазар напасть на Русь.

Епископ спрашивал совершенно буднично, а Нечто быстро, торопливо отвечало ему. И чем внимательнее присматривался к этому Нечто епископ, тем более прояснялось это Нечто ему, и уже вроде бы обрело очертания чужой Тени — той самой, что скользила за ним на рассвете от моста к храму.

Был пришелец, выбранный Новым Римом оказать последнюю услугу своему епископу, сух сложением и сух лицом, высок, но невыразителен очень. И наг.

И пожалел его епископ. Снял с себя и отдал ему, нагому, свою верхнюю одежду, и все с себя снял и отдал. И клобук свой зеленый епископский, как сокола связанного, от своих лохматых волос отцепил и не без значения тоже отдал. Тому, кто пришел ударить в правую щеку, подставил щеку другую. Благословил обижающего себя, возлюбил врага своего. Не воспротивился злому. Сказал:

— Аминь! Я отпускаю тебе твои три душегубства! Слушай, вот я говорю тебе: скорый в заступление и крепкий в помощь, предстань благодатию силы твоей и укрепи, в совершение намерения благого раба твоего произведи...

И тень тогда ответила епископу:

— Так ты понял, отец, что я убить тебя хочу?

— Понял. И вот я благословляю тебя. Совершай! Ну что ты тянешь?..

— Отец святой, я за смиренномудрие свое опасаюсь! С именем божиим хоть я на совершение пришел, но не смирение чувствую. Наложи, святой отец, еще на меня эпитимию. Ибо возгордился я тем, что мне выпало совершать. Надеюсь, что кафедру твою мне за мое служение отдадут. А это — высокомерие. Я ведь из бывших инакомыслящих. Но в ереси покаялся богомерзкой, и уже имя свое во епископах знаю: Памфалон — Из всех родов.

— Вот тебе эпитимия: ступай и молись завтра за меня, принявшего муку за веру, епископа, весь день. А больше не надо. Теперь же совершай свое дело. А я стану сейчас за тебя молиться. Только имя скажи: за чье прощение мне сейчас ко Спасителю молитву свою вознести? Ты ведь при прежнем имени еще...

— Памфамир — Всего Лишенный я, — ответила Тень.

И помолился Спасителю за врага своего Хазарская Рожа. А потом повернулся к нему спиной и пошел из храма, и выглянул во двор к еще не разошедшимся прихожанам. Остановился в дверях храма и, чтобы привлечь к себе внимание, громко крикнул, пораженный ножом в спину:

— Принимаю смерть за веру в Спасителя от еретика — выблядка иудина!

И охнули в церковном дворе, когда покатилось во двор со ступенек храма тело епископа.

Закричали:

— Где стража?

— Пусть хватают убийцу!

— Нельзя звать стражу, ежели епископ убийцу своего милосердно простил!

— Не должно такое прощать!

— Простил! Мы христиане. Прощению нас Спаситель учил!

— На нечестивых Христово прощение не распространяется.

— Лови убийцу! В церкви скрылся.

— Крестом его крести!..

— Эй, а где начальник стражи Арс Тархан? Как свои мусульманские мечети, так охраняет, а почему в церкви дозора не выслал?

— Сына у него Дэв убил. Горюет Арс Тархан.

— Мало ли что горюет. А службу все одно не должен забывать!..

— А то вот пойдем и мусульманскую мечеть обезглавим. Помните, когда в прошлом году христианин Рахда-

нита чужеземного убил, так в наказание иша Иосиф всю зиму церковь обезглавленной продержал.

— Вот! А теперь нас мусульмане обидели. Обезглавим мечеть!

— Снесем минарет!

— Бей мусульман! Где кабары? Да здравствуют кабары!..

Затянули «Песню черного праха»:

Крепко подвяжем хвосты,
Поднимем черный прах...

Но оружия так и не подняли. Обшарили церковь, но нашли только ворох епископовых облачений, словно их кто примерил на себя и впопыхах сбросил. Убийца епископа как тень явился; как тень и исчез. Впрочем, раз все равно убийцу надлежало милосердно простить, то его не очень и высматривали. Так потом язвили злые языки.

Тело Хазаропрозопоса уже начало холодеть, и, провожая отлетающую душу своего епископа, хазарские христиане опустились на колени. Молились.

Посыльный с Каганова острова принес старосте общины чудом в один день доставленный из святого Нового Рима питтакий. В питтакии христианская община в Хазарии извещалась, что хазарам рукоположен новый епископ Памфалон и что епископ этот уже давно отплыл в Хазарию.

Обсудили питтакий. Обдумали, чем встретить нового епископа.

Затем стали обсуждать, как похоронить прежнего епископа. И тут не к месту вспомнили, что назавтра по всей Хазарии начинается Новый год — всеобщий праздник, что с рассветом Весна Священная приходит, солнце с собой приводит и весь город выйдет завтра солнце на высокий правый берег встречать.

— Ну что же, — поглаживая свою черную бороду, изрек церковный староста, — в праздник никак нельзя будет нам нашего епископа хоронить. Придется на дни Нового года епископа в церкви оставить. Авось не провоняет.

Тело епископа подняли, понесли в церковь. Когда тело поднимали, то обратили внимание, что оно совсем одеревенело, вроде как подморозилось, потяжелело и не гнулось...

— Не провоняет, — уже уверенно сказал староста и опять погладил свою черную бороду.

С тем и затворили церковные двери.

ДЕНЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ

Золотоволосая Воислава

Про Золотоволосую легенда повествует, что у каждого мужчины, который увидел ее, останавливалось сердце и перехватывало дыхание, потому что она была похожа на солнечный свет.

Волчонок Тонг Тегин боялся с ней встречи. И ждал ее. В детстве он дружил с Золотоволосой — Воиславой, юной дочерью русского торгового гостя Буда.

Принц Тонг Тегин часто заходил в лавку к Буду, потому что Буд нанял переписчиков и собирал для своей повелительницы — княгини Ольги — книги. А Волчонок больше всего на свете любил рыться в книгах.

Маленькая Воислава, девочка с золотой косой, любила прижиматься к «своему лохматому Волчонку» и часто сидела у него на коленях, и целовала его в щеки и в глаза, но все — как играла со своим зверем. Как ласковое детское, стосковавшееся по матери и нашедшее в Волчонке себе утешение.

Тонг с чужестранкой Воиславой был открыт и наивен. И он даже мог себе позволить поиграть с нею в свое предстоящее коронование — Великий Принц, сменяющий золотой обруч на своих лохматых длинных космах на расшитую золотыми плодами граната и сияющую рубинами косую степную шапку кагана!.. Во время таких игр Волчонок гордо принимал облик Властителя — Волка, надевал хранившуюся в заветном родовом сундуке священную шкуру Волчицы и произносил перед Воиславой, изображавшей Всю Массу Народа и кричащей на разные голоса о разных бедах народа, заветную каганову клятву:

Небоподобный, Небом рожденный мудрый каган
Степи —
Я, Тонг Тегин, ныне сел над вами всеми.
Мою речь теперь выслушайте до конца вы —
Следующие за мной младшие родичи,

Союзные мне племена и народы,
Эту речь мою выслушайте хорошенько,
Крепко внимайте!
Вперед, вплоть до солнечного восхода,
Направо, вплоть до полудня,
Назад, к солнечному закату,
Налево, вплоть до полуночи, —
Здесь, внутри Этих пределов находящиеся народы
Все мне будут подвластны!
Столько народов — всех я устрою!

Тонг Тегин затем вскидывал руки, расставлял локти и, как орел, хлопающий крыльями, шел вокруг Воиславы по кругу. А Воислава, продолжая изображать Всю Массу Народа, громко, как положено, славила на многие голоса мудрую устроительную клятву нового кагана Тонга Тегина. Но самое интересное начиналось, когда Вся Масса Народа, тоже как положено, обращалась к новому кагану за разрешением своих обид. Они оба заранее долго и очень старательно обдумывали, какие должны быть ныне у хазарского народа обиды. Они бродили по базарам, заходили в караван-сараи — слушали людские толки. Они искали причины народных обид. А потом в их игре он, новый каган, мудрейше устранял все их... Это была только игра. Великому Принцу даже некому было пересказать обиды народа — его отец, Великий каган Огдулмыш, сидел в золотой Куббе, и стража не допускала к обожествленному кагану даже его сыновей Тонг Тегина и Алпа Эр Тегина. Считалось, что каган правит народом с помощью биликов-изречений, передаваемых через ишу-Управителя. И Великому Принцу оставалось только играть в то время, когда он наконец-то сам воссядет на престол и — в отличие от отца — уже будет не только изрекать туманные билики, которые иша толкует вкривь и вкось, как ему заблагорассудится, но будет сам и управлять хазарским Элем... Все это было только их с Воиславой игрой! Но кто знает, может быть, именно в том осмыслении народных обид больше всего духовно и вырос Волчонок, впервые, пусть пока только в игре, приняв на себя бремя ответственности за судьбу родного Эля и вдруг осознав, насколько не сладка, а тяжка эта ноша.

Позже, уже на чужбине, сначала воюя под черными знаменами халифата, а потом вкушая плоды и блеск науки в багдадском монастыре суфиев, уже когда случилось все то, что предначертано было Небом ему, Тонгу, вкусить злосчастно, он часто думал: а не за эти ли игры-самоутешения с чужеземкой Воиславой оскорбилось на него горделивое Кек Тенгри, Синее Небо хазар?! Не за то ли, что Всей Массой Народа была для него, Великого Принца, именно маленькая чужеземка, которую он даже и в мусульманском монастыре всегда почему-то сразу начинал представлять, едва вспоминал родину, или даже просто молился или слушал музыку, едва задумывался и уходил в самого себя... Однако он тут же ободрял себя тем, что Воислава была золотоволосой, а по преданию именно золотоволосая женщина должна была прийти в дом Ашины — Волчицы, чтобы спасти этот дом властителей, родив ему великих богатырей...

Теперь золотоволосая девушка внезапно вышла из толпы и сама подошла к Волчонку. От растерянности Тонг Тегин попытался закрыться рукой, спрятаться за повязку печали. Но повязка развязалась и упала. И тут случилось чудо.

Словно отбежало назад время, и Тана (Жемчужина) превратилась в маленькую шалунью Воиславу. Она спохватилась, стала подбирать упавшую на землю Тонгову повязку печали. Смутившись, вся заалела лицом. У нее была в самом деле кожа, как жемчуг, и от нее словно шел свет. Говорят, что жемчужные ожерелья нужно постоянно носить, потому что жемчуг умирает, если не слышит человеческое тепло. Тана сама отдавала тихое светлое тепло, а волосы ее вспыхивали золотыми нитями, словно спустившиеся в юрту из дымника солнечные лучи.

Тонг держал ее пальцы в своих ладонях, а сейчас выпустил. Он посерьезнел.

Потом грустно сказал:

— Да, ты истинно Жемчужиной стала, Воислава. Ты нашла себя. А я вот себя потерял. Ты прости меня. У меня от весны, видно, закружилась голова, что я, недостойный, наговорил тебе всякого. Ты хотела посмотреть на Великого Принца. Его уже нет. Маленькая золотоволосая чужестранка верила в Волчонка. Она играла с ним, как с волчонком. Говорила ему: «Мой шерстяной». Потом ждала, представляя, какой красивый и мужественный из него вырос Волк. А Волка нет! Сегодня ночью я опять пойду сдаваться. Только теперь не к Арс Тархану

(он меня дважды прогнал), а к поганому ише. Увы, дела мои сложились настолько печально, что выяснилось: вернулся я на родину единственно для того, чтобы отдать назад бездушно похищенные гробы моих предков. Наверное, меня распнут на деревянном козле. Но если и помилуют, то все равно мне ничего теперь не остается, как сбрить девять священных клоков своей бороды и стать простоволосым. Может быть, я тогда стану лепешечником. Ты ведь помнишь, как я, научившись пекарному ремеслу, сам пек тебе лепешки. Когда-то я пек лепешки одной тебе. Теперь буду печь всем людям в городе.

Помнишь, когда я мнил себя Волчонком, я собирался бежать впереди этих людей? Гордился, что происхожу от того, кто выделился из толпы. Но в другом городе, в другом людском потоке я страдал и тосковал по своей толпе, по ним всем, рвался к ним. Что же теперь гнушаться плыть среди них? Почему я поспешно выбрался из их потока?.. Не оттого ли, что я все-таки всегда хотел не с ними быть, а над ними возвыситься?.. Вожаком Волком хотел им быть? Воссесть над ними хотел — чтобы их несло, а я сидел бы и указывал, куда им двигаться. А они выкинули меня из своего чрева — так, как поток, волокший камень, выкидывает из себя и оставляет в стороне камень, который долго над потоком возвышался, но который волочь надоело потоку. Так не пора ли смириться бывшему Наследнику! Признать, что прежний Волчонок сгинул — я его в себе вырастил, а он здесь оказался уже ненужным. Степь поставила на этой Реке ставку кагана. К ставке кагана прилепился Город. Он кормился от ставки кагана. Теперь, я вижу, Город вырос. Он сам кормит себя. Он кормит ставку кагана. Зачем теперь городу Степь?..

Я понял, эти люди живут здесь уже порядками не Степи, а Города. Они чувствуют себя под рукою не степного кагана, а городского иши-Управителя. Иша Иосиф — Управитель — везир при кагане здесь уже заставляет называть себя Судету, и эти люди подобострастно его так называют. Они скоро вообще забудут про кагана, потому что они питаются от дел иши, а не кагана. Иша Иосиф даже уже почти перестал собирать подати с подвластных кагану народов — для сбора податей нужно держать в страхе подвластные народы, нужно содержать сильное войско, а иша копит деньги и не хочет

тратиться на войско. Иша надеется, что больше, чем от податей, получит золота от торговли. Он мечтает совсем закрыть дорогу мимо города иноземным купцам: чтобы вся торговля и весь обмен товарами между Севером и Югом, Европой и Азией происходил только на здешнем рынке. Городские купцы, менялы, ростовщики богатеют от такой политики иши, а от богатства купцов и менял немалые крохи передают и тутгаре — прислуге, всему кормящемуся при рынке черному люду. И вот иша Иосиф нагло перекрыл дорогу в город хлебу из земель Русов, истребляет торгующих пшеницей и ячменем купцов, потому что предварительно набил свои амбары и теперь хочет крупно нажиться на голоде. Все в городе знают это. Но епископа убили, а голодная тутгара молчит и лишь рвется гулять, Весну встречать вместе с нажившимися купцами и менялами. Черный люд голодает и молчит, потому что боится потерять объедки с помоек богатеев — крошки со столов купцов. Теперь черный люд будет бурно радоваться, потому что радоваться Весне захотели купцы и менялы, которым весь этот черный люд, как послушный голодный пес, услужливо смотрит в лицо.

И я тоже теперь должен сказать себе: «Виляй же хвостом, пес! Прыгай, заливисто лай и веселись, ты ведь обязан угадывать настроение хозяина. Прыгай и заливисто лай, хотя у тебя давно свело живот!» Билек Иркен — Кучка Народа, это — только жалкая толпа! Нельзя быть вожаком скопления людей, переставших быть народом. Нельзя возвысить сброд до Эля, Племенного Союза — Государства. Возрождать славу Великого Хазарского Каганата поздно! Теперь если я, Волчонок, хочу остаться в своей стае, я могу сделать единственное — опуститься до самого последнего шелудивого самца в этой стае. Стать как все! Билек Иркен — это поток, который в зависимости от времени становится то народом, то толпой. Понял я, Волчонок, что сейчас поток способен быть только толпой. Понял это — и отдамся толпе. Сдам священные гробы предков начальнику стражи, пусть палач выдерет девять клоков моей бороды! Признаю, что поток обошелся без меня впереди, и если я все-таки вернулся, то присоединюсь теперь ко всем. Наберусь храбрости, чтобы смешаться со всеми!.. Пусть толпа снесет меня. Снесет и поглотит. Сольюсь с ней! Ведь так я сольюсь с Городом и познаю его откровенье!..

Так я решил поступить, Воислава. Вот видишь, какой я оказался — растерявший свою шерсть. Я обманул в ожиданиях тебя, потому что все время обманываю сам себя. Признаюсь: я видел тебя вчера и не понял, не узнал, но почувствовал, что это ты. Ты стояла вчера под серебристой ивой и смотрела в толпу, и я обо всем догадался. Но я заставил себя не поверить. Я сегодня пришел к серебристой иве, и стал возле нее, и почувствовал твое тепло. И опять приказал себе ни во что не верить. И глаза твои, синие птицы, я узнал сегодня, сразу как только ты на меня посмотрела. Но я молчал. Я опять отговаривал себя и строил нелепые догадки, чтобы оттянуть откровение, чтобы только не быть с тобой честным, потому что то, что сейчас говорю, — это не честность, а стыд мой. Я возвращался сюда, в Город, с гордо поднятой головой, а буду ходить с понурой головой. Я возвращался воином, а стану торговцем. Но что мне делать, если я не могу жить без своего племени, без своих хазар, а другого места, кроме как последнего, теперь для меня среди своих хазар больше не находится?!

Тонг остановился в своей пылкой искренней речи и опустил голову.

Мимо него и Воиславы текла толпа. Толпа смеялась и пела. Толпа веселилась. А они оба хмуро молчали.

Потом Воислава глухо сказала:

— Вожак, даже если он стал хилым, не может смешаться с общей стаей. Вожака тогда загрызают. Разве ты не помнишь этот закон волчьей стаи?!

Тонг Тегин помолчал. Потом так же глухо, будто через силу, ответил:

— Летел домой над степью черный лебедь, был живым письмом халифа. Приземлился лебедь. Видит: выгорела степь. Свои у степи заботы — не нужно ей письмо халифа. Нечем степи прокормить черного лебедя, сама она не знает, как прокормиться. Что теперь делать черному лебедю? Садиться в камыши на болото, клевать траву вместе с утками! Авось не заклюют черного лебедя серые утки?..

Тонг Тегин увидел, что в синих глазах Воиславы появилась влага обиды. И глаза ее будто отдалились от него, отделились влажной завесой.

Вот ведь как бывает. Была весна, и светило солнце. Вдруг набежала туча, и пошел сильный дождь, все затопил, все омрачил, испортил.

Тонг Тегин протянул руку Воиславе:

— Прости меня, Воислава! Я, наверное, сам не знаю, что говорю.

Она отстранилась от него:

— Я не верю тебе, Тонг Тегин, Великий Принц. Ты меня обманываешь, потому что я чужестранка. Ты что-то задумал, а от меня скрываешь, потому что мой отец Буд привечен княгиней Ольгой, и ты боишься, что о твоих планах узнают на Руси. Хорошо, не говори мне больше ничего, Волчонок. Скрывай от меня, если ты считаешь, что так нужно ради Эля — государства. Но одно прошу тебя — только не внушай мне, что я спешила к Каткалдукчи — воину, а меня встретил Талай — заяц. Не заставляй меня спускаться с Синей горы!.. Это ведь твои рассказы о древней славе Хазарского Эля, твои высокие мысли о народе сделали из меня, обыкновенной маленькой девочки с золотистыми волосами, Тану-жемчужину. Я выросла такой, потому что хотела быть достойной тебя. Ты рассказывал мне о золотоволосой Алан Гоа — рождающей для Степи каганов. Той, что приходит на рассвете из дымника, как луч солнца. Ты говорил, что Степи, чтобы возродиться, снова нужна Алан Гоа. Что же ты теперь опускаешь меня в яму стыда за тебя?! Зачем говоришь, что Волчонок растерял свою шерсть?!

Тонг почувствовал, как от Воиславы перестали идти к нему тепло и свет. Словно тучи закрыли солнце, вдруг поблек, перестал светиться жемчуг ее кожи, и даже ее золотистые волосы теперь словно потускнели; перепутались, падали на плечи, как поваленная бурей трава.

Воислава подняла голову, вглядывалась тревожно в лицо Тонга, будто в лицо больного.

Глаза у Воиславы были синими и большими, а сузившиеся зрачки стояли в них, как две остановившиеся посреди озер лодки. Тонг Тегин растерялся и не знал, что Воиславе ответить. А Воислава сказала:

— Я вижу, у тебя, гордого хазарина, на шее очень красивая цепь. Но не заменила ли она тебе душу? Ведь это цепь хоть и почетная, но обозначает подданного халифа, чужого владыки. Уже не из-за этой ли цепи и этого синего халата — власяницы монаха — так торопишься ты, Тонг Тегин, потерять достоинство благородного дома Ашины и стать простоволосым?.. Не веришь в то, что ты Волк, и спешишь стать жалкой собакой?! Ты молчишь, опять не отвечаешь?.. Так ступай прочь!

Я не буду сама надевать на тебя ошейник! Я не буду тебе помогать в этом, пес!

— Нишит-е (будем бить палками)! Расходитесь! — опять где-то рядом кричат стражники. — Расходитесь: Весна откладывается! — Тонг Тегин слышит про откладывающуюся Весну и машинально еще удивляется, спрашивает себя: «Разве можно отложить Весну?»

И вдруг понимает, что можно. Те, кто не считается с природой, все могут захотеть. Только вот как сама природа?

Толпы не убыло, ее все прибывает, как в половодье. Толпа разлилась. Вот идет высокая волна и накрывает собой всех — и стражников, которые теперь лишь смешно барахтаются в толпе, и степного Волчонка с золотоволосой Воиславой. Волна смыла Волчонка и Воиславу, завертела, разделила и нещадно понесла в разные стороны. Он попытался позвать ее. Но его голос утонул в едином тысячеглотном вздохе толпы:

— Хорс!

— Солнце!

Славу Хорсу неистово кричали со всех сторон. Еще вчера он был только славянским идолом. Но, видно, палки арсиев, разгонявшие праздник, сделали свое дело. Посмотрите: даже желторизные жрецы из Белого храма теперь тоже кричат «Хорс!». Желторизные левиты тоже надеялись сегодня повеселиться, но раз их тщеславные и высокомерные Мудрецы Хакамы, что засели в Академии, испортили людям праздник, чтобы показать свое «я», то пусть Хакамы получают свое. Теперь все помогают славить первого из богов, явившегося на праздник Весны.

— Славься, Хорс! — кричат муллы.

Как же им не радоваться, что сделала глупость соперница — Академия при Белом храме?! Так и надо зазнавшимся черным ермолкам.

— Славься, Хорс — Желтое Солнце! — кричат маги и кочевничьи шаманы.

— Да здравствует Хорс, несущий свет! — Почему жрецам Зороастра не прославить именем Хорса свет, являющийся народу?

Муллы выстроились в ряд — восхваляют Хорса. «О, пусть-ка вспомнит теперь иша Иосиф Управитель, как городскую мечеть обезглавил! Может быть, среброусого славянского идола с берега он в воду свалить теперь прикажет?.. Вот будет потеха! А потом кабары...»

Бьют в бубны волхвы, начинают пляску Солнца. А Хорс уже рядом — уже скользит желтой полоской по воде.

— Здравствуй! С возвращением тебя после зимы, великое и могучее Солнце! — протянули все к Солнцу руки. Пусть Хорс успокоит зимнее бурное море, разрешит доплыть — вернуться в город всем купеческим караванам! Пусть Хорс вскроет все реки и откроет пути!

Желтым шаром по витой тропинке поднимается Хорс на правобережную кручу. Катится пламенем мимо круглых войлочных шатров, в которых живут скотоводы, мимо глиняных мазанок, слепленных ремесленниками, мимо деревянных с горбатыми крышами купеческих домов, в куполе церкви сверкает, в изразцах мечети играет, вот забрался на крышу Белого храма, меж гвоздей побежал, смеясь. Эй, Мудрецы Хакамы! Вместо вас Хорс на крыше! Хорс за вас Весну объявил!

Тонг Тегин все ищет Воиславу. Наконец догадывается, где искать. Печальный образ насилия, который сопровождал его от въезда в город, напомнил о страшной картине на берегу. Он подумал о тех ее сородичах и, — может быть, даже отце! — кто остался на крестах всего лишь за то, что вез пшеницу — накормить голодный Город. Приняли лютую смерть от арсиев-стражников. Больше уж никогда не придут к хазарам с пшеницей. Накрепко заказан путь. Самой смертью заказан.

Тонг Тегин среди киевлян... Мелькнуло впереди зеленое с серебром платье. Поманило. Тонг рванулся за ним и остановился. Как смеет жалкий пес бежать за Таной — жемчужиной?!

Волк сам отдал свою тропу. Он гордо шел по этой тропе на плаху и не боялся, потому что нет ничего счастливее плахи, когда ее принимаешь за свой народ. Но гордый Волк встретил на этой тропе красивую, как солнечный свет, девушку, и он поколебался в своей волчьей уверенности. Волк подумал: «Как я уйду на Небо, когда любимая тут, на земле?» Волк сказал себе: «Почему я непременно должен за свой народ погибнуть? А не могу ли я ему послужить, став простоволосым? Пусть палач возьмет только девять святых клоков моей бороды, а я буду печь своему голодному народу вкусные

лепешки и встречать каждый день счастливым взглядом небесный свет — Тану — жемчужину!» Так хотел поступить Волк — стать домашним псом, охраняющим отару, чтобы не расставаться с любимой. Но любимая оскорбилась за Волка, который решился стать псом.

Не надо догонять теперь свою любимую жалкому псу, когда-то слывшему Волком!

ДЕНЬ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ

Работорговец Гер Фанхас

Чего не сделаешь по муторной весне?! На какое непотребство в томлении не решишься?! Потом-то, может, и жалеть себя будешь, а уже сотворил. Как сотворенное назад взять? Как обелиться? Конечно, проще всего сказать: «Дэв попутал». Но путал ли тебя дурной Дэв, когда ты сам по слабости и нестойкости своей впутался? Никто тебя не звал. Никто тебя не ждал. А ты чуть свет поднялся — и к ней, к женщине окаянной, которую сам до того сколько раз словами пакостил, презирал, все говорил, что она воздвигла греху седалище... Сам со всем Городом сладко хаял. Называл не иначе как Иосифовой Блудницей. И к ней пошел.

Над островом еще стоял липкий утренний туман, и желтая полоса рассвета казалась только рыбьим жиром, пролитым на противоположный низкий левый берег, когда Гер Фанхас вылез из своих носилок; задохнулся; пытаясь набрать воздуху, расстегнул золоченый халат, так, чтобы лучше было видно его необъятное жирное тело; затем подобрал полы халата и, едва не сбив притолоку своей высокой, похожей на кувшин золоченой шапкой, шагнул в темноту — к ней.

За порогом он отдышался; встав прямо под светильником — так, чтобы женщине получше было видно, — при расстегнутом халате стал поправлять ремни, поддерживавшие жирные шары его перекормленного тела. Он хотел, чтобы до женщины как следует дошло, как он сытно ест, какой он жирный и, следовательно, по кочевничьим понятиям, какой он преуспевающий человек.

Потом, глядя прямо перед собой еще не видящими ничего в темноте глазами, он, полагая, что смотрит на женщину, гордо произнес:

— Хон Карба (Зиму прожила!), Святая! Оцени мое посещение. Видишь, кто к тебе пришел? Я — староста всех городских базаров, а не какой-нибудь простоволосый человечишка, который и в женской породе никакого толка не знает, потому что дай бог, если со своими братьями делил одну жену на троих. А я тот, кто умеет женскую породу возвышать. Кто может любую женщину в цене поднять.

Уж кто-кто, а я, Гер Фанхас, знаю, что всего четверть дирхема на хну делают девушку на сто дирхемов дороже. Белой девушке я крашу кончики пальцев красным. Чернокожей — золотисто-желтым и красным. Желтокожей — черным. Соответственно я одеваю белых девушек в легкие темные и розовые одежды, а чернокожих — в красные и желтые, подражая тем самым природе, которая при сочетании оттенков цветом тоже воздействует своими противоположностями. Волосы девушкам я велю делать длинными, подвязывая к кончикам волосы того же цвета. Дурной запах из носа устраняю вкапыванием благовонных масел. Зубы отбеливаю при помощи едкого калия с сахаром или древесного угля с толченой солью. Девушкам советую быть податливее со стариками и людьми робкими и тем самым располагать их к себе, а с юношами, напротив, быть недоступными, чтобы завоевать их сердца. Девушкам при покупателе опробываю зубы, грудь и зад, чтобы показать, что они у них не накладные, а таковые от природы...

Фанхас оборвал свое изъяснение. Он поднял, как в молитве, руки. Скорее всего, что его поднятые руки были срамнице не видны. В галерее было все-таки очень темно. Только зеленоватые лампады по углам мазали ее своим маслянистым, липким, как рассветный туман, светом. И Геру Фанхасу подумалось, что не в такой темноте должно бы происходить таинство. Ведь в темноте толком и не разберешь, свою ли цену товар за себя берет. Да и как себя покупателю показать?

Фанхас сам засмеялся своей лихой мысли, взял плошку со светильником и поднес к своему лицу, поднял брови — свои не прерывающиеся и не сужающиеся, как одна мохнатая гусеница, брови.

Когда Фанхас поднимал брови, то мохнатая гусеница начинала очень внушительно извиваться и толстеть. Не многие выдерживали его поднятую бровь — не падали подобострастно на колени, прося пощады. Теперь

Фанхас внушал: «Ну! Преклонись и ты, Срамница! Что же ты, женщина, медлишь, не расстилаешь себя, как ковер, под ноги сильного?..»

Фанхас ждал прикосновения, и даже уже какая-то теплая нега потекла по его лодыжкам, которые сейчас обхватят мягкие руки Срамницы.

Он прикрывает глаза. Он ждет. Ну, где же раболепное, где повинующееся прикосновение?..

Фанхас смотрит в темноту, в зеленые маслянистые тени. Никто не ползет к его ногам. Он опускает мохнатую бровь. Сегодня ему приснился ночью ребенок. Мальчик, лишенный срама. Он страшно кричал: просил не увозить его из города. А хозяин все пытался напугать его своей мохнатой гусеницей-бровью. Проснувшись в поту, Фанхас долго лежал, возмущенный непослушанием мальчика из сна, и пытался вспомнить его лицо. Не вспомнил. Сколько их, детей, прошло за эти годы через его руки! — покупал мальчиков у родителей, оскоплял, продавал в Багдаде; покупал девочек у родителей, учил танцам, ласкам и ткать ковры — продавал в Кордове. Детские лица смешивались, не запоминались. Слишком их было много... Вот и мальчика из сна тоже не вспомнил. А мальчик смутил его... Ничего, он теперь, перебивая дурной сон, хорошенько развлечется с Блудницей!

Фанхас смотрит в темноту и сам идет ближе к паскуднице. Он спешит. Он подумал, что, может быть, и хорошо, что темно, — срамные дела легче делаются в темноте:

— Почтенная, мудрейшая! Решайся же скорее! Я не постою за подарками. Мне нужно твое благоволение!

Фанхас говорит: «Благоволение!», и его голос замирает, а грузное тело само становится на колени. Почему даже и не встать на колени перед женщиной, если хочешь ее соблазнить, если ее благоволение принесет ему горы золота?..

Распахнутый халат Фанхаса зацепился полами за ножку светильника, сальные шары его тела вывалились из ремней, ему трудно дышать. Он ползет ближе к женщине:

— Благоволи!

Но слышит в ответ только пугливое, сопящее молчание. Неужели обманул Фанхаса рыжий иша Иосиф Управитель?! И Иосифова Блудница не хочет оказать Фанхасу благоволение. На Фанхасовы деньги в иноземье закупленная, на его деньги (откуда у Иосифа Управителя свои?) обряженная, вскормленная, который год в безделье толстеющая, она строптивится. Одурела, как девка на выданье, как полюбовница без соперниц, как...

— Тебе не дал хлеба иша Иосиф — я дам. Благоволи!

Фанхас ползает на коленях. О, знали бы, какая пытка самому на коленях волочить по полу свой жир! Но кажется, уже взошло солнце, потому что народ ломится в двери галереи, напирает на двери разгулявшийся народ. Теперь вот тоже к Блуднице рвется. Хочет в сраме Фанхаса застать.

Фанхас слышит, как за дверьми, не переставая в них колотить, громко обсуждают новость:

— А амбары вчера не разграбили. Стражники от кабар отбились.

— От каких кабар?! Забулдыги к амбарам рвались, псы нищие, ни одного порядочного воина. Вот арсии их легко и разметали.

— Сегодня не отобьются. Сегодня весь народ попрет — все Харан, Свободные Люди.

— Да где у нас Харан? У нас все тутгара — прислуга. Вот драться и разучились. Амбары у стражников отбить не смогли...

— Тсс! Не подзуживай... Вон соглядатай рядом. Живо на дыбу угодишь...

— А я что? Я ничего!

И уже другие идут разговоры, Весне более приличествующие, хоть и не очень скромные. Про него, Фанхаса.

— Ой! Слушайте все! Великое событие... Что происходит?.. Блудница сподобилась — самого Гера Фанхаса-работорговца приманила.

— Ой, люди, пойдем посмотрим, как она с ним! Откроем двери!

— Ай, горожане! Возвеличивается наша Блудница — самого Гера Фанхаса принимает. Лучшими девушками мира он, Рахданит (Знающий Пути), торговал. Торговал — ни к одной не входил. Берег свой товар для покупателей! Себя берег! А к Блуднице — не удержался, вошел.

— Ой, не говорите! Творится-то что! Светопреставление! Не выдержал почтенный человек. Единственное утро у Рахданита было в году, когда базары позакрывали. Уж мог бы спину разогнуть, себе праздник сделать!

На деньги свои в свое удовольствие посмотреть! Все ведь знают, что деньги заставляют любое сердце радоваться, и потому именно таким путем быстрее всего достигается удовольствие и веселие. А он к Блуднице... Ворвемся? Посмотрим, как она с ним?

— Ой, люди, какая честь и доходы теперь для Блудницы пойдут. Кто теперь, скажите, из горожан, себя уважающих и средства имеющих, Блудницу стороной обойдет? Теперь всякий вслед за Фанхасом захочет себя показать — у Срамницы, подобно самому Геру Фанхасу, благодетелю города нашего, побывать: невесте службу любви оказать! Все, все теперь достойные люди Города вслед за Фанхасом к устам невесты сладостной приложатся. Вот ей доход-то!

— Ах, люди. Ведь сподобилась, воистину сподобилась Блудница! Ни у кого нет столько отменного вкуса и наблюдательности, сколько у Гера Фанхаса. Уж если он ее прелестями соблазнился...

— Ах, люди, истинно, что только тому, кто оценивает человеческую породу как товар, дано понять женщину.

Гер Фанхас вслушивался в эти разговоры и понемногу успокаивался.

Он еще вчера, пока не вошел к Блуднице, а только собирался, как подобает предусмотрительному хозяину, заранее оплатил все эти возможные пересуды, сейчас ведшиеся в толпе. И, видать, деньги на сплетников выкинул не зря. О нем язвят с почтением, а это уже коечто, потому что шаг, на который он сегодня решился, мог стать для его положения роковым.

Однако другого случая для того, чтобы попытать счастья с Блудницей, Гер Фанхас боялся, что не представится, что не будет ему другого случая самому к Блуднице решиться пойти. А сейчас...

Голый Дэв, знамения и слухи в городе. Непогребенный лежит, пока идут праздники, христианский епископ. Арс Тархан, в горе по оскверненному сыну отрешившийся от соблюдения порядка и только кидающийся золой во всякого посетителя. Сожженный двор смутьяна Вениамина — как надоел Фанхасу этот ремесленник, явившийся к нему, купеческому старосте, с его вечными жалобами-просьбами на Рахданитов от имени всего черного люда! Наконец, сейчас затруднительно положение самого ини Иосифа Управителя, который теперь уж и рад бы открыть один-другой амбар и облагодетельствовать народ небольшой подачкой хлеба, да боится, что время свое упустил, что теперь, чуть уступи, все разграбят.

Нет, именно сейчас можно было рисковать и идти нахально на глазах всего народа к Блуднице. Давно он мечтал. Давно хотел. Теперь пусть его с Блудницей видят. Стерпят!

Вот и не выдержали двери. Подались. Хлынул свет в двери, хлынули за светом зеваки в галерею. Ну что же! Смотрите на девку все! Он, Гер Фанхас, будет смотреть вместе со всеми. Он тоже теперь не прочь хорошенько рассмотреть отказавшую ему Блудницу...

— Люди! Вы слышите? Я предлагал ей хлеба. Много хлеба, чтобы она могла накормить в праздник всех вас. А она отказалась! Ах, какая она неуступчивая, люди!

Фанхас громко засмеялся, вспомнил, как, словно проценты от займа, сулил вчера ише-Управителю Иосифу пользу от своего посещения Срамницы: «Я тебе, Иосиф, — объяснял он Управителю, — разговоры в народе полезные про твою Блудницу-срамницу, в цене ее повышающие, — а ты уж мне за то ее саму на одно завтрашнее утро с потрошками — наставь ее, чтобы моя, беспрекословно, на это утро была и меня ублажила. Я твою Девку своим посещением-почтением обласкаю, да еще и гостям заморским путь к ней покажу, а она пусть мне...» Теперь вот люди его у Блудницы застали, а он что получил?..

Фанхас поднимается на три ступеньки. Все же удобно, что есть тут три ступеньки! Фанхас сощуривается. Он будет теперь оглядывать Блудницу, как на базаре, — по частям, неторопливо.

Вот она! Святая Блудница сидела, опустив седые головы. Как положено Правилами, сидела: рядами — по десять чинов на скамейке. Завитые бороды между колен, стриженые затылки под черными шапочками, длинные волосы на висках — и на всех лицах отрешенность, как подобает при внутреннем разговоре с богом.

На первой скамейке — семь Реше Коллет (глав ученого собрания) и трое Хаберим (доверенных товарищей).

За первой скамейкой проход. А за проходом еще семь скамеек с семьюдесятью Аллуфим (учителями). От каждой скамейки с Аллуфим по представителю на первой скамейке — семь Реше Коллет.

Ну а в ногах у Аллуфим, как положено, ученики. Лежат, учителей и порядок лицезреют — учатся.

Фанхас ухмыляется: вот он скольких от своего ремесла кормит! Вот она вся святая Блудница — по частям и вкупе.

Правда, есть у нее еще и парадное (не обиходное паскудное, но это вот, каким ее привыкли называть купцы на базаре и между собой!) имя: Академия. Однако Академией в городе ее никто не зовет — только женщиной. Ну, если хотят весьма польстить, то третьей женщиной. Впрочем, и в иноземье все имеющие деньги люди тоже иначе, как своими женщинами, давно уже духовные академии не называют. Получат от нее удобное толкование: «Наша женщина!» Обидятся: «Блудница!»

Первая женщина — для них Сура. Вторая — Пумбадита. По именам местечек под Вавилоном, где они расположены. А эта вот новая, свежеобряженная, еще, по чести говоря, не очень-то законная — третья. Но на нее сейчас у таких, как Фанхас, вся надежда. Те-то две первые женщины — как гробы повапленные. По семь столетий каждой. Чего от них ждать? Какого понимания нового времени? Их и Блудницами-то уж только по памяти называют. Как применил когда-то охальный Анан, основатель караимской ереси, притчу Захарии-пророка про двух распутных женщин, что принесли свой грех под Вавилон и там воздвигли греху седалище, — так и осталось за Сурой и Пумбадитой хлесткое «Блудницы!», а коли помягче — «Женщины!». Увы, падки на едкий юмор верующие в Неизреченного. Ради острого слова отца родного не пощадят и богословов тоже.

Но Блудницы — а однако вот нужны даже таким разумным и дельным, деньги делающим серьезным людям, как он сам, Гер Фанхас, или какие другие уважаемые Рахданиты-купцы, потому что эти Блудницы толкуют божии Правила и помнят Уложение Старых Законов. Дают выписки и деловые «справы». Справляют свои духовные подписи с ручательством за верность Талмуду (Устному Учению).

Блудницы! Но от них одних в сомнительных случаях можно получить разъяснение, что праведно, а что не праведно. Получить Благоволение — «справу» о соответствии данного дела божьему закону; обряда — Левиту, свидетельства — Завету.

Фанхасу хочется сплюнуть, но даже он не решается сплюнуть в галерее храма. Он проглатывает слюну. Он только хмурится. Он видит, как прыгают в сторону глаза

семи Реше Коллет, почтенных глав ученого собрания. Он знает, что в них вся заноза. Семьдесят Аллуфим — те не думают, те стараются по спине, по затылку своего Реше Коллет догадаться, с каким мнением надлежит выскочить. И еще у Аллуфим каждый за руку свою боится: упаси боже, забудешься да руку на голову какому лоботрясу из учеников возложишь; ведь тогда все — сразу нет уже у тебя верного служки, который тебе и одежду чистит, и дом прибирает: возложил руку — значит, что одобрил ты ученика, признаешь, что он науку прошел и может на две самые задние скамейки бежать, там клиентов подбирать, палец свой к распискам прикладывать, за тяжбы браться.

Фанхас еще раз обводит глазами Реше Коллет. Каждому из них, на Иосифа не перенадеявшись (хоть и взял Иосиф с Фанхаса сполна якобы для каждого из них!), вчера еще сам он хорошие подарки послал. Кому напомнил, что в своем купеческом караване его из нищей Суры привез. Кому — что деньгами на переписчиков ссужал. А Вениамину-ремесленнику, еретику, так и то, что купил сына у него, когда тому совсем продавать нечего было, — на обзаведение хозяйством за купленного мальчишку ссудил. Уж Вениамин-то должен быть благодарен. Сейчас двор у него сгорел за грехи его. По городу стражники его ищут, а он нахально в Академию приперся восседать. Но, может, и правильно сделал — здесь ему на виду всего безопаснее. Здесь уже вроде и трогать его нельзя. Но вот как ему дальше быть? Как жить? Кто ему на новое хозяйство ссуду даст? А он, Фанхас, мог бы и дочь у Вениамина ради дела доброго купить. Вон все люди говорят, что младшая Серах у него красотка — с волосами, как черный виноград. Правда, вроде как каким-то Лосем-Буланом похищена. Так можно ее у Лося и отобрать, дал бы только Вениамин на то расписку. А девушку породистую хорошо продать можно, и он, Фанхас, не в накладе бы остался.

— Ну же, поддержи меня, Вениамин! А я в долгу не останусь...

Но молчит Вениамин.

Отворачивают в сторону носы и хмуро молчат все. Понимают, подлецы, в чем благоволение Геру Фанхасу позарез надобно. Понимают, и что ни дирхема не ссудит он, Фанхас, впредь на всю блудницу-Академию без этого благоволения. А молчат все.

Видно, словесный блуд блудом: почему и не искупаться в талмудистской казуистике, чтобы получить деньги на существование Академии? Почему и не дать какую-то СПРАВУ (справить документ, выправить БЛАГОВОЛЕНИЕ БОЖИЕ к какому частному делу), если этим можно оправдать необходимость духовной Академии так же и для деловых, практичных людей?!

Однако сказано: блуди, но знай меру!

Уже не блуд словесный, а ПРИГОВОР заключен в том, чего добивается преуспевающий работорговец-прозелит Гер Фанхас. Кто ж сразу решится на приговор себе?

И вот понимают, разумеется, почтенные академики, что Гер Фанхас требует освящения новой судьбы Города-на-Реке; что освящение это (СПРАВА О РАБОТОРГОВЛЕ) лишь подведет законность под то, чем уже на деле давно стала хазарская столица; что коль торговля в городе пошла по этому пути, а город целиком теперь держится на торговле, то возврата уже нет. Однако как положить свою веру, закон божий свой к ногам алчущего зверя?.. Не прокляла бы нас память: духовных отцов, предавших веру ради Сук Ар Ракика?!

— Почтенные академики! Если вы опасаетесь, что потомки будут чернить имена тех, кто поставит подпись под СПРАВОЙ о предоставлении работорговле наибольшего благоприятствования в торговых делах, — ведь известно, что потомки не всегда справедливы к решившимся на храбрый шаг во имя пользы дела! — то вот я позаботился об уважаемых свидетелях. Из самой Кордовы прибыли к нам почтенные Абу Юсуф Хасдай ибн Шафрут — Сайарифа (банкир) и везир халифа и великий поэт мусульманского Возрождения, сладкоголосый Менахем бен Сарук — он же знаток Каббалы и древних иудейских ценностей. Вот они!..

Замерла Блудница. Все взоры устремлены на галерею для гостей. На поднявшихся и склонившихся в поклоне к Академии маленького сухонького старика с накладными пейсами — на ум и сердце «детей вдовы» Хасдая и тощего, длинного, как жердь, знаменитого певца-каббалиста, равно почитаемого как правоверными мусульманами за его духовные стихи, так и «детьми вдовы» за мистические поэтические гимны Сарука.

Знал, что делал Гер Фанхас. Удар свой наносил расчетливо и смело. Как перед такими драгоценными умами временной итильской Академии не выхвалиться?! Ведь

упомянут о решении — назовут и имя новой духовной Академии. Итильская Академия! Третья после Суры и Пумбадиты!.. Пусть даже кто-то и проклянет Итильскую Академию. Но ведь имя-то все равно будет названо!.. Академия начнет существовать в общественном мнении. Жить!..

Тихо в пристройке к Белому храму. Только колеблются фитили в плошках с жиром и пылает ярко пятисвечие над кафедрой, на которой стоит Гер Фанхас. Толст Фанхас, как бочка.

Бочка жира забралась на духовную кафедру — сейчас затопит своим жиром всех вокруг.

— Почтенная Академия! Кто готов высказаться за СПРАВУ в пользу работорговли? Я ведь не прошу у вас того, против чего закон божий. Мне только справу — подпись на деловой бумаге, которую вы справите: что нету в законе божием слов против работорговли. Можно даже устную справу... Устную!..

Но молчат академики.

Гробовая тишина, и только потрескивает пятисвечие.

Не нашлось среди мудрецов никого, кто решил бы освятить попрание человеческой свободы. Завет древен. И Мишна и Гемара писаны века назад. Тогда люди были смиреннее. А как в новое время, сейчас выдавать справу, что можно продавать человека?!

ДЕНЬ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ

Волчонок Тонг Тегин

Тихая лежала перед рассветом под бездонным небом Река, и чернела водой, отражая небесные бездны. И белые бурунчики пены бороздили ее. Как черное зеркало с белыми трещинами, была Река. И мужской голос, высокий и задиристый, одиноко пел с моста ей молитву:

О, Черная Река. Всякий может увидеть тебя
В образе прекрасной девушки...
О, прекрасная Река! О, Черная! О, добрая!
Милости прошу я, Кочевник, у тебя:
Помоги мне, тобою полюбленному,
Захватить обширные царства,
Где варят обильную пищу,
Наделяют большими жирными кусками...

А другие голоса шли с берега, где стояли в темноте кучками люди и, развлекаясь, кричали охально, не боясь прервать молитву (видимо, считая, что боги не разглядят в темноте, кто именно охальничает). Они перебрасывались словами напоказ (как будто перекидывали друг другу мяч), явно изнывая от ожидания. Они ждали развлечения. Какого? Они сами переговаривались о нем.

— Эй, это кто там на мосту? Кто повязал, как четки, свой пояс на шею, за тесьму повесил на руку свою шапку, расстегнул-обнажил грудь и кладет девятикратно поклоны?

— Ха, да это же лепешечник, у которого никого друзей, кроме тени своей, никакого хлыста, кроме скотского хвоста. Ничтожный, простоволосый человечишка! Он для голодных лепешки приносит на мост. Так тутгара теперь аж к рассвету к наплавному мосту собирается. И ждет, когда можно на мост за хлебом хлынуть. А он продает им за даник — за мелкую монету свои лепешки. А нищих иногда задаром кормит. Ничтожный, простоволосый человечишка. Быстро разорится.

Так кричали с одного места берега. А с другого:

— Эгей, кто там посреди наплавного моста среди ночи столь дерзок? Кто смеет класть девятикратно молитвенные поклоны и, будто он стоит над всеми, выпрашивать у покровительницы Черной Реки жирные куски не для себя лично, а для Всей Массы Народа? И кто он такой, что нету для него от стражников запрета по ночам болтаться на мосту?

— Тсс! Тише! Заткни себе глупую глотку, охальник! Разве ты не видишь, что там, на мосту, Тонг! Сам Тонг! Тот, который ходит весь в черном, распустив до плеч волосы под золотым обручем! О, какой ты неразумный! Как же ты не знаешь, что в нашем городе нет сейчас никого знатнее Тонга Тегина?! Видишь: он повесил себе на шею, как четки, кожаный пояс с железною пряжкой. А знаешь, что у него изображено на пряжке? Волчица Ашина между двух сопок! Это знак наследника кагана. Тонг Тегин говорит, что живет только ради того часа, когда сменит отца и на Собрании Сильных его изберут Властителем Душ. Он говорит, что как только станет каганом, так сразу закроет высокий и широкий стан свой плетеной броней, наденет на свою большую голову утыканный гвоздями шлем, а здоровенный лоб свой прикроет медной доской.

— Ха, да видел бы ты его?! Разве он воин? Разве Домокчи-болтун когда становился хорошим воином?!

— Но он говорит, как станет каганом, сразу устрашит всех врагов Степи крепким копьем из кедрового дерева и обоюдоострым мечом — тем самым, что, когда воевал вместе с полководцем Песахом, захватил в землях Русов. Он говорит, что высоко поднимет над своей головой наше знамя — медный диск, сверкающий, как желтое солнце. Говорит, что сразу созовет всех Харан — свободных людей и поведет за великой Олье — добычей.

— Ну, это для меня слишком мудро. Мне бы лепешку скорей!

Так перебрасывались словами на берегу в темноте собравшиеся кучками люди, которых пока, до рассвета, стражники не пускали на наплавной мост. Впрочем, что с них было взять? Это были голодные люди.

Небо и впрямь стремительно белело. Река под небом все еще лежала черным бескрайним зеркалом. Но уже не царила над ним огромной бесшумной совою настороженная тишина ночи, и уже не смог бы никто, хоть с самыми чуткими ушами, расслышать громкие шепоты на берегу, или разговоры на острове, или плеск крупной рыбы, или сап коня. Сова тишины была вспугнута, и Тонг Тегин, Волчонок, молившийся на мосту и слышавший о себе поганые пересуды, снял со своей шеи кожаный пояс с железной бляхой, изображающей Волчицу, запахнул на груди свой черный халат, поправил золотой обруч на своих разметавшихся длинных черных волосах и, поднявшись с молитвенных корточек, резко выпрямился.

Он не поморщился на расслышанное им, и его достойная печень не сжалась ни в уязвлении, ни в огорчении. Он погладил ладонью свои девять клоков бороды и, придвинув к себе корзину с горячими лепешками, стал прямо на пыльном мосту красиво раскладывать товар. Он знал, что голодная толпа моментально сметет лепешки, как их ни выложи. Но он был мечтатель и любил, чтобы было красиво, хоть в мечте.

Река все чернела, но теперь уже не блестяще-зеркально, а густо-матово, и, клином сходясь к горизонту, теперь стала похожа на черное платье с широким подолом, обтягивающее девичий стан. Глаза Тонга увлажнились, и желтые тонкие блики от подкатившего к восходу и осветившего край неба, но еще не вышедшего Солнца показались ему золотыми девичьими волосами, разметав-

шимися до подола. Тонг не замечал за собой, что после того, как он встретил в весенней толпе Воиславу и расстался с ней, у него теперь часто увлажняются глаза. Бывало, что ему представлялось, что она идет к нему, и он начинал ей навстречу улыбаться, и все сразу плыло перед ним, растворялось в радушном окоеме, а когда он смахивал осторожно ладонью предательскую влагу, застившую на миг глаза, на наплавном мосту уже ее не было — только стучали где-то вдали каблучками ее серебряные плесницы. Или это, может быть, был гулкий стук его сердца?!

К Реке, чем ближе к восходу, тем круче стекался туман, наползал клубами и, смешиваясь с водой, превратил все вокруг Тонга в единое молочное марево, чуть желтеющее и, как парной кумыс, будто подсвеченное изнутри.

И выглянуло Солнце, и руками мужа оно разом сняло, как чадру с лица жены, весь туман с Реки.

И в этот миг Волчонок прямо перед собой увидел Реку, поднявшуюся к нему и принявшую облик прекрасной девушки. «О, Черная Река, всякий может увидеть тебя в образе прекрасной девушки...» Тонг Тегин увидел Реку в образе Воиславы. Она подошла и протянула к нему руки. И хотела сказать: «Я простила тебе, Волчонок. Ты потерял благородное достоинство, опозорил свой великий поднебесный Дом Ашины. Но я теперь тебя душой поняла и простила. Я верю тебе, что ты отказался от борьбы за власть не потому, что ослабла твоя мужская печень, а потому, что думал только о своем народе и не хотел смуты. Просто ты разгадал хитрый замысел халифа, который поддержал тебя и возвысил, давал тебе войско и учил тебя в багдадском монастыре блеску науки с одной целью: чтобы затем бросить тебя, подобно волку в овчарню, смущать своих же сородичей, погрузить державу кочевников на десятилетия в изнурительную и опустошительную междоусобную войну и тем обезопасить границы халифата на севере и востоке. Но ты разгадал этот ход коварного халифа и предпочел собственное унижение унижению своего народа. Вот какой оказался ты благородный, Тонг Тегин. Я же, хоть и была у тебя в твоих детских играх за твою душу — Даену и за Всю Массу Народа твоего, не поняла сначала тебя — так же, как до сих пор не поняла тебя хазарская Вся Масса Народа. Но теперь я наконец все поняла и вот иду к тебе...»

Так хотела сказать страдающему Волчонку его Воислава. Но не сказала.

Протер предательскую влагу в глазах Тонг Тегин и, как всегда, уже никого перед собой не увидел. Отошла от него Река, принимавшая образ прекрасной девушки Воиславы, и легла в свое обычное русло. Тихо колыхалась в своих берегах, похожая теперь на перевернувшуюся белым брюхом вверх огромную рыбу.

А на берегах и на острове шумел, просыпался родной для Волчонка Город. Говорили про Итиль-город в халифате, что станет он скоро как Вавилон — потому что говорят в нем на четырех языках, а исповедуют четыре великие веры и, одни боги знают, сколько малых вер. И пусть еще не строят в хазарской столице башни к небу, но с каждым годом прихорашивается она, обрастает новыми домами, шатрами и юртами, караван-сараями и базарами. На хазарских базарах льется золото рекой, а у городских причалов корабли и лодки со всего света. И кого только не встретишь на итильских площадях — почитай, полгорода булгары, а сколько славян, албан, армян, мадьяр, иудеев (и не только тех тюрок, что приняли эту веру, а горбоносых «ибрим» — «пришедших из-за Реки», чьи предки еще видели Второй храм)! Всех приветил Итиль-город. Всех принял! Вот! Вот... — Тонг Тегин уже видит свой Город на солнечной ладони. Не с забором-частоколом вокруг, а с крепкими стенами. Как наконечники копий, уперлись в небо островерхие войлочные юрты скотоводов. А рядом блеснули покатыми крышами саманные мазанки виноградарей и рыбаков. Сгорбатились деревянные дома Рахданитов-купцов и чиновников. Всем вдоволь места! Как конные командиры, встали над мазанками, юртами, землянками и домами, блистая золочеными куполами и облитыми глазурью минаретами, христианские церкви и мусульманские мечети. А меж ними, весело тесня их, плюхнулись похожие на сундуки плоскокрышие дома молитвенных собраний — синагог. И повсюду на улицах и площадях, как стража, приткнулись у божьих заведений там и сям деревянные языческие идолы с золочеными и посеребренными усами и рогами. И сколько расставлено в городе, как достойных воинов, балбалов и истуканов, поставленных в честь героев — желтых из песчаника и серых из гранита. И не меньше пирамид с магическими надписями, и рядом с пирамидами лес длинных шестов, когда-то они были со

свежими кусками мяса на своих тонких остриях, тянущихся к небу, чтобы дать пищу богам. А на острове колышутся резной листвой, все в лентах и дарах, священные дубы.

Вот, встречая восходящее солнце, проснулись храмы. И идолы возле храмов не для соперничества и мести друг другу, а чтобы охранить людей, сверкнули золотом и серебром своих одежд. И люди, смешавшись в разноодежную, пеструю, по общую помыслами толпу, потекли вниз к Реке, чтобы радоваться, что вот вместе встретили весну и Новый год. Так же вместе, как вместе торгуют, воюют против недругов и платят властям подати. Люди весело вываливаются из своих жилищ и многочисленных караван-сараев (столько всегда гостей!) и уже кишат муравейниками возле базаров — понедельничного, вторничного, среднего, четвергового и воскресного, — в Новый год открывающихся все разом, невзирая на день недели (столько будет на Новый год товаров!). Люди устремятся на Сук Ар Ракик — невольничий рынок и на рынки Платяной, Ковровый, Арбузный, Рыбный и Мясной. Люди расселись на корточках в Саффах — торговых рядах, устроенных вдоль улиц, и залезли в похожие на собачьи будки меняльни. Они глазеют на юных жонглеров, лучников, арбалетчиков и борцов, а те в одинаковых одеждах и приплясывая, как положено, пересекают город, чтобы зазвать население и двинуться затем к раскинутому еще накануне огромному Хазар-Михи — праздничному шатру, в котором уже должно быть заранее готово угощение всем — от кагана.

Там люди рассядутся за угощением, и в этот момент перед ними явится так же, как солнце, сам каган. Он не будет скрываться от народа, а сегодня выйдет к своим людям. Вот так...

Волчонок так увлекся своим Городом, что попробовал шагнуть в него. И тут же опомнился. А по настилу под ногами катилась лепешка.

Тонг с трудом разогнулся и, взглянув округ себя, увидел другой Город — не только что ему привидевшийся, а весь какой-то полузарывшийся в песок и глину, приниженный, с обезглавленной вчера главной мечетью на острове (глашатаи на площади объявили, что мечеть обезглавливается по распоряжению иши Иосифа в отместку за дурное обращение с верующими в Неизреченного бога в Багдаде!), с главной церковью на острове тоже без шлемов (шлемы срезали тоже в какую-то отместку, а потом снова так и не разрешили возводить, чтобы не оказался христианский собор выше Белого храма) и с пнями на острове вместо старых дубов (святые дубы спилили, чтобы не было у Русов неопровержимого повода приставать к острову).

Из кучек народа, все еще толпившегося в ожидании на берегу, закричали, смеясь:

— Эй, Волчонок, как же ты всем нам рассказывал, что, став каганом, поведешь нас сразу за великой Олье — добычей, а сам не то что броню надеть — разогнуться не можешь?

И тут кто-то страшно съязвил:

— Ха, какой там Волчонку престол?! Он и престол под лоток приспособит, чтобы лепешками торговать...

У Тонга отхлынула кровь от лица, но он сдержался; вернулся к своему игрушечному городу и водрузил на место, предварительно обдув от приставшей пыли, беглянку-лепешку.

Доски моста закачалась, поплыли под ногами у Тонга, как на морской волне: это стражники с острова пустили народ на мост.

Услышав приближающийся топот многих ног, Тонг Тегин согнулся в полупоклоне, как положено купцу, громко закричал:

— О, Харан — свободные люди! О, почтенные Рахдониты — купцы, и ты, заморский гость! Купите у меня самые вкусные в Городе лепешки! Купите, и вы возвысите свое высокомерие, ибо только у меня можно поесть лепешек, самолично изготовленных благородными руками Принца...

Оттеснив голодных и нищих, огромная туша надвинулась на Тонга. Туша была столь жирной и крупной, что даже под халатом чувствовалось, как перекатываются составляющие ее шары сала. Лес высоких шапок тузурке (кувшинов), шитых золотом, обступил Тонга.

— О, купите лепешек! — Тонг, как положено торговцу, подобострастно подставил покупателям полу своего халата.

Он играл в торговца и оторопел, когда дождь монет-даников посыпался в полу халата. Монеты падали и Тонгу на голову, проникали за шиворот, раскатывались по мостовому настилу.

Однако Тонг не бросился жадно подбирать монеты.

Знал, что такое торговцу, раз уж он им стал, положено, но дольше он играть уже не смог. Гордость остановила его, и тогда купцы, швырявшие перед этим горстями даники, чтобы произвести друг па друга впечатление, сами не выдержали — кряхтя, стали подбирать свои монеты с настила. Даже необъятно жирная туша попыталась подобрать пару монет.

Когда все даники были собраны, Тонг, как положено, отвесил поклон покупателям:

— Берите лепешки! Товар ваш!

Жирная туша, с трудом нагибаясь, сама стала поднимать и дарить другим лепешки:

— Вот вам всем, почтенные, от моей, Гера Фанхаса, щедрости. А тебе, мой гость, мудрый кордовец, да будет длинным свиток твоей жизни, вот эту горяченькую. Клянусь всем своим жиром... хе-хе, прости, клянусь всевышним, ты сможешь всем рассказать по дороге в свою Кордову, что побывал в чудо-городе, где купцы так возвысились, что наследник кагана сам печет им горячие лепешки! Хе-хе!..

Пересмеиваясь, местные купцы повели своего кордовского гостя дальше по наплавному мосту.

Гость тоже смеялся с ними, но сквозь его смех нет-нет да прорывалось ворчание:

— Конечно, заставить принца благородной крови печь нам, купцам, лепешки — чудо! Но все-таки то ли это чудо, чтобы вызывать ради него мудрого человека из самой Кордовы?

Гер Фанхас хлопнул гостя по плечу:

— Не брюзжи, кордовец!.. Мы тебя нарочно подняли до рассвета, чтобы показать тебе созревшую ягоду при свежей росе, налитую, просвечиваемую. А к полудню увидишь, и как выжмем мы из ягоды сок. Ох, когда сдерут с ягоды кожурку, разлетятся красные брызги до ромеев и до арабов, по всей Европе содрогнутся сердца от ликования и страха — тебе же остается лишь достойно, на пользу Шехине — божественной сущности расписать деяние. Понял, свидетель? — И Гер Фанхас, страшно довольный собой, еще раз увесисто хлопнул кордовца по плечу.

Купцы прошли мимо Волчонка.

Тонг Тегин, не разгибаясь с торгового полупоклона, смотрел отходившей кучке купцов вслед. Понял ли он, зачем понадобилось купцам это представление с участием

заморского гостя? Повествователи позже передавали лишь то, что он, проводив купцов долгим взглядом, выпрямился, медленно снял с себя почетный родовой пояс с железной пряжкой, изображавшей Волчицу между двух сопок, и стал убийственно неторопливо пересыпать из полы своего халата внутрь пояса кинутые ему купцами за лепешки медные даники. Он старался делать это дело как можно более независимо, но облегченно улыбнулся, когда даники кончились. Тогда он спокойно повесил пояс, как четки, на шею, повернулся лицом к медленно всплывавшему из-за Реки Солнцу и сел на корточки.

— Люди! Голодные! Берите лепешки задаром. Купцы оплатили. Сегодня ваш хлеб.

Наплавной мост ходил под ногами ходуном: стражники пустили на мост теперь и толпу с берега. Тонг прикрыл глаза. По Тере — закону-обычаю не положено было кочевнику смежать веки при молитве: от богов нельзя, как нашкодившему псу, прятать глаза. Но Тонг уже знал, что все равно сегодня нарушит все, что положено. Он и так слишком долго смирялся и ждал, и дождался только того, что стал жалким. Однако он все-таки не ягода, на которую со смехом наступают подошвами, разбрызгивая кровавый сок!..

Волчонок чувствовал, что его обступили. И, не открывая глаз, он видел их: кто в халатах, кто в длинных рубахах, а кто и в шкуре, все с непременной серьгой в ухе, с распущенными сбившимися волосами — большинство с длинными носами и узкими, как щелки, глазами, приметным признаком смеси, наглядным приварком котла, в котором уже какое поколение варились вместе прибившиеся под руку Ашины осколки разных рас. Они еще цеплялись каждый за свою веру, за своих отдельных богов, а природа уже делала собственное дело, знай, соединяла, сплавляла их и, как тавро будущего, дарила им эти общие, одинаковые длинные гордые носы и зоркие щели глаз. Они еще оставались здесь только толпой, вот как та, что сейчас обступила его, Тонга Тегина, не Всей Массой, а только кучкой народа... Но ведь это по вине потомка Ашины! Единственно потому, что он, Тот, кто призван был соединить их под собой вместе единой, способной равно воспламенить сердце всех великой идеей, не поднял свой дух до этой идеи. Не нашел еще для них единого Солнца?!

— Ну, не бойтесь! Берите лепешки задаром! Никто не побьет вас...

Тонг Тегин вдруг резко выпрямился и широко распахнул свои глаза. Он уловил, что сейчас, в этот вот миг, взошедшее Солнце выкатит свой желтый шар, что оно пришло на наплавной мост.

И, смотря прямо в ударивший ему в глаза свет, Волчонок закричал.

Он крикнул громко и уверенно, чтобы слышали и поверили все, и растопырил локти, и повел ими вперед, как будто махал крыльями:

— У-у-у-у, Черная Река! Я, степной народ, верен тебе: обернувшись черным вороном, буду вместе с тобою подчищать все, что снаружи; обернувшись мышью, буду собирать — запасать с тобою все, что внутри. Обернусь Нембе — тонким войлоком и попробую вместе с тобою укрываться, обернусь юртовым Черисче — толстым войлоком и укрою от ветра разведенный вместе с тобою огонь. Но, однако, Черная Река, как же ты допустила такое дело, что Конь голодает? Что разбрелся туда-сюда Конь?

Тонг Тегин перестал смотреть прямо в ударивший ему в глаза свет (глаза ему нестерпимо жгло) и попробовал оглядеться, как слушают его слова. Он не увидел лиц — в глазах была еще только одна боль. Но по тому, какая настороженная тишина затаилась вокруг него — словно это рысь приготовилась к решающему прыжку, Волчонок угадал, что его очень внимательно слушали.

И он продолжил:

— У-ууу, Черная Река! Ты что-то сделала не так, лаская, как послушная наложница, лодии купцов и забывая хорошенько напоить Коня. Да и твой брат Солнце, забрав весь свет у рода каганов, теперь не знает, что своим жаром делать. Он выжигает Степь, так что скоро вокруг Еке Ордос — Великого Двора будут бегать одни бактрийские верблюды. Ты урезонила бы своего брата Солнце, о, Черная Река — покровительница кочевников?!

Глаза Тонга Тегина остыли, и он теперь видел, как испуганно и восторженно обступает его толпа. Он воодушевился. Подумал: вот, вот с чего ему сразу надо было начинать — с открытых смелых речей на наплавном мосту к толпам народа! И тут же допустил непоправимую ошибку.

Как будто развивая успех на поле сраженья, он побежал и принялся преследовать самое белое Солнце. Он вдруг побежал в пляске орла, как безумец, навстречу брызнувшим ему под ноги белым лучам, он даже замахнулся на них, изображая, будто в руке у него чичуа — длинный кнут. Он бежал в пляске орла по наплавному мосту и охально кричал, вселяя ужас в расступавшихся перед ним людей, поливая их спины холодным потом и настолько лишая сил их колени, что все люди на мосту сами собой попадали ниц.

Тонг обессилел, сам тоже упал на колени, но, махая кулаками, все кричал:

— Ууу! Белое Солнце! Как осмелилось ты отвернуть радость от Всей Массы Степного Народа?! У-уу, Солнце, не сметь дурно поступать с Конем! Это я тебе говорю. Я — Волчонок. Я Тонг Тегин — потомок Ашины Волчицы, которому само Кек Тенгри — Синее Небо доверило пасти Коня. Отдай! Слышишь, отдай мне должную силу, Солнце! Не забирай себе весь свет. Зачем тебе столько жара? Слушай, Солнце, неужели тебе не стыдно, что даже я, Наследник кагана, стал кормиться в своем Городе торговлей?! Что ты, Солнце, делаешь с Конем?! Ты разве думаешь теперь только о торгующих?! Но у них уже есть свой Неизреченный бог!

Тонг разошелся и вот тут-то и совершил непоправимую ошибку.

Он кулаком помахал Солнцу и будто плетью на Солнце замахнулся. Но он боялся, что все равно, даже и это стерпят боги и люди: уж слишком, как рабы, они стали терпеливы. И тогда с вполне холодной головой и не с пьяной, а с трезвой своей мужской печенью он, издав погромче вопль, чтобы на него хорошенько смотрели, закинул на спину полы своего халата, приспустил дотаай — штаны и публично показал великому богу свой зад.

Он поднял дотаай только, когда вокруг него, как полоснутая ножом, охнула вся толпа.

— О, Екес — предки! У нас случилось страшное: последний в роду Ашины решил оставить нас без богов!

— О, Екес — предки! Подскажите, что же нам теперь делать?! Волчонок прогоняет от нас бога!

Тонг Тегин выпрямился, потрогал свои девять клоков бороды, рванул было их, пытаясь принародно выщипать священные знаки рода. Потом снял с себя пояс с пряжкой Ашина, положил перед собой и покорно сел на корточки, как садятся отдающиеся на милость. Он не-

много посидел так, внушая всеобщий страх, потом достал маленький ножичек для сверления стрел, резанул запястье и, выточив из ранки добрую горсть крови, брызнул вокруг себя.

— Да расцветут в местах, где упала моя кровь, в мою память красные маки, — сказал он.

Он знал, что сейчас боги ли, люди ли опомнятся и расправятся с ним, и он искренне хотел самой жестокой расправы, потому что тогда бы люди о ней подробнее рассказывали и уж точно, пока сообщали подробности, пересказали бы и все, что наговорил, умирая, несчастный — злодей? герой? — Волчонок.

Тонг Тегин снова выточил из запястья целую горсть крови и снова разбрызгал вокруг себя. «У-уу! Где же это пламя, ниспосылаемое с неба, в котором я должен сгореть! У-уу! Почему не выскакивают из толпы на меня свирепые псы с бронзовыми лбами и мордами, как долото, — те, которым плетью служат мечи и которые питаются росою, ездят верхом на ветрах и во время смертных боев едят мясо людей, а в поход запасаются для еды человечиной?»

Ни пламени с неба от богов, ни псов от толпы не было на него. Солнце прикрылось облаком. А толпа отливала от него, как волна, обессиленно отступала, оставляя словно принесенные с собой камешки — гальку? пену? мусор? — лишь одинокие фигуры самых любопытных или, может быть, тех, кто не до конца понял весь ужас случившегося?

Толпа уходила, как уходит вода, чтобы оставить пустыню — мертвую землю. А он? Он кропил и кропил эту мертвую землю вокруг себя горстями своей крови. Он словно навечно помечал ее своею кровью.

Повествователи потом писали, будто бы все на наплавном мосту тогда замерли в страхе и, шныряя глазами вокруг или закатывая глаза к небу (это уж кто как!), стали ждать истукана — когда же он наконец объявится, чтобы принародно наказать отступника. И думали только о том, какой истукан сейчас чудом появится — из обтесанного или необтесанного камня, то есть друг или кочевничий враг? Про особое назначение кочевника или кочевничий враг? Про особое назначение истуканов (балбалов) кочевники знали с молоком матери. Десятки истуканов остались на великом пути кочевых орд из Забайкалья по Сибири на Алтай и дальше в сторону Урала и Итиль-реки. Грубо обтесанные глыбы

балбалов ставились на крови мщенья — они изображали поверженных врагов. А обтесанные, почти как скульптуры, воздвигались в память самих Героев. По преданию, это каменные тела для душ воинов, переселившихся на небе и ставших Екес — предками.

И вот известно всем было, что Предки ревностно блюдут с неба каждый свое потомство, свои Кош и Дом на земле, пасут свое потомство, как заботливые и строгие пастухи хорошо плодящееся стадо. А каменные тела нужны предкам, чтобы они могли сразу, как потребуется для сохранения чести рода, спуститься на землю — помочь людям в бою или освободить Всю Массу Народа от какого-то неразумного. В Великой Степи, когда люди находят неразумного с проломленным лбом, то непременно назидательно говорят, указывая другим на него: «Вот неразумный достукался! Наказал его за грехи истукан! Наши великие Екес — Предки не оставляют без наказания проступков против Закона Степи!»

Когда Тонг Тегин бросил вызов богам, то всеобщее потрясение в толпе на мосту было настолько сильным, что все с перепугу отбежали и стали оглядываться, коситься, ждать наказания свыше.

Толпа, как волна, отхлынула от Тонга. Недалеко от него оставались только немногие любопытные.

Дальше всех был Гер Фанхас со своими заморскими гостями. Чуть поближе терлась Серах. Змееволосая красавица Серах сумела выбиться в новые прислужницы к самому Иосифу и слыла теперь в городе за его коруку, то есть глаза и уши. Она была страшно довольна своим положением и даже сейчас, уж казалось бы, при таком страшном событии, забыла о страхе и только вовсю шарила глазами, стараясь запомнить все, что можно донести Управителю.

Шлума и Мазбар, переминавшиеся с ноги на ногу недалеко от Серах, были официальными городскими сплетниками. По занятию они оба были торговцами — оба держали по питейному подвалу. Но свое сплетничество они подкрепили титулом наблюдателей-за-луной, купленным у жрецов Белого храма. За луной Шлума и Мазбар после этого наблюдали даже днем и в любом помещении, проникая, куда только им хотелось, и разнося — конечно, непременно со ссылками на луну — какие угодно вести.

За спинами Шлумы и Мазбара гордо виднелись еще два «оповестителя», уже очень важных, так как они опо-

вещали один самого халифа, другой самого византийского базилевса-императора. Узкоглазый муфтий, весь в синем, стоял боком к Тонгу, будто обратившись лицом на юг, к Мекке, но взгляд его был кос и не отрывался от лица незадачливого Наследника — что-то он еще выкинет? И как вообще понимать все эти действия обладателя почетной цепи халифа, совершенно забывшего, кто ему эту цепь дарил и на чьем корабле он сюда прибыл?

А совсем поодаль в зеленых одеждах застыл, нахохлился, как зеленый какаду, новый христианский епископ Памфалон — его рукоположили в этот сан совсем недавно; он был тощ и безлик, и сейчас казалось, что за «непотребством» наследника следит не живое существо, а пустая епископская одежда.

Вот между всем этим мусором, застывшим вокруг Тонга Тегина, сотрясая своей тяжестью доски наплавного моста, и прошагал, пугая всех будто надетым на камень тяжелым воинским кожаным жилетом с железными чешуйками и железным шлемом, громадный Балбал.

И охнула толпа в едином порыве: «Достукался Тонг Тегин!» И не пытался уже никто даже и рассмотреть как следует истукана. Чего было его рассматривать, если сразу ясно было, что истукан пришел все-таки «обтесанный», то есть, значит, из стана друзей кочевников, а не врагов. И может быть, поэтому все и не удивились, что истукан не сразу ударил, низвергая ослушника богов Тонга Тегина, а вроде как грозно спросил — допросил о чем-то.

Последнюю исповедь уходившего на Небо не полагалось слушать непосвященным, и люди как-то все попятились еще дальше от Тонга, оставляя его переговариваться с истуканом. На истукана, чтобы не навлечь на себя беду, все старались не смотреть. Увидели только, как Тонг Тегин, что-то доказывая истукану, вдруг ударил себя кулаком в грудь.

И тут вдруг раздался заводивший толпу вопль кого-то из кальирку (посторонних), оставшихся недалеко от Тонга.

— Кабары! Бунтари! Бейте лепешечника! Хорошенько его поколотим! Смотрите, лепешечник даже с Балбалом пытается спорить. Ведет себя, как родич Волчицы. А какой он Волчонок?! Он лепешками торгует. Он теперь пес шелудивый! Убьем наследника! У нас есть ему замена! Разве Иосиф не достойнее его умом и обличьем?

Все сразу и не поняли, что это змееволосая Серах подзуживала. Уж очень неожиданным было, что кабар-бунтарей, которые избивали людей чужой печени, теперь призывала женщина, которая сама недавно от кабар пострадала. Однако расчет Серах, видимо, все-таки оказался правильным. Кто-то смолчал, а кто-то, пусть самый ничтожный, глядишь, и откликнулся:

— Убьем жалкого пса! Он показал зад богу!

— Убивайте шелудивую собаку, люди!

Муж Серах, заводной Арс Тархана Булан-Лось, первым подался на эти вопли ближе к Тонгу Тегину. За ним подались вперед и другие. Толпа, так же, как прежде она опала — откатилась, теперь опять забурлила, как волна, поднялась, пошла на Тонга Тегина. Она теперь шла медленно, пересыпаясь, как бархан. Взметнувшиеся кулаки, руки с ножами и плетьми. Толпа прошла и скрыла в себе, поглотила, как «камешки», тех любопытных (и не от любопытства ли закричавших?) кальирку, что оставались вокруг наследника.

Серах осталась сзади. Но все кричала:

— Пусть отлетит лепешечник! Смотрите все, как сам народ расправляется с Ашинами!

А толпа напирала. Толпа придвинулась к Тонгу вплотную: руки занесены — какая ударит первой?

Потом все рассказывали по-разному.

Одни рассказывали, что случилось чудо, и на белом облаке явилась тут к Волчонку необычной красоты Золотоволосая женщина — та, что способна рожать от желтого луча, проникающего через дымник юрты. Другие клялись, что Золотоволосая женщина прилетела вовсе не на облаке, а врезалась в толпу на орок сингула — сильной белой лошади с черной спиной. И описывали, как вдруг появился над занесенными толпой на Тонга кулаками золотой плещущий прапор, или нет — золотая женская коса на древке копья. Был такой заведен обычай еще в дни военных побед в каганате, что сам каган прикреплял золотую женскую косу к древку копья отличившегося воина, и тот нес копье в бою, как бунчук, впереди войска. Так вот сначала появилась золотая коса, а потом возникла оскаленная лошадиная морда прямо перед лицом Тонга Тегина. И белые точеные крепкие руки, ловко работая серебряной уздой, отвели оскаленную морду от Тонга, а коня резко развернули боком и отгородили тяжелым конским крупом Волчонка от толпы.

Золотоволосая теснила лошадью толпу от Тонга, затем выхватила короткую плеть и стала неистово стегать по занесенным кулакам, по рукам, сжимавшим ножи и камни. Ее удары были точны и метки, кулаки разжимались, ножи и камни попадали на землю. Затем она развернула лошадь и смело въехала между Тонгом и каменным изваянием. Она было занесла плеть даже и на истукана. Но пришедший в себя Тонг перехватил ее руку.

А Золотоволосая крикнула:

— Что, наследник кагана! Хорошо я отхлестала твою толпу! Ишь как разъярились глупые. Сами же ели твои лепешки, и сами же, как тупое стадо, полезли тебя топтать.

Щеки ее пылали от гнева. Но синие глаза уже улыбались.

— Они не поранили тебя, Тонг?

Она наклонилась с коня, обняла Тонга руками за шею, прижалась к нему.

— Ты спасла меня...

Она уже совсем отошла от гнева, засмеялась.

Волчонок, однако, попытался отстраниться от нее. Сказал:

— Почему ты появилась? Ведь ты же отвернулась от меня, когда я захотел стать простоволосым лепешечником! Разве не ты попрекала меня, что я хочу потерять свою благородную печень и опуститься до уровня презренных?! Не ты ли говорила, что скорее готова увидеть меня мертвым, чем униженным?.. Не ты ли не захотела даже видеть меня и обходила стороной наплавной мост, когда я не послушал тебя и все-таки стал лепешечником и разложил свой товар на мосту?! Зачем же ты теперь здесь?.. Не мешай мне отлететь в иной мир!.. И потом... Разве ты не понимаешь, чем ты рисковала?! Как же можно было придумать такое безрассудное — девушке врезаться на лошади в разъяренную толпу?! А если бы кто успел подколоть лошадь?.. Ведь если бы они тебя стащили с лошади — они бы всей толпой надругались над тобой здесь, прямо на месте!.. Как же можно было пойти на такое безрассудство?! Ты рисковала погибнуть обесчещенной?!

Но Воислава только крепче прижала лицо Тонга к своей груди:

— Милый! Я люблю тебя... Я никогда не переставала тебя любить. Я дочь купца, и разве для меня могло быть оскорблением моей гордости то, что мой суженый тоже станет торговым человеком? Разве в этом есть какой позор?! А отговаривала я тебя, Тонг, от торгового дела только потому, что ты — Волчонок. Ты ведь сам убедил меня, что род Ашины — Волчицы живет ради Эля; что судьба всех Волков служить Элю, всему своему народу, а другого пути для людей из рода Ашины нет. Ты ведь сам убеждал меня, что, как орлы не ходят по земле, но только парят в небе, так и ты все равно не смог бы опуститься на землю к простоволосым, что ты Небом рожденный! Ты не упрекай меня в опрометчивости. Я была сама не своя. Как услышала, что Волчонка на мосту убивают, так сразу на коня вскочила — и вот я тут!..

Тонг Тегин обнял Воиславу:

— Прости меня, моя любимая!.. Ты поступила, как поленица (богатырша). И ты спасла меня...

— Это не я тебя спасла. Это Вся Масса Народа. Ты помнишь, как мы играли с тобой, и я была за Всю Массу Народа?!

Продолжение следует



ПОЭЗИЯ

Борис КОРНИЛОВ

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЖИЗНИ

Борис Корнилов всего на 11 лет старше комсомола: в позапрошлом году страна отмечала его 80-летие. А ушел Борис Петрович из жизни, можно сказать, в комсомольском возрасте, в 1938 году, будучи необоснованно репрессирован.

«Не спи, вставай, кудрявая, в цехах звеня!» — зажигала его песня молодежь. Даже когда имя поэта было под запретом, его стихи заучивали наизусть, переписывали, ведь они были о самом сокровенном: о любви и молодости, о революции, гражданской войне, о героизме и романтизме поколения строителей первых пятилеток. С восторгом и признанием была встречена его поэма «Триполье», впервые опубликованная в журнале «Молодая гвардия».

Книги Бориса Корнилова издаются сейчас большими тиражами, а в городе Семенове около Дома пионеров стоит памятник поэту, протянувшему нам свое пламенное слово сквозь годы испытаний. Сегодня мы предлагаем читателям малоизвестные стихи поэта, опубликованные в нижегородской (Горький) комсомольской газете «Молодая рать» в 1925 году.

В. ШУМИЛИН

РАДОСТЬ

Сегодня радостно в окно
Меня лучами солнце дразнит,
А на столе моем блокнот
В какой-то выкрасило праздник.

Ну, солнце! Не махай хвостом,
Тебя теперь не так-то надо:
В блокноте красненьком простом
Лежит порадостнее радость!

И вот сейчас в груди заря
И сердце бьется, словно птица,
Мне из деревни говорят
Знакомые простые лица!

О, милый шум корявых букв
В листке простом, как шум соломы,
Я слышу вновь из гумен стук,
И дуб тоски в груди изломан!

Шумит травой былой напев,
И радость, как туман, густая,
Ребята пишут:
«Кончен сев,
Мы от работы отдыхаем!

Пропели косы на лугах,
И ты в траве не бегал с нами.
Стоят буржуями стога,
И стало тихо над лугами.

Но эта новая зима
Не забаюкает нас с вами.
    Мы члены КИМ, —
    Работы тьма,
    Полна жизнь новыми делами».

РЖАНОЙ КОМСОМОЛЕЦ

Он весь шумит разгонистою
                                        рожью:
И сердце в землю он воткнул,
                                        как нож.
При взгляде на него милее и
                                        дороже
И розовый закат,
И озорница рожь!
Рука его покосы не забыла
И мускулы руки лениво,
Но болят!

Полям нужна его ржаная сила,
И эту силу взял он на полях!
И на руках растут задорные мозоли,
Он их нашел в лугах и у межи,
И любит, любит вспаханное поле,
Чтоб в это поле силу положить!
Отец и дед сохою в поле жили,
Но эта жизнь ему совсем не то,
И вот пружинит кровь на теле
жилы,
И в голове стучит упрямо молоток!
— Эй, вы!
В соломенных фуражках хаты!
Вы!
Чья заботливая мать-земля!
Тот день замашет знаменем-закатом,
Когда на тракторе приеду на поля!
. . . .
Иные песни он поет над рожью,
И мысли твердые и острые, как нож.
При взгляде на него милее и дороже
И розовый закат,
И озорница рожь!

ИЗБА-ЧИТАЛЬНЯ

Вот с березы ветер листьев груду
сбросил
И сдувает их,
Сметает в шалаши!
Плачет,
Сетует о чем-то тихо осень,
И глаза ничем нельзя ей осушить!
Прилетело извещение от стужи:
Легкий, утренний
Задумчивый мороз!
Щедрый ветер сыплет золото на лужи
С отшумевших и заплаканных
берез!
А на улице
Все тише,
тише,
тише

В лето шумное воткнула осень
нож...
На соломенных,
На темных-темных крышах
Что-то ищет
И шумит соломой дождь!
Развернулось темноты большое знамя,
Убегает хворый день куда-то
прочь!
А изба-читальня стеклами-глазами
Поглядела на задумчивую ночь!
В той избе глаза и карие,
и в просинь,
Смеху, шуткам, словно радуге,
простор.
Пусть на улице грустит о чем-то
осень,
И сутулится заплаканный забор.
Пусть вся улица молчит, в дожди
одета,
А в домах —
Молитвы сгорбленных старух —
Нынче в вечер выпускают стенгазету
«Молодую рать» читают нынче
вслух.
Поле сжато, не шумит снопами звонко.
В поле только пустота и пустота.
А к окошкам подошел батрак
Еремка.
А потом
И сам смеялся и читал!
И теперь
Не испугаешь осень темью:
Каждый вечер оставлял Еремка
дом,
Шел в читальню, словно в ласковую
семью,
Шел, смеялся,
Комсомольцем,
Батраком!

Публикация Валерия ШУМИЛИНА

СЕМЬ

Семь лет!
И сердце уж не то,
И мы-то все не те, что были.
Но все же,
Все ж не позабыли,
Что из прошедших лет взято.
Взамен давали!
Бодро, смело,
Давали силу и себя. —
Так нужно, нужно было делать,
Всем сердцем комсомол любя!
Товарищ мой ушел на фронт,
Звеня весельем, бодрым смехом...
Ко мне он больше не приехал,
И не дружит с другими он.
Теперь:
Не страшен наш мороз,
Ветров холодные угрозы,
Мы лечим раны паровоза,
Ружейных ядерных заноз.
Эй, жизнь!
Скорей колеса двигай
По наведенному пути!
И мы плотней
Приникнем к книге,
Чтобы опять вперед идти!
Года, года!
Немного вас,
Но много в вас, и в нас так много.
И вот —
Широкая дорога,
И блещет силой солнца глаз!
На битву каждый бодро шел,
И в битвах молодость не стыла...
Семь лет прошло,
И комсомол
Стал Ленинской
Большою
Силой!

Публикация Евгения ЮШИНА



ПОЭЗИЯ

Юрий ЛОЩИЦ

КАНДАГАРСКИЕ РОЗЫ

ЧЕРНАЯ ПЛОЩАДЬ

Проклятая Черная площадь,
Тебя не отбелит никто...
(Из воинской песни)

По Черной площади мы мчали
с ветерком,
глаза от солнца и от пыли сузив.
О бешеном лихачестве таком
водители не ведают в Союзе.
Но в этот смерч не сунется ГАИ.
Скорей, скорей!.. Расчет и груб, и
точен:
плевать на столкновение в пыли,
но страшный взрыв таится
у обочин.
Опасен «дух», что из арыка вдруг
выпрыгивает, гад, с гранатометом.
А газ нажмешь, и танк летит,
как пух.
Да и гранаты лупят по пустотам.
Взорвется мина где-то за спиной.
Граната же, глядишь, торчит
в дувале.
Скорей!.. Скорей!.. Сквозь прах,
и смерть, и зной...
Ну, слава богу! Кажется,
промчали.

Но вновь над рытвинами пляшет руль,
и, как во сне, летит на нас дорога.
Пускай стволы, горячие от пуль,
на ветерке остынут хоть немного.
И так — всегда... Нет, стыдно, братцы, стой!
И мы посередине Черной встали
и, как шпана на вечер выпускной,
пунцовых кандагарских роз нарвали.

* * *

Якуб-хан угощает гостей шашлыком,
из японского термоса — чаем.
Переводчик звенит, как зурна. Но молчком
мы друг друга сперва наблюдаем.

Мы боимся отравы, желтухи и блох.
И колодец у хана ужасен.
В каждом рукопожатье мы ищем подвох,
смысл насмешливый — в каждой из басен.

У Якуба «тоёта» торчит за окном.
А «Столичная» — из Пакистана.
Мы беседу обильною лестью зальем,
тост поддержим «Дружить без обмана!».

Отдают полубредом визит и обед,
и взаимные наши обеты.
Может статься, уйдет еще тысяча лет
до начертанной наскоро меты.

Эх, детишек мне жаль! Воду бурую пьют.
Так доверчивы, так неповинны.
Завтра снова вручат им пастушеский кнут,
чтобы гнали овечек на мины.

ЧАРИКАР НОЧЬЮ И ДНЕМ

I

Часовые кричат по ночам: «Как дела?
Почему не стреляешь, эй, правый?»
И короткая очередь в горы ушла,
и ракета взвилась над заставой.

Вот и время душманам в арыках дышать
под тяжелою ношей фугаса.
Что же, значит, опять итальянская кладь
на шоссе до зари улеглася?
Нелюдимо мерцает асфальт за стеной.
А кусты Чарикарской долины
чуть колышутся, как валуны под луной,
иль накидкой прикрытые спины.
Оттого часовые кричат, и летит
рой трассирующих к арыкам.
А застава моя, как убитая, спит,
равнодушна к ракетам и крикам.

II

Птица цвенькнула? Чиркнул о крышу металл?
Не понять Чарикарской долины.
От Саланга рокочущий катится вал —
на шоссе наползают машины.
Что везете, цветастые грузовики?
Мумие или марихуану?
Автоматы в парче? Или в тесте клинки?
То известно мышам и душману.
Над асфальтом синеет бензиновый прах.
Не понять Чарикарской долины.
Только видно: мелькают мотыги в садах
да худые сгибаются спины.
Да на крыше белеет, разнежась, чалма,
как в персидской картинке старинной.
Да, игрушечные сочиняя дома,
дети голые возятся с глиной.
Ах, долина, была бы ты раем земным,
а не целью, плывущей в бинокле.
Мы в чугунных пещерах недвижно сидим.
Гимнастерки, хоть выжми, намокли.
Как же он опостылел, асфальтовый путь!
Гимнастерки твердеют от соли.
А до этих детишек рукой протянуть —
в рай земной, невозможный до боли.



Александр ПРОХАНОВ

КАРАВАН

Рассказ

Бег в противогазе... Сипло дышать.. Бронежилет на сердце... Липкое месиво... Стекла в жирном тумане... Каска стучит... Зловонье резины... Упаду, сейчас упаду... Еще продержаться... О чем-нибудь светлом... Его ненавижу... Хам и дурак... Не дам ему насладиться... Продолжаю бежать.. Нет, невозможно... Ненавижу тебя, ненавижу тебя, ненавижу...

Рядовой Фролов в противогазе, бронежилете, в тяжелых ботинках, с автоматом, рюкзаком за плечами, в котором гремели и ухали камни, бежал за сержантом Кожемяко, своим мучителем и обидчиком, видя сквозь тусклое стекло, как мелькают кроссовки сержанта, ходят на спине могучие мышцы, блестит под кепкой плотный белесый затылок. Сзади, невидимый, бежал ефрейтор Борисенков. И он, Фролов, новобранец, взятый «в клещи» двумя старослужащими, провинившийся на плацу, бежал теперь по пеклу, с разбухшим, готовым разорваться сердцем. И единственная, кипящая под черепом мысль: не упасть, не сдаться, не дать насладиться сержанту. Устоять в своей ненависти к нему.

Добежали до бани, до дощатой пыльной стены, из-под которой выходило высохшее, мыльно-белое русло. Сержант оглянулся потным, красным, торжествующе-веселым лицом.

— Левое плечо вперед!.. За мной!.. Как верблюд горб тянешь!.. Легче!.. Веселей!.. А то как чмо настоящий!..

Кожемяко побежал ровным широким скоком обратно на серый пустырь с запекшейся ребристой колеей от прошедшего танка, к свалке с пустыми консервными банками, где сидели тощие лохматые грифы.

На дальнем стрельбище в пустыне строчило, полыхало и ухало... Не упасть... Пена горлом... Слезы... В желудке боль... Красное стекло... Лопнул сосуд в глазу... Красная колея... Красный сержант... Ненавижу его... Не возьмешь, не заставишь... Был бы магазин в автомате...

Он бежал, спотыкаясь, едва различая спину сержанта. Удерживался на грани обморока и теплового удара одной только ненавидящей мыслью. Вдруг почувствовал, как сзади тронули его за плечо. Оглянулся, свернув назад мокрую маску. Ефрейтор Борисенков приложил к губам палец. Запустил в рюкзак руку, вытащил камень, отшвырнул. Топотал сзади, доставал камни, опустошал рюкзак. И Фролов, не имея душевных сил для благодарности, черпая подошвами пыль, собирался в последнюю, единственную, управлявшую волей мысль: «Ненавижу!.. Животное!.. Умру, а тебе не сдамся!..»

Обежали помойку с бесчисленными вскрытыми консервными банками и тем же путем, танковой колеей, вернулись к бане.

— Отставить бег!.. Снять противогаз!.. — скомандовал Кожемяко. — Вот теперь ты, Фролов, на человека похож!.. Теперь с тобой разговаривать можно!.. А то был чмо настоящий!..

Сплюнул в пыль, отер с белесых бровей капли пота и пошел прочь сильный, высокий, ловкий. А Фролов, стянув противогаз, жадно дышал, глотал, засасывал в сожженное взбухшее горло воздух. Рухнул в тень у дощатой стены.

Они сидели у стены. Борисенков принес в банном ковшике воду. Поил Фролова, поддерживая мокрое донце. Фролов, пережив короткий обморок, пил и не мог напиться. Наполнял желудок тяжелой прохладной влагой, и она мгновенно прорывалась сквозь поры горячим потом. Мочила, чернила рубаху. Сердце ухало, как помпа, перегоняло воду сквозь тело, выталкивало ее снова наружу.

— Он здоровый, как лось, и злой, как кобель! — утешал Борисенков Фролова. — Бывают такие люди собачьи! Но ты не бери в голову. Может, оно и к лучшему. Ктой-то сказал, Жуков или Кутузов: тяжело, говорит, учиться, зато легко воевать. Тебя еще на войну не брали, в гарнизоне держут, а скоро возьмут. Там набегаешься! Все бегом, бегом! Остановился, устал, — вот тебе пуля, получай! «Духи» знаешь, как бегают? Как козы, только пыль летит! Так что ты на Кожемяку особо не злись. Есть польза. Но злой, как собака!

Фролов не мог отвечать. Жадно пил, чувствуя, как остывает пылающий уголь в желудке. Теперь его душа

была способна к благодарности, и он одними глазами из-за краешка ковшика благодарил ефрейтора, глядя на его курносое, облупленное лицо с узкими вокруг глаз и рта морщинками. Словно тонкие трещинки разбежались по коже, когда-то сочной, румяной, а теперь обожженной на костровище близкой пустыни.

— Сейчас пей, а в пустыне с водой аккуратней, — поучал Борисенков. В его поучающих интонациях было много трогательного, добродушного. Хотелось слушать, быть рядом с ним, довериться ему, хотя был он почти ровесник Фролову, и его умудренность была знанием провоевавшего год солдата. — Мы в пустыню пошли, а с нами комбат, только из Союза прибыл, батальон принял. Так он, бедный, на бархане лежит, как рыба с открытым ртом, и просит: «Пить! Пить!» Свои фляги выпил, и мы ему наши отдали. «Простите, — говорит, — меня! Не могу! Дайте еще водички!» Глаза выпучены, вокруг рта соль выступила, одно на уме — вода. Будто спятил, ума лишился. Вдруг побежал за бархан, стал песок рыть, колодец копать. Его замполит оттаскивал, из фляги своей поил. Так что ты в пустыне с водой аккуратней!

Фролов благодарно кивал. Отставил ковшик, видя, как впитывается в землю темная капля, белеет, исчезает, испаряется на глазах. Кончался месяц его службы в Афганистане, и самым отвратительным, что он здесь познал, были гнет и преследования сержанта. А самым приятным, спасительным — эта душевная близость с ефрейтором. Тот жалел Фролова, как мог, ему помогал.

— Бывало, лежишь, как в печке, каждая песчинка тебя обжигает. Сейчас бы зарылся в песок, как ящерица. Думаешь, там, в глубине, прохладней. Встанешь на карачки, руки по локоть в песок зароешь и сидишь. И впрямь будто легче! Ты в пустыню пойдешь, прихвати с собой простынки белой кусок. Под масксетку подложишь, тогда жить можно, от солнца спасает. Тебя на войну возьмут, «секой» сделают. Будешь «секой» все вокруг сечь, наблюдать, когда караван пойдет.

Ефрейтор желал его приготовить. Отводил ему на первое время неопасную роль наблюдателя, что с вершины бархана обводит биноклем даль, не запылит ли где красноватое облачко, в котором скрывается долгий медлительный караван, верблюды с тюками, погонщики на низкорослых лошадках, или быстрая, виляющая по

пескам «тойота», в чьем кузове, в ящиках таится оружие, целлофановые пакеты с наркотиками.

Вдалеке за свалкой на стрельбище стучал пулемет, ахал, подымая огненный взрыв, гранатомет, летели бледные белые трассеры. Разведчики готовились к рейду, вели стрельбу из всех видов оружия. Заухал, задолбил частыми, твердыми взрывами автоматический гранатомет. Редко зачавкали гранаты. Фролов слушал звуки стрельбы. Знал — ему, прошедшему подготовку в тылу, скоро — в пустыню. Туда, где ночью и днем тянут караваны с оружием, и десантники выходят «на броне» в красные пески, устраивают на караванных тропах засады. Или летят на вертолетах над красной пустыней Регистан, высматривая сверху вереницы верблюдов.

— Ты, если тебя припечет и глаза на лоб полезут, думай об чем-нибудь хорошем, приятном, и тебе легче станет, — делился своими премудростями Борисенков, каждая из которых была добыта в этой душной жестокой пустыне на черте между жизнью и смертью, и теперь спасала ефрейтора, как спасает оружие, маскировочная сеть или фляга воды. — Я, к примеру, думаю об огороде, о грядках. Люблю я грядки копать. Земля у нас черная, мягкая. Лопата легко уходит. Копнешь, возьмешь кусок на ладонь, а она как тесто — пахнет, шевелится. Прямо живая! Червь в ней розовый торчит, вьется. Жучок блестящий бежит. Семечки разные проросли, корешки пустили. И вся она будто смотрит на тебя — вот она я, землица! Я люблю копать, картошку сажать, лук, горох. У меня рука легкая, все вырастает. У соседей чуть проклюнулось, а у меня укроп — во какой! У огурцов второй лист лезет! И клубника цветет! Меня растения любят. Может, я раньше растением был? Картошкой или морковкой? Они меня за своего признают!

Он засмеялся негромко. Его крестьянское облупленное лицо и впрямь в своих добрых простых чертах обнаруживало сходство с корнеплодом. Фролов был благодарен ему. Мысль о зеленой траве, о влажной прохладной земле, о дожде, моросящем над клеверным лугом, была спасительна. Заслоняла от жестокого блеска слепящих консервных банок, от тусклого зарева близкой пустыни, от громыхавшего стрельбища.

Фролов хотел поделиться с ефрейтором ответным сокровенным знанием, тем, что начинало копиться в нем за этот первый тягостный месяц. Но появился Кожемя-

ко, сердитый, энергичный и деятельный. Обращал свою энергию и раздражение на Фролова.

— Ну что, чмо, долго будешь сидеть? Или снова тебя поднять? По новой пустить в бронежилете и каске?.. На тактику марш!.. Ну, Москва, ну, сачки! Как на курорт приезжают!

Тактические занятия проходили за расположением части, там, где начиналась голая красная степь, над которой солнце горело, как бесцветный тусклый ком жара. Тактику вел взводный, старший лейтенант, построивший их всех на солнцепеке. Под каждым скопилось маленькое блеклое пятнышко тени. Тут же стоял плоский гусеничный транспортер с облупленным красным крестом, «таблетка», предназначена для перевозки раненых. Каждый солдат должен был убежать в пустыню, отрыть укрытие, замаскироваться сеткой. А комвзвода в «таблетке» станет разъезжать по степи, отыскивая солдат, оценивая их маскировку. Выходя в засаду, солдаты должны зарываться в песок. Сутками оставаться в укрытиях, прячась от душманских разведчиков.

— Разбежались! — скомандовал взводный, длинноногий, в «песочке» кофейного цвета, поправляя на груди тяжелый бинокль. — Как вараны заройтесь! Ни хвоста, ни головы не видать!

Солдаты кинулись врассыпную, отталкиваясь от маленькой тени, приземляясь на ее неотступный, следовавший по пятам островок.

Фролов бежал вверх по плоскому холму с паметенной гривой песка до тех пор, пока не перехватило дыхание. Одолел вершину и на обратном склоне быстро отрыл окоп. Улегся в него, накрывшись маскировочной сеткой. Замер, выставив автомат, чувствуя, как начинает проникать сквозь сетку ровное жжение солнца. Радовался своему одиночеству, возможности лежать одному, не слышать команд и окриков.

Шмоток песка резко ударил в лицо, едва не засорив глаза.

— Ну как ты улегся, чмо? За километр видать! Укрытие роешь или нужник? Посмотри, сколько кругом навалял! — над ним стоял Кожемяко, и в окрике его было столько мстительного злорадства, нескрываемого раздражения, желания больней уязвить, что Фролов вскочил, ожидая удара, запутав автомат в масксети.

И впрямь песок, который он выбросил из укрытия, лежал неровными кучками. При низком солнце мог отбрасывать тень, выдавая на ровном склоне присутствие стрелка.

— Разровняй! Разбросай!.. Ничего не пристает, сколько ни талдычь!

Фролов стал торопливо, униженно разбрасывать грунт, испытывая отвращение к сержанту и к себе самому за это чувство униженности, за страх перед этим сильным, грубым, властвовавшим над ним человеком, от которого не уйти, не укрыться.

Разровнял песок. Размолотил подошвами твердые комья. Лопатой, руками разметал по склону грунт. Снова залег в окоп, натянул сеть, скрываясь под ней от сержанта.

— Лежи, как камень! Чтоб гусеницы на тебя наехали, а ты все лежал! — сказал Кожемяко и бегом, легко, не чувствуя жары, тяжелой амуниции, словно созданный для этой пустыни, перемахнул через вершину и скрылся. И Фролов остался лежать, обхватив горячий металл автомата.

По кромке окопа бежал жук, черный, с выпуклой круглой спиной, бронированной головой, с металлически-черными гибкими ногами. Поднырнул под автомат. Потыкался лбом о ком земли. Обогнул его и скатился в окоп, с жары в зыбкую тень маскировочной сетки. Порыскал в окопе перед самыми глазами Фролова. Отыскал малую, оставленную лопатой расселину. Забился в нее и замер. Остывал от прямых лучей солнца. Остужал свой черный, с синим отливом котел с длинным продольным швом от надкрыльев, в крохотных мельчайших заклепках.

Появление жука отвлекло Фролова. Успокоило. Заставило забыть про обиду. Жук, малая тварь пустыни, не испугался его, нашел приют в его убежище. Поселился, доверяя ему, Фролову.

Он смотрел на близкую застывшую чернотелку, чувствуя малую, закупоренную в панцирь жизнь. Невидимое крохотное сердце. Струящиеся под хитином соки. Дыхание, зрение, слух. Жук казался ему наделенным рассудком. И если отрешиться от собственных тяжелых и горестных мыслей, от обид и страхов, от прерывистого дыхания, от ухающих ударов уставшего сердца, от жажды, от зуда в шелушащихся, обезвоженных руках, если

от всего этого отказаться, уменьшиться, сжаться, превратиться в тончайший слух и внимание, то можно угадать и услышать голос жука, его рассказ об этой пустыне, древнюю мудрую повесть.

Эта мысль показалась ему замечательной. Он подумал, что напишет письмо домой — матери, отцу, младшему брату — от имени жука. Сам придумает этот древний восточный сказ.

Воспоминание о доме наполнило его печалью, нежностью и мгновенной тоской, с которой он научился бороться. Не поддаваться ее обессиливающему, подобно болезни, действию. Не о доме будут его мысли. Не о том, что кануло, удалилось, посылает из прошлого ненужные, тревожащие воспоминания. А о том, кем он стал, в кого превратился, в кого продолжает превращаться мучительно и неизбежно.

Его первая встреча с войной, первое ошеломляющее знание, что он уже на войне. В день прибытия в эту голую седую степь, в саманные замызганные казармы, в гарнизон, обнесенный колючей проволокой, с близким аэродромом, где, врытые в землю, пушками в пустыню, стояли боевые машины пехоты, к вечеру привезли убитого вертолетчика. Несли его на брезенте, обвисшем почти до земли. Свешивалась наружу тяжелая запрокинутая чубатая голова. И в этой голове, в щеке, изорвав ее, зияло отверстие. И пока проносили убитого, он, новобранец, в зеленой, немятой, невыгоревшей на солнце форме смотрел неотрывно. Казалось, из черной дыры бьет в него красный луч, жалит, клеймит, оставляет красный ожог.

Наутро убитого вертолетчика провожали всей частью. Ухал оркестр. Склонилось знамя. Застыл строй солдат. Медленно катила боевая машина пехоты, и на ней стоял деревянный ящик, покрытый красным полотнищем. И когда проезжала вдоль строя, вместе с гарью солярки пахнуло смоляным дуновением досок и чем-то еще, душным, сладковатым и обморочным. Его первое видение войны.

И второе — через несколько дней. Группа пришла из пустыни. Боевые машины, белые, как в пшеничной муке. Лица солдат — воспаленные пухлые маски в запекшейся пыльной коросте, на которой, как дыры, мерцают и бродят глаза, открываются красные с белыми языками рты. Спрыгивали тяжко на землю. Выгружали трофейные, добытые в схватке, стволы. Гнали двух пленных

в грязном тряпье; свалявшиеся пыльные бороды, блуждающие ошалелые взгляды. У одного — замотанная, в кровавом бинте рука. Из десантного отделения машины вытолкнули целлофановые, с белой пудрой тюки — захваченный груз наркотиков. У помойки солдаты в противогазах жгли героин — белесые уносящиеся клубы.

И третье — напасть, случившееся с ним несчастье. Столкновение с сержантом, невзлюбившим его, москвича. Он, Фролов, во время занятий в пустыне вывалил на землю содержимое банки — холодную кашу с тушенкой, показавшуюся ему несъедобной. Сержант возмутился, велел подобрать и съесть. Фролов есть не стал, получив за это пинок. С тех пор сержант ходил за ним следом, ловил на любой промашке, тиранил, называл оскорбительно «чмо». И он, Фролов, уже дважды побывал на гауптвахте. Оба раза, насадив на палку тяжелую мокрую тряпку, мыл уборные, соскребал нечистоты.

И единственная, удивительная, искупившее многое отрада — Новый год. Послали «броню» по окрестностям. Четыре «бэтээра» рыскали по пустыне, пока не привезли несколько древовидных кустов, напоминавших сосну. Длинные, мягкие, лишенные хвойного запаха иглы. Установили в каждой казарме по «елке». Попросили у офицеров хвойный шампунь для запаха. Клеили, вырезали, раскрашивали. Опутывали проводками и лампочками. Наряжали елку. Под Новый год накупили в военторге шипучки — маленькие баночки «си-си». Устроили пир в казармах. Что откуда взялось? Казавшиеся одинаковыми, вечно озабоченными, усталые, раздраженные солдаты вдруг раскрылись каждый в своем таланте и нраве. И нрав этот был весел и добр, а талант — самый разный: то умение показывать фокусы, то песни, то пародия, то танец. Даже мучитель его, сержант Кожемяко, лихо, на одном дыхании пропел под гитару какую-то залихватскую самодеятельную песню, понравившуюся Фролову своей наивной бравадой. Но больше всего полюбился ему ефрейтор Борисенков с простодушным, доверчивым крестьянским лицом. Спел какие-то милые смешные частушки про козлят и девчат. Просыпаясь ночью, Фролов видел, как под тусклой лампочкой мерцает фольгой загадочное древо пустыни, превращенное в новогоднюю елку.

Теперь он лежал под маскировочной сетью, и жук-чернотелка замер, словно слушал и ловил его мысли.

Раздался негромкий рокот. Ближе, сильней. На вершине холма показалась «таблетка». Поводила носом, словно вынюхивала. Учуяла притаившегося на склоне человека. Покатила к нему. Фролов испугался, что гусеничный транспортер наедет на него и раздавит. Но «таблетка», колыхнувшись, остановилась в нескольких метрах от укрытия. Из люка вылез комвзвода. Фролов, сбросив сетку, поднялся ему навстречу.

— Молодец, Фролов, хорошо укрылся! С верхушки тебя не видать. Только вблизи обнаружил, — старший лейтенант оглядывал его из люка внимательно, зорко. — Ну что я тебе скажу! Думаю, ты привык, акклиматизировался. Я тобой доволен. Завтра беру тебя на досмотр караванов. Пойдешь со мной на войну!

Спрятался в люк и уехал, оставив на склоне слабый рифленый след. А Фролов стоял, онемев. Он знал — это должно было скоро случиться. Его возьмут «на войну» в пустыню. Но теперь, когда это случилось, он испытывал страх. Война была уже в нем, для него.

Вечером в руж-парке группа, куда был включен Фролов, готовилась к полету в пустыню.

Под голыми резкими лампами на избитых, измызганных столах чистили оружие. Разбирали, смазывали маслом, двигали в стволах шомполами. Тщательно протирали ветошью. Щелкали затворами. Не дай бог, среди пыли, песка в скоротечном ближнем бою откажет оружие. Караванщики — стрелки и наездники — стреляли навскидку без промаха.

Фролов вычистил автомат, собрал воедино простые упругие детали. Чавкнул мягко затвором. Рядом «агээсники» складывали автоматический гранатомет: ствол, станину, прицел.

Солдаты вскрывали цинки, полные зеленоватых патронов. Сыпали их на пол. Черпали, роняли. Патроны стучали о доски, проваливались, просыпались, засеивали столы, половицы. Солдаты набивали магазины, вставляли их в брезентовые патронташи, «лифчики». Туда же, в боковые кармашки, клали ручные гранаты. Снаряженные, тяжелые «лифчики» вешали в тумбочки. Ставили рядом вычищенный, со спаренными рожками автомат.

Фролова тяготило это обилие окружавшего его оружия. Его запах, цвет, таящаяся энергия взрыва и выстрела. Облезлые стены, щербатые, залитые маслом

столы, голые обнаженные лампы — и множество металлических стволов, острых пуль, ребристых гранат, над которыми склонились сосредоточенные, упрямые лица, отражая в глазах вороненые маслянистые отсветы.

Ему стало тяжко, захотелось умчаться прочь. Чьей-нибудь чудесной волей, чьим-нибудь спасительным волшебством перенестись из этого убогого, дикого, не для жизни созданного пространства, обратно, в маленькую милую комнату, где стол с гербарием, полки с любимыми книгами, атласы растений и бабочек, глобус — подарок деда, застекленное в рамке перо павлина с перламутровым чудным окошком, и он, когда просыпался утром, чувствовал на себе лучистое, зелено-синее око. Захотелось умчаться в Москву, к любимым и близким, в их любящий драгоценный мир.

Все трое — мама, папа, младший брат Петя — собрались, как бывало, в большой комнате у торшера. Петя, любитель поговорить, знаток истории и спорщик, пускается в долгий пылкий рассказ. То ли о Смутном времени, то ли о Петровской реформе, стремится обнаружить сходство эпох минувших с эпохой нынешней. Прибегает к смелым, из собственных умозаключений сравнениям. Папа щурит глаза, тонко улыбается, время от времени вставляет короткие остроумные замечания, опрокидывая, разрушая хитроумные построения Пети. И тот сердится, обижается, повышает голос, обвиняет отца в неприятии новизны. Мама пугается их спора. Упрекает отца в неумении слушать, в недобром сарказме, защищает своего младшего, умницу. И домашняя кошка Мурка, черно-рыжий пушистый зверь, следит за ними с дивана, вечный свидетель их бесед, разногласий, веселий.

Он представил эту вечернюю домашнюю сцену так, словно сам сидел среди них у торшера, глядя на маленькие цветные картинки, привезенные отцом из Бразилии — карнавальные шествия, танцовщицы самбы, белозубые гибкие мулаты. Будто сам слышал их голоса, участвовал в их вечерней домашней встрече.

Но сам-то он был не с ними. Сам-то он был здесь, в этой обшарпанной комнате с лязгающим, стучащим оружием. И завтра ему «на войну». И он может «с войны» не вернуться. И все, что суждено ему видеть в его последний вечер, — это грязные, залитые маслом столы, медные пули, поцарапанный кулак «агээсника». И как

они там, под торшером, в милом уютном доме могут говорить о чем-то постороннем, ненужном, когда у него здесь — последний вечер.

Он испытывал тоску, ропот на них, отдавших его в эту жестокую жизнь. Отмахнувшихся от него. Посылающих его завтра в пустыню.

Сидел у стола перед горстью патронов, забыв набить четвертый магазин. Недвижно, горестно смотрел на медные точки пуль.

— Ну, ты что, заснул! — вырос перед ним Кожемяко. — Нерадивщина, огурец зеленый, долго будешь копаться?

Протянул руку, дернул его за ворот. Фролов испуганно отшатнулся.

— Да не мотай ты башкой!.. Патрон зашил? Патрон, говорю, похоронный зашил?.. А ну давай живо вшивай!

Под зорким непреклонным взглядом сержанта Фролов расшатал в автоматном патроне пулю. Вынул ее. Высыпал горстку пороха. На длинном лепестке бумаги написал: «Фролов Виктор Геннадиевич», и затем — воинскую часть и солдатский номер. Свернул лепесток в тонкую трубочку. Всунул в патрон. Нажимая на стол, сжал горловину патрона.

Такие патроны с именем и солдатским номером вшивались в ворот рубахи. Не сгорали в огне. Служили для опознания убитых.

— Давай набивай магазин! А патрон зашей, понял! Проверю!

И пошел вдоль столов, высокий, ладный, покрикивая, похлопывая солдат по спинам.

До отбоя оставались минуты. Ребята толпились в казарме. Трещала печка. Запах дыма глушил, отбивал устойчивый дух казармы — пота, одежды, гуталина, хлорки и чего-то еще, дурманного, исходящего от саманных потресканных стен.

Фролов стоял у казармы, глядя на темное звездное небо. Низкий, тонкий, как обрезанный ноготок, полумесяц сверкал над степью. Поодаль под лампочкой стоял комвзвода с другим офицером, замполитом. Оба высокие, длинноногие, как на ходулях. Курили, тихо посмеивались.

— Вызывает сейчас разведчик, доводит разведданные. Говорит — идет до сотни верблюдов. Оружие, наркотики... Замочите, будет чем отчитаться! — посмеивался

замполит. — А я молчу, думаю: «Ну ты сказочник! Знаем твою сотню верблюдов!»

— Точно сказочник! — вторил ему комвзвода. — Если он тебе нарежет квадрат, лучше туда не лезь, пусто! Лети в противоположную сторону, может чего и замочишь!

Они разом кинули сигареты, затоптали и ушли в темноту.

Фролов удивлялся их беззаботному смеху, их безразличию к завтрашнему рейду. Разве можно быть столь равнодушным к этим разноцветным, высоким звездам, к этому блестящему небесному серпику, к остывшему ночному воздуху, которым так сладко дышать.

Он вернулся в казарму. У печки на табуретке сидел Кожемяко. Бренча на гитаре, пел бесшабашно, лихо, закатывая глаза, потряхивая головой, накрывая струны огромной ладонью. Словно ловил в нее умолкавший звук и снова теребил, дразнил, выпускал на свободу.

Идут караваны,
Везут из Пакистана
Оружие для «духов» и еду.
А мы сидим в засаде,
И спим при автомате,
И ждем, когда команду нам дадут...

Фролов, мгновение назад помышлявший о смерти, вдруг остро почувствовал, как неприятен, отвратителен ему Кожемяко. Весь, со своим сильным, тупым, предназначенным для силового воздействия телом. С покатым лбом и выпуклыми надбровными дугами, под которыми то открывались, то закрывались влажные воловьи глаза. И как фальшиво, с хрипотцой, с надоевшими интонациями поет свою абракадабру. И все, из чего тот состоял: плоть, звук, запах, тупая жестокость, властолюбие, лукавство — все было отвратительно. Собранное воедино, обнаруживало прямую противоположность тому, что привык любить и ценить в человеке Фролов.

Не душманов ненавидел Фролов, неведомых ему и злокозненных, не «духов», вездесущих, наполнявших пустыню, грозивших завтра его пристрелить. А Кожемяко, своего соотечественника, от которого натерпелся стольких унижений и страданий, что желал ему гибели.

Он вшивал себе в ворот гильзу, как вшивают ампулу с ядом. Как вшивают смерть. «Кащей бессмертный! — усмехнулся он, втыкая иглу. — Вот она где, твоя смерть!»

Армия, призыв, учебка, месяц здесь, в афганской степи, — все это было для него как буран, нежданный, вырвавший его из родного уклада, из жизни, в которой возрос, которую знал и любил, где открывал для себя удивительные чудесные новшества, интересную работу и научное открытие, которое совершит непременно, где таилась для него светлое, приближающееся чудо — женственность, загадочная красота, готовая вот-вот проявиться в дружбе, в любви.

После школы он не попал в университет на биофак. Срезался нежданно на главном предмете, на биологии. И вот — этот вихрь и буран, метнувший его в оранжевое пекло пустыни.

Неужели все напрасно, все зря. И завтра его, милого, доброго, любимца одноклассников и родных, подававшего надежды своими познаниями в ботанике и зоологии, желавшего посвятить себя изучению жизни, происхождению живого — его завтра убьют?

— Ну что, подшил? Носи, домой привезешь на память, — Борисенков словно угадал его состояние. — Нако, подсластись! — протянул ему купленную в военторге конфету, розовый, в прозрачной обертке леденец.

Ночью Фролов проснулся от слабого прикосновения. Словно кто-то тронул его за плечо. Приподнялся — никого не было. Тускло в дверях горела одинокая лампочка. Под нею дремал дневальный. На двухъярусных койках спали солдаты, кто на спине с открытыми громко дышащими ртами, кто уткнувшись с головою в одеяло. Сумрачная казарма с догорающей печкой была наполнена солдатскими сновидениями, колыхавшими мрак.

Он поднялся и, накинув рубаху, сунул в ботинки босые ноги, проскользнул мимо дневального наружу. Холодный чистый ветер охватил его. Глаза, освобождаясь от сна, широко раскрылись, и, казалось, в них необъятно ворвались звезды. Вспыхнули, заняли свое место на сверкающем ночном небосклоне.

Он стоял, привыкая к холоду, к блеску небес. Его глаза начинали улавливать прозрачное, едва заметное сияние, исходившее то ли от темной земли к небесам, то ли ниспадавшее от звезд к волнистой близкой пустыне. В воздухе слабо колыхались, двигались прозрачные лопасти света, розоватые, нежно-зеленые, словно колебались прозрачные одеяния, бесплотные духи летели в ночных небесах.

Это были духи пустыни. Они излетали из остывших барханов, тянулись ввысь, реяли, уносились от земли в мироздание.

Он чувствовал, как нарастают восторг, ликование. Он был свидетелем чуда. Чуда пустыни, выпускающей в небеса своих духов.

Небо было живое, в разноцветном сиянии жизни. Эта жизнь, пронизывая мироздание, была тем дыханием, что сотворило его. Живой, сотворенный, он нес в себе бесконечное, безымянное, наполняющее мир дыхание, которое было всегда изначально. И все, что существует, и все, что исчезло и было, и что еще народится — все связано с этим дыханием. И нет, и не может быть смерти, а есть только вечное творение, вечное пребывание в этом бескрайнем дышащем мире.

Его недавние тоска и страхи исчезли. Он не боялся смерти. Не верил в смерть. Чувствовал ее, как краткое заблуждение, затмение, его дух прозрел, и он видел разноцветное сияние мира, бесконечное зарево жизни. Любит, благословляет, верит в свое бессмертие.

Вернулся в казарму мимо сидящего, клюющего носом дневального. Лег под одеяло, и последняя мысль перед тем, как уснуть: «Люблю!.. Никогда не умру!»

Утром, на взлетной площадке, где готовились две вертолетные пары, их выстроил командир. Расхаживал вдоль строя, внимательно, зорко осматривал амуницию, оружие, плотную, стянутую у щиколоток форму-«мапуту», «лифчики», рюкзаки, головные уборы, разноцветные легкие кроссовки. Негромко, спокойно давал наставления.

— Ты, — говорил он пулеметчику, уставившему в землю приклад ручного пулемета. — Как выйдем на караван, обходи его с тылу, занимай позицию на обратный след. А то всяко бывает! Подойдет подкрепление, арьергврд, ты его возьмешь на себя!

— Вот молодец, — говорил он другому пулеметчику, чей магазин был обшит кусками мягкого войлока. — Теперь у тебя порядок, тихо, не гремит. А то в прошлый раз за сто метров тебя слыхать. А сейчас — молодец!

— А ты давай побегай, — говорил он автоматчику. — Как пойдем из-под винтов, ты на караван не иди, а по-

бегай вокруг метров на триста, порыскай! Может, они побросали оружие. Ты его пошукай, понял? Они вертолет далеко слышат, успеют оружие спрятать!

— А ты, — командир подошел к Фролову. — Кроссовками обзаведись. В ботинках тяжело по песку. Да и след остается, как от танка. «Духи» следы хорошо читают! Ага, советский солдат пришел!.. А ты кроссовочки нацепи, и легко, и ноги дышат, и никто тебя не отметит!

Командир взвода был высокий, с белыми усиками, спокойными голубыми глазами. Фролов верил ему, отдавал себя в его власть. Заставлял себя думать, что комвзвода, опытный, сильный, спокойный, сделает все им на пользу. Сбережет их жизни. Только нужно точно выполнять его волю, подчиняться ему.

Они разделились надвое, и одна группа, возглавляемая комвзвода, пошла на дальний вертолет «ми-восьмой», и Борисенков подмигнул на прощанье Фролову. Вторая группа, где был Фролов, под командованием сержанта стала грузиться в ближнюю машину, у которой стояли пилоты в пятнистых комбинезонах, с короткими автоматами.

Расселись на лавках. Аккуратно уложили оружие на пол, стволами к хвосту. Пулеметчик раскрыл у вертолета кормовой люк, где на турели был установлен пулемет. Стал его поворачивать, проверяя подвижность турели.

Сквозь квадратный люк Фролову было видно зеленое аэродромное железо и в отдалении две «двадцатьчетверки», готовые к взлету.

Солдаты сидели в сумрачном нутре вертолета среди круглых иллюминаторов. Фролов рассматривал их, столь разных, с несхожими лицами, с неповторимым правом, зачехленных в одинаковые серо-зеленые «мапуты», собранных в металлическое чрево машины для общего, грозного, кем-то вмененного дела.

Два армянина-«агээсника», оба пылкие, обидчивые, выступающие всегда заодно, вечно вместе, говорящие друг с другом на гортанном звучном наречии, нежные друг к другу, иногда вполголоса запевавшие тягучую, сладостно-печальную песню, увлажнявшую им обоим глаза.

Белорус-пулеметчик, долговязый, медлительный, работящий. Тугодум, не сразу, не с первого слова понимающий приказ или просьбу. Равнодушный к насмешкам

и шуткам. В краткое время отдыха достает неоконченное начатое бог знает когда письмо, укладывает перед собой наполовину исписанный лист и долго думает. Молчит, вздыхает, прежде чем внесет в письмо еще несколько неведомых слов.

Другой пулеметчик-мордвин, белесый, почти седой. Смешливый, дурашливый, готовый улыбаться по каждому поводу, даже в строю, даже на серьезную речь командира, будто смысл наставления, переиначиваясь в его голове, складывался в какую-то забавную шутку. Но однажды ночью он кричал и плакал во сне, и белесое безбровое лицо его было в слезах.

Сапер-увалень из Донбасса, по-медвежьи сильный, верткий, ловко орудующий ломом, лопатой. Ворчливый, грубый, дающий отповедь даже сержанту. Наколол себе на груди прыгающего свирепого барса. Однажды спал после ночного наряда, и в казарму сквозь щель залетел зайчик солнца, упал ему на лицо, на губы. Сапер во сне улыбался, чмокал губами, целовал зайчик.

Фролов видел их всех, любил, дорожил их соседством. Был благодарен за то, что приняли в свое братство и он не один в этой грозной, загадочной, предстоящей им всем работе.

Пилоты вошли в машину. Расселись в кабине. Борттехник пересчитал всех сидящих. Вытянул трап и задраил дверь. Заработал винт. Вертолет качнулся, взлетел. И глядя, как проваливается вниз зеленое железное поле, и проносится врытая «бээмпэ» охранения, отлетают в сторону саманные с красными флажками казармы, Фролов вдруг остро, обреченно ощутил, что их всех подхватила слепая, могучая, сверхчеловеческая сила, повлекла в туманную красноватую даль.

Когда взлетели и низко прошли над кишлаком, над лепными ячейками дворов, ломтями плоских кровель, клетками глинобитных дувалов, лоскутами маленьких зеленых полей, он все ждал удара и выстрела, тупой пулеметной очереди, прошивающей борт.

Когда косо летели над плавнями, над сухими гривами тростников, над пятнистыми разводами солончака, он все ожидал, все страшился быстрого жалящего взлета ракеты, взрыва в кабине, падения в огне и скрежете.

Когда нависли над старой крепостью, напоминавшей глыбу засохшей глины, отекшую от дождей, иссеченную и иссушенную ветром, он все искал зенитную установ-

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал ЦК ВЛКСМ



Основан в 1922 году

Москва, ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия»

В НОМЕРЕ:

ку, ее дергающийся в пламени ствол, разрушающий, вертолет, перемалывающий в небе их тела, шпангоуты, стекла.

Но когда машина взмыла выше в бесцветное небо и земля отодвинулась, потянулись лишенные всякой жизни холмы, он понемногу успокоился. Мускулы, ожидающие удара и боли, расслабились, дыхание стало ровнее, и он, прижавшись к иллюминатору, стал смотреть на пустыню.

Рядом летел второй вертолет, «ми-восьмой», пятнистый, с красной звездой, роняя на землю тень, волнисто перетекавшую по голым холмам. В этой машине сидела часть группы, возглавляемая взводным. Иллюминаторы слепо отражали солнце, и лиц не было видно.

Дальше и выше летел «ми-двадцать четвертый», похожий на рыбу, с пузырями кабин, с черной пушкой. То отворачивал, отлетал, углубляясь в пустыню, то вновь, порыскав, возвращался, занимал свое место в строю. Где-то с другой стороны летела вторая «двадцатьчетверка». Широким строем, загребая, процеживая пространство, вертолеты углублялись в пустыню. Фролов чувствовал их мощное согласованное движение, в котором и ему было уготовано место.

Внизу тянулась монотонная, пепельно-черная равнина, слегка бугристая, с выпуклыми лбами гранита, в котором вдруг разом, при наклоне машины, вспыхивали бессчетные блестки слюды, словно землю кропили влагой. Он ловил зрачками эти крохотные взрывы солнца.

На темной степи стали возникать круглые светлые пятна, словно лунки, наполненные белесым веществом. Фролов не мог понять их природу, разглядывал ровные, испятнавшие пустыню круги, похожие издали на фарфоровые чашки. И вдруг понял, разглядел, что это груды песка. Казалось, какое-то существо, деятельное и упорное, равномерно буравило землю, и сквозь скважины на поверхность изливались, пересыпались чистые бело-золотые пески, таившиеся в изобилии под черным чехлом пустыни. Это удивляло и волновало его — незнакомый, непривычный лик земли

Окончание на стр. 193



СУВОРОВЦЫ



В музее училища.

ДВЕ ЗАСЛУЖЕННЫЕ сорокапятки, подобно сфинксам, стоят у входа в Калининское военное суворовское училище. Они не выполняют охранных функций. Это — символ того военного сорок третьего года, когда впервые переступили порог только что созданного училища дети воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Если бы эти старые, заслуженные сорокапятки могли говорить, то, вероятно, вспомнили бы они и яростные танковые атаки немцев под Москвой, и бои за Калинин, где, может быть, снаряды к ним подносили мальчишки, сыновья полка, ставшие затем суворовцами. Вспомнили бы они и первую колонну учащихся, построенную для участия в Параде Победы на Красной площади. Вспомнили бы и молоденького суворовца, а ныне Героя Советского Союза, командующего ограниченным контингентом советских войск в Афганистане генерал-лейтенанта Б. В. Громова, Героя Советского Союза воина-интернационалиста, старшего лейтенанта В. В. Задорожного и многих-многих безусых мальчишек, а теперь заслуженных военных, носящих генеральские погоны и имеющих ученые степени.

Пройдем мимо сорокапяток и заглянем в кабинеты и учебные классы сегодняшнего училища.

Начать, вероятно, надо с того, что это военное учреждение, хоть и обучаются здесь подростки 15—17 лет, с чисто армейским распорядком и дисциплиной. Чистота везде. Учащиеся опрятны, подтянуты. А ведь это лишь самая первая ступенька на долгом военном пути. Нянек здесь нет. Учащиеся все делают сами. С непривычки, оторвавшись после восьмилетки от родного дома, бывает трудновато, но умение, если можно так сказать, обслужить себя приходит довольно быстро и становится второй натурой.

Мы поинтересовались периодом адаптации новичков, сразу оторвавшихся от семьи, от гражданки в переходном, как принято называть, возрасте. Оказалось, адаптация проходит довольно легко. Часто даются увольнительные в город, устраиваются всевозможные экскурсии. Кроме того, после каждой четверти — каникулы, и отличники дополнительно к ним получают лишние три дня. Родные тоже могут приехать навестить сыновей в училище.

Встречает нас начальник училища полковник Дмитрий Макарович Конопля. В его статной фигуре и добром лице есть что-то располагающее к себе. Судя по его разговорам с суворовцами и офицерами-воспитателями, чувствуется, что уважают его здесь не за полковничьи погоны, а за человеческие качества, за талант руководителя и воспитателя.

— Я не хочу навязывать вам свою точку зрения,— берет «быка за рога» Дмитрий Макарович.— Сейчас дадим вам сопровождающего, чтобы вы не заблудились. Походите по училищу, составьте свое представление о нем, а уж потом я охотно отвечу на любые вопросы.

На наши робкие возражения — мы хотели бы сначала получить хоть какую-то информацию — он ответил:

— Все разговоры потом. Вдруг вам не понравится у нас и вы будете потом нас ругать! А я перед этим расхваастаюсь. Не выйдет... Будете ругать — ругайте, только спасибо скажем. Со стороны оно виднее.— Дмитрий Макарович улыбнулся.— Начинайте экскурсию!

И мы отправились в путешествие по училищу, которое, надо сказать прямо, нас быстро увлекло.

Было время завтрака. И знакомство с училищем началось с комбината питания. Именно с комбината питания (а не просто столовой), расположенного на нескольких этажах. Здесь совершенно правильно считают, что завтракать, обедать, ужинать суворовцы (а их немногим более 600) должны одновременно, а не посменно. И что еще поражает — нет, не чистые скатерти (чистота — обязательное условие училища), а крахмальная салфетка за воротником и умение правильно пользоваться столовыми приборами. Согласитесь, что далеко не в каждой семье взрослые, а уж тем более подростки, могут правильно держать в руке вилку. В столовой училища царила полная тишина. Секрет открывался просто. С первых дней учебы проводятся занятия по эстетическому воспитанию. В программу входят музыка, танцы, как современные, так и бальные, пение, посещение театров, музеев, картинных галерей. К огромному сожалению, в большинстве средних общеобразовательных школ ни этикету, ни эстетическому воспитанию не обучают в той мере, в какой это необходимо.

Кстати, какая из общеобразовательных школ может похвалиться 2040 часами изучения иностранного языка за период 9—10-го классов! Таких единицы. А в суворовском училище знанию английского или немец-

кого языка придается одно из первостепенных значений. Обучение в прекрасно оборудованном лингафонном кабинете позволяет выпускнику свободно говорить на иностранном языке и, учитывая военную специфику училища, переводить специальную литературу.

Не будем говорить об остальных общеобразовательных дисциплинах — их суворовцы проходят в полном объеме средней школы. Но здесь ко всему этому добавляются и специальные дисциплины. Это, в частности, курс

Суворовец Евгений Виноградов в кабинете связи.



молодого бойца. Учащийся должен целиком освоить солдатскую школу. Выпускники училища, поступая в дальнейшем в высшие военные училища или академии, рядовыми не будут никогда. Они сразу получают должность командира отделения или взвода. А специальные дисциплины тоже не шуточные. Это прежде всего радио- и автодело. Современная армия немыслима без электроники и транспорта, будь то автомобиль или тягач, бронетранспортер или танк.

Кроме того, в обязательный курс входит работа с компьютером. Диву даешься «лихому» обращению с ним подростков, порой приехавших из такого далека, что компьютер они видели только на экране телевизо-



В комнате отдыха.

Суворовцы Михаил Яковлев (с л е в а) и Денис Агафонов.





Старший преподаватель иностранных языков майор В. Вирлов



В лингафонном кабинете. Суворовец Аркадий Молчанов

ра. Причем вводные к составлению программ даются не только военного характера, а в большинстве случаев экономического.

Нагрузки на учащихся очень большие, поэтому огромное внимание уделяется военной подготовке. Не говоря уже о том, что военный человек должен быть физически сильным и здоровым. Спортзал училища, кроме обычных спортивных снарядов (брусья, кольца, перекладина и т. д..), оборудован специальными тренажерами, позволяющими снять умственную усталость.

Наша экскурсия по училищу подошла к концу, и мы, вроде бы привыкшие ко всему, слегка «подвыдохлись» от впечатлений, обилия информации.

— Что скажете о нас! — спросил Дмитрий Макарович, встречая нас у своего кабинета. И, увидев вместо ответа поднятый вверх большой палец, заулыбался: — Теперь можно и поговорить... Наше училище недавно отметило свой сорокапятилетний юбилей. 19 декабря 1943 года училищу было вручено боевое Красное Знамя и Грамота Президиума Верховного Совета СССР. Этот день и является годовым праздником училища. В училище пришли мальчики в возрасте 8—13 лет. Это были дети погибших в Великой Отечественной войне. Сейчас у нас учатся подростки из самых разных слоев населения. Предпочтение отдается сиротам, учатся здесь дети военнослужащих, находящихся в отдаленных районах, дети и внуки инвалидов, впрочем, всего не перечислишь. Желающих поступить к нам очень много. Конкурс у нас после первичного отбора в военко-



Занятия на тренажере



матах и в военных округах — три человека на место. Помимо вступительных экзаменов, абитуриенты проходят медико-психологическую комиссию. Но даже после такого строгого отбора бывает отсев около пяти процентов. К большому нашему сожалению, очень мало суворовцев из детских домов. Их образование, воспитание, моральные качества оставляют желать много лучшего. И по конкурсу проходят буквально единицы.

После окончания училища суворовцам присваивается квалификация радиотелефониста, а также выдается справка о том, что учащийся прослушал курс и провел практические занятия по автоделу. Направляются наши выпускники главным образом в командные училища сухопутных войск, а суворовцы, окончившие училища с отличием, направляются по их желанию либо в академию имени Можайского, либо в Военно-медицинскую академию и другие крупные высшие военные учебные заведения.

В классе материальной части автомобиля.

Таким образом, наших выпускников можно встретить практически во всех родах войск. Немало офицеров из числа бывших суворовцев можно встретить на должностях командиров соединений, начальников пограничных отрядов, на преподавательской работе в военных академиях и училищах. Многие из них стали генералами, научными и дипломатическими работниками, занимают ответственные посты в Министерстве обороны.

Хвалиться полковник Конопля явно не любит. Поэтому нам остается добавить, что за лучшие результаты в учебе училище неоднократно награждалось Почетным переходящим призом Министерства обороны. С 1945 года училище ежегодно (кроме 1976 года) участвует во всех парадах на Красной площади.

Так держать, суворовцы!

О. ЕГОРОВА.
Фото А. ГЕОРГИЕВА

ПОДВИГ ЭСМИНЦА

ОТШУМЕЛИ степные астраханские вьюги. Наступила весна. В конце апреля 1919 года на широкой, едва очистившейся ото льда Волге появились корабли: из города выходил морской отряд Астраханско-каспийской флотилии.

По плану, составленному С. М. Кировым и одобренному В. И. Лениным, ему предстояло прикрыть со стороны моря Астрахань, чтобы не дать интервентам снабжать оружием и боеприпасами белогвардейские войска в Петровске и Гурьеве. Для этого прежде всего предстояло захватить форт Александровский с его мощной радиостанцией, через которую была установлена связь Деникина с Колчаком.

В канун первого мая флотилия получила приказ Кирова: «Приступить к выполнению операции». Корабли выстроились в кильватерную колонну и, не зажигая ходовых огней, взяли курс на форт Александровский.

Спустя несколько часов на востоке заметили мигающий зеленый луч Тюб-Караганского маяка.

На полном ходу корабли стремительно ворвались в бухту и застопорили машины под самым берегом. Светало. Чуть розовели впадины вершины гор Ак-Тау и Кара-Тау. Над водой чернели строения форта, в стороне желтел одинокий огонек.

— Радиостанция, — указал на него руководитель операции Александр Васильевич Сабуров.

— Шлюпки на воду!

Скрипнули выводимые за борт шлюпбалки. Медленно, под едва слышный скрип уключин десант двинулся к радиостанции. Важно было отрезать ее от форта, взять неповрежденной. Моряки оцепили домик. Тихий стук в дверь...

— Сейчас, — донеслось изнутри. Сонный радист отодвинул засов. — Входите, — зевая, пригласил он и отпрянул, увидев направленный на него маузер...

Так же быстро и бескровно был захвачен сам форт — утром над ним трепетал алый флаг.

Интервенты и белогвардейцы находились в полнейшем неведении о судьбе крепости. Радиостанция продолжала принимать и передавать шифровки из Гурьева Деникину и из Петровска — Колчаку. Ценнейшие секретные сведения немедленно сообщались в Астрахань, в штаб нашей 11-й армии.

В ночь на 5 мая 1919 года была получена шифровка, заставившая крепко призадуматься. Условными цифрами был записан текст, адресованный из штаба Деникина в форт Александровский: «Пароходе «Лейла» сопровождении «Президента Крюгера» выехал Петровска Гришин-Алмазов тчк Примите меры быстрейшей доставке его через Гурьев ставку верховного правителя тчк».

Наши решили захватить белогвардейское судно. Выполнить задание должен был «Карл Либкнехт». В штаб Деникина полетела радиограмма: «Александровский встрече «Лейлой» готов тчк»

...Эсминец выскользнул из бухты. Горячее южное солнце заливало безбрежную синеву Каспийского моря. Мерно подрагивал стальной корпус корабля. Из широких его труб выбивались и относились ветром густые клубы дыма.

Угольная пыль, как песок, хрустела под ногами на скользкой железной палубе. На баке и на юте в набеленных парусиновых чехлах дремали 4-дюймовые пушки. Посреди эсминца вдоль его корпуса вытянулись длинные козырьки минных аппаратов, заряженных сверкающими на солнце торпедами...

С капитанского мостика командир корабля Михаил Сильверстович Россет осматривал в бинокль горизонт: с минуты на минуту черными точками должны были замаячить частный бакинский буксир и английский вспомогательный крейсер «Президент Крюгер».

В полдень сигнальщик заметил на горизонте дымок:

— Слева по борту корабль! Движется к форту!

— Но почему один? — недоумевал Россет.— В шифровке указаны два.

— Дымок слева по носу. Движется к Петровску! — прокричал торжествующе сигнальщик.

Как потом стало известно, командир английского крейсера счел, что «Лейла» находится в безопасности, не нуждается в сопровождении, и лег на обратный курс.

Ручка машинного телеграфа застыла на делении «Полный вперед». Стальной корпус корабля напрягся — струя истолченной винтами воды вздыбилась и серебряным хвостом протянулась за кормой.

«Карл Либкнехт» шел наперерез «Лейле». Та резко изменила курс и пыталась уйти. Но эсминец неотвратимо настигал врага. Уже ясно различима была палуба парохода, на ней метались белогвардейцы, кто-то выбрасывал за борт оружие.

— Поднять сигнал «Лейле» застопорить машины. Десантной партии приготовиться! — отдал команду Россет.

«Лейла» делала отчаянные попытки уйти.

— Владимир Петрович,— обратился командир к артиллеристу корабля Колычеву,— образумьте их, сделайте несколько предупреждающих выстрелов.

Прозвучала команда, длинный ствол бакового орудия пополз в сторону «Лейлы» — и через минуту фонтаны воды взметнулись вблизи ее борта.

«Лейла» тотчас же застопорила машины. Миноносец подошел метров на сто. И тут из открытых иллюминаторов «Лейлы» стали вылетать какие-то бумаги.

С мостика миноносца прозвучал окрик: «Немедленно закрыть все иллюминаторы, иначе пароход будет расстрелян в упор!» Предупреждение подействовало мгновенно. С миноносца спустили шлюпку. С десяток моряков во главе с боцманом Белонкиным бросились в нее, и она ходко пошла к «Лейле». По веревочному трапу взобрались на палубу и в кают-компанию.

Первым бросился вниз боцман. Но как только он ступил на первые ступеньки, раздался выстрел, и он, охнув, тяжело стал сползать по крутому трапу. Юсупов, Моисеев и Чемруков стремглав бросились вниз. Несколько ударов прикладами — и дверь каюты слетела с петель. Вновь прогремел выстрел.

На узком кожаном диване в предсмертных конвульсиях хрипел тучный бритоголовый человек в расстегнутом френче с генеральскими погонами. Это был Гришин-Алмазов, бывший военный министр Колчака, временный генерал-губернатор Одессы.

— Застрелился, гад! — произнес кто-то сзади.

В каюте рядом раздались еще два выстрела. Это покончили с собой адъютант и начальник личного конвоя.

Как вспоминает участник захвата «Лейлы» военмор Попов, в каюте генерала царил страшный беспорядок. Всюду валялись открытые чемоданы, корзины, вещи, а главное, много пакетов, писем и газет. Видимо, белые старались уничтожить наиболее важные документы. Одна корзина, полная служебных бумаг, оказалась нетронутой, в ней были найдены весьма ценные бумаги. Среди бумаг находился и запечатанный пакет, который генерал впопыхах не успел уничтожить. В пакете лежало собственноручное послание главнокомандующего вооруженных сил юга России генерала Деникина «верховному правителю» адмиралу Колчаку. Оно содержало ближайшие планы военной борьбы с Советской Республикой, план совместного похода на Москву. Деникин предлагал соединить оба белых фронта в Саратове. «В предыдущем письме своем,— писал Деникин,— я высказал свой взгляд на необходимость после нашего реального соединения установления единой власти, слив Восток и Юг... Дай бог, встретимся в Саратове и решим вопрос на благо Родины. Главное,— призывал Деникин,— не останавливаться на Волге, а бить дальше, по сердцу большевизма — Москве».

На следующий день белые запросили Гурьев: не проходил ли через форт Александровский генерал Гришин-Алмазов? Долго думали, что ответить, и наконец сообщили: «Прошел».

Все захваченные бумаги и документы были тщательно упакованы и спешно отправлены через Астрахань в Москву.

Только после гражданской войны стали известны детали события, происшедшего на Каспии майским днем 1919 года. Они до конца объясняли многое, с чем была связана история эсминца «Карл Либкнехт» и о чем вкратце упоминалось на страницах «Правды» в статье «К военному положению на юге». Статья была опубликована через семь месяцев после захвата «Лейлы», когда произошел решительный перелом на Южном фронте, когда Красная Армия погнала деникинские войска вспять и о просчете противника можно было сказать открыто.

«Весной 1919 года,— говорилось в статье,— против Советской России был задуман комбинированный поход Колчака—Деникина—Юденича. Главный удар должен был нанести Колчак, с которым Деникин надеялся соединиться в Саратове для совместного наступления на Москву с востока, Юденичу был предоставлен вспомогательный удар по Петрограду.

Цель похода была формулирована в докладе Гучкова Деникину: «Задушить большевизм одним ударом, лишив его основных жизненных центров — Москвы и Петрограда».

Самый же план похода был набросан в письме Деникина Колчаку, перехваченном нами весной 1919 года...»

Вот почему эсминец «Карл Либкнехт» занимает почетное место в летописи флотской славы, в том героическом разделе истории нашей страны, который заполнен множеством случаев самоотверженной борьбы большевистского племени моряков за полное торжество Советской власти.

Павел ВЕСЕЛОВ

«СТЕКЛЫШКИ»

Я ПОЗНАКОМИЛСЯ с Лидией Семеновной Гудованцевой на встрече ветеранов войны и труда с учащимися одной из московских школ. В ее манере общаться с юношеством ощущалась та непоказная теплота, которой обладают люди, много испытавшие и прочувствовавшие. Потом мы не раз встречались, беседовали,— доверительно, как бывшие фронтовики. Так передо мной высветились вехи ее жизни, во многом схожей с жизнью комсомольцев начала сороковых годов...

С детства перед Лидой стоял пример отца. В 1905 году молодой, недавно вступивший в партию большевиков, кочегар Семен Гудованцев сражался в Москве на баррикадах рабочей Симоновской слободы, а спустя семь лет, в 1912-м, за организацию стачки московских железнодорожников его, тогда уже машиниста паровоза, сослали в Сибирь. Октябрьская революция застала Семена Григорьевича в Петрограде. Он еще не оправился от раны, полученной на фронте, но прямо из госпиталя отправился в Смольный, где формировались отряды Красной гвардии, штурмовал Зимний, а через несколько дней участвовал в ликвидации контрреволюционного мятежа...

Потом снова была Сибирь, жаркий накал непрерывных боев с колчаковцами. От Урала до Иркутска провел бронепоезд машинист-большевик Гудованцев. Потом он восстанавливал разрушенный войной транспорт, обучал тех, кто впервые встал к реверсам локомотивов.

По вечерам у отца собирались друзья. Такие же кадровые железнодорожники, старые коммунисты. Часто они говорили о своих партийных делах, и слово «партия» произносилось как-то особенно веско, значительно...

В сорок первом Лида закончила среднюю школу. Твердо наметила путь — поступит в институт инженеров транспорта, продолжит дело отца. Но война все перечеркнула. Теперь не учеба звала — звал фронт. В райкоме комсомола Лиде отказали и посоветовали идти на завод: там она больше поможет фронту.

В цехе точили мины, снаряды. Зачастую по две смены, заменяя ушедших в армию мужчин. При бомбежках дежурили на крышах, глушили песком брызжущие термитом зажигалки. На отдых выпадали считанные часы...

В октябре враг оказался у ворот Москвы. Помнится, Лида слегла с высокой температурой. Врач к работе не допускал, да и добраться до завода девушка, пожалуй, не смогла бы. Чуть полегчало — пошла в цех. А проходная закрыта, стоит часовой. Он пояснил, завод эвакуировали.

А по ночам над Москвой уже полыхали зарницы недалекого орудийного боя, улицы перегородили баррикады, противотанковые «ежи». Вновь Лида ходила в райвоенкомат, в райкомы комсомола и партии и вновь получала отказы: семнадцать, еще молода. Наконец дошла до горвоенкома, буквально прорвавшись в его кабинет. Комиссар, видимо, решал боевые вопросы с пожилым генералом. Но оба выслушали ее внимательно. Генерал кивнул нахмурившемуся было военкому и спросил Лиду:

— Скажите, Гудованцева, вы однофамилица или родственница Семена Григорьевича!

— Я его дочь.

— Знал я Семена Григорьевича еще по гражданской. А ты, дочка, похожа на отца, и характер у тебя такой же...

Генерала Панфилова она запомнила хорошо. Это по его рекомендации Гудованцеву направили в снайперскую школу. Их в школе было две тысячи. Обучались в обстановке, близкой к фронтовой. Занимались в полевых условиях по 11—12 часов. Особенно сблизилась Лида с Тосей Федоровой: обе работали на заводе, пришли в школу добровольцами.

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ фронт. Части прославленной в битве под Москвой 1-й Ударной армии вели упорные наступательные бои. Враг зарылся в землю, превратил каждое село в укрепленный пункт. В таких условиях особая роль отводилась снайперам.

Лида с Тосей попали в 23-ю гвардейскую дивизию. За оптические прицелы на винтовках бойцы называли их ласково «стеклышками».

...Светало. Из низины со стыка вражеской обороны, против которого замаскировались девушки, густым молоком сочился туман. Часам к восьми он рассеялся. Стал виден участок немецкой траншеи с верхним краем входа в блиндаж. Да, позиция была выбрана удачно. Почти по пояс высовывались немцы, когда переходили с места на место.

— Беру на мушку! — прильнула к прицелу Тося, но Лидия, как старшая в паре, запретила стрелять: нужно выбрать врага поважней, не рисковать, демаскируя засаду.

Томительно тянулось время. Лицо вспухло от комариных укусов. Только к вечеру из леса, почти примыкаашего к траншее, вышел молодцеватый офицер. Он чувствовал себя в безопасности.

Грянул выстрел. И в ту же секунду, как было условлено, пулеметчики начали огневой налет, чтобы по звуку враг не определил места снайперской засады. Немцы ответили шквальным огнем, но никто не отважился вынести убитого офицера. Уже в сумерках кто-то выполз к нему из леса. В прицел было видно, как он накинул петлю на ногу убитого.

Выстрел Тоси, и рядом с офицером остался лежать второй фашист...

...Трудные месяцы наступления на северо-западе, к Старой Руссе. Непролазные чащи, не замерзающие даже в лютую стужу болота, за каждую деревню — упорный бой. Снайперская пара Гудованцевой «специализировалась» в охоте на офицеров. Конечно, трудней и опасней выслеживать их блиндажи, маршруты к подразделениям, дольше мерзнуть или жариться в засадах. Но есть резон. Педантичные немецкие солдаты терялись без командиров, до замены офицеров нарушалось управление боем. Поэтому «стеклышек» вызывали на участок, где готовили внезапную для врага атаку.

Мужество, боевое мастерство Лиды и Тоси были дважды отмечены медалями «За отвагу». Но самым радостным для обеих стало другое событие.

8 марта 1943 года. «Это как второе рождение,— записала Лида в своем дневнике.— Землянка заполнена людьми — коммунистами нашего полка. Меня принимают в партию, спрашивают, а у меня словно язык отнялся. За меня отвечают товарищи. А как мне хотелось сказать: «Боевые мои друзья, вы принимаете нас в ряды ленинской партии 8 марта, в наш женский день. Мы все сделаем, чтобы оправдать доверие...»

А война шла дальше. В жестоком бою Лида потеряла свою подругу —

Тосю Федороау. Теперь она сражалась за двоих. Бойцы рассказывапи, что а боях под Ригой она заставипа вражеское подразделение оставить важный узел сопротивления, опоповинив его командный состав.

Однажды Гудованцеву вызвап командир попка Герой Советского Союза попковник Князев:

— На нашем участке появился матерый немецкий снайпер. Действует осторожно, наaерняка. Бьет из засад, которые не удапось обнаружить. Надо его обезаредить.

Да, Лиде достался опытный и хитрый враг. Двое суток ползапа она а нейтральной полосе, часами просиживапа в педяной жиже воронок. Присматривалась, набпюдапа. Враг был где-то рядом, но затаился и выжидал. Враг понял, что за ним ведется охота, и решил охотиться сам. Это подсказыаало чувство, присущее опытному снайперу. Ну что ж! Она не будет спешить. Победит выдержка. И, конечно, хитрость.

Решено было так: с ночи сержант Сергей Елин из разведки со снайперской винтовкой (чтоб на сопнце побпескивапа оптика) засядет в воронке на пожной позиции.

— Винтовку с прицепом приподнимай, будто цепь ищешь,— инструктировапа Лида.— А сам не рискуй, головы не высовывай.

Сама она заняла позицию метрах а даухстах. Саетапо. Лида внимательно присматривапась к воронкам, кустам, деревьям.

Вдруг с одной из яблонь ударил выстреп, из-за ствопа аыгпянул темный бугорок головы. В ответ, вопреки указаниям Лиды, выстрелип сержант, и с дерева, роняя винтовку, упап фашист.

Не тот, этот неопытен, вроде приманки, решипа Лида. Очевидно, вражеские снайперы действуют в паре. Матерый волк жертвует вопчонком, чтобы выявить, где засада.

Тишина. Лида загпянула иа пожную позицию и чуть не вскрикнула. Из воронки, где засеп Епин, приподиялась каска и верх шинепи. В тот же миг сухо щелкнупо, фигура Епина исчезпа.

«Пожертвовап собой!» — с тоской подумала Лида. Хотя и с глушитепем работап снайпер, но тренированный спух помог определить, откуда страляли. Тоже ябпоня, но крона погуще. Среди сучьев удобно, будто в гнезде, сидеп ее противник. Через оптический прицеп было видно, как он прикпадывается к фпяжке.

«Нет, победу тебе не отметить!» — Лида нажала спуск...

Уничтоженный снайпер бып офицером, награжденным Рыцарским крестом. А доставип его Лиде... «убитый» Елин.

— Я не дурнее того волка,— добродушно пояснип он Лиде.— Перaого снайпера сшиб, решил попытать, есть пи второй. Припадил на жердь каску и шинель, приподняп, вроде решип проверить, попал ипи нет. Ну и клюнуп фашист.

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ довели Гудованцеву до Кенигсберга. Здесь поспе взятия вражеской твердыни она вместе с боевыми друзьями отпраздновапа Победу. Ордена Красиой Звезды, Спавы, две медапи «За отвагу» отметипи ее ратные подвиги.

Вернупись победитепи в родные края, но отдыхать им не пришлось. Лидия Семеновна доброаопьцем отправипась иа восстановпение разрушенных городов, потом готовила кадры моподых специалистов на предприятиях Москвы. Трудипась так же самоотверженно, как и воевапа. И, выйдя на пенсию, следоаала памятным дпя нее строкам Бпока: «Покой нам только снится». Для Лидии Семеновны воспитание патриотов стапо прямым продопжением боевых и трудовых деп.

Ю. ГУРЬЕВ

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ...

«У СОЛДАТА ВЕЧНОСТЬ ВПЕРЕДИ...»

СТАРШЕГО прапорщика Юрия Дуриева мучила мысль: как ему показаться иа глаза родителям сержанта Коваленко? Как вести себя? Ведь Василий погиб, спасая его...

Юрий неотрывио глядел в иллюмииатор самолета. Ничего там ие было видно, кроме чистого мартовского иеба. Ои вытащил из кармаиа письмо от товарища, с которым служил в Афгаиистаие. Прошел год после того памятиого боя...

...Дурвев не услышал треска автоматиых выстрелов. Он бежал на помощь младшему сержанту Паше Ражновскому, когда почувствовал сильиый удар, сбивший его с иог. Виачале даже удивился: «Как это? В меня попали...» Повернулся, чтобы увидеть душмана...

— Держись, старшина! — крикиул ему сержант Ковалеико.— Держись!..

Яростные очереди загоняли сержанта под навес, ие давая возможности приблизиться к раиеиому. Выход подсказала солдатская смекалка. Возле Дурнева упала плащ-палатка.

— Цепляйся, Юрик!

И он вцепился в прорезинеииую ткань — вцепился зубами, здоровой рукой и скорее почувствовал, чем понял, что сержант выдериул его из-под огия. Последнее, что он слышал в тот момент, были слова Василия Ковалеико, который перевязывал его: «Ну, зачем вы пошли в этот бой, товарищ старшниа? Зачем? Не ваше это дело, ие ваше, товарищ старшниа!..»

Освещенный ярким весеииим солицем двор, иавес, дувал — все вдруг поплыло перед глазами Дуриева.

Стрелка часов отсчитывала время. Было десять минут десятого. Прошло немногим более трех часов с того момеита, когда вертолеты с десантниками взяли курс к Чериым горам.

Прапорщик Дуриев дремал под шум двигателя, баюкая иа коленях малевький автомат. В такие минуты он представлял себе, как вериется домой, пойдет с отцом на рыбалку, вдоталь надышится вкусным доиским воздухом. Юрий всегда с гордостью говорил, что он из казаков. «Про станицу Глубокую слышали? Про нее Шолохов писал в «Тихом Доне». Здесь я вырос. Правда, теперь это ие станица, а поселок Глубокий».

Прадед Дурнева участвовал в штурме Измаила, брат матери — Ивав — в годы Великой Отечествениой войвы защищал Сталинград. Пожалуй, что в их семье только отец сугубо гражданский человек. Правда, он служил в армии, ио только срочиую. В трудовой кинжке

Петра Федоровича сделаны две записи: принят на химкомбинат «Россия» и уволен. Между этими двумя датами 36 лет. После срочной службы направился было к проходной комбината и Юрий, но бывшего десантника хватило ненадолго. Заскучал Юрий по друзьям, роте, голубому берету. Вернулся он в свою часть, поступил в школу прапорщиков, которую закончил с отличием.

Не раз слышал Юрий о своих сверстниках, которые пришли на помощь афганскому народу в трудный для него час. В ограниченном контингенте советских войск служил и его сосед Генка Шишко. Юра хранил письма друга.

Дурнев не раз спрашивал себя: смогу ли я пройти через эти трудности? И отвечал: должен! Физически подготовлен нормально. Об этом свидетельствуют спортивные разряды по гимнастике и плаванию. Да и служба в воздушно-десантных войсках помогла окрепнуть. Пришлось побывать и в экстремальных ситуациях, когда перехлестывались парашютные стропы, когда приземлялся на запаске. Много чего было, если предаться воспоминаниям...

В части, где служил прапорщик, было немало офицеров, которые вернулись из-за Амударьи. Юрий жадно слушал их рассказы, и ему казалось, что это он ведет горной тропой группу наперерез банде Гульбуддина, что это он возле пропахшего пылью БТР делится хлебом с черноглазыми бачатами, как называют в Афганистане мальчишек.

13 сентября 1985 года прапорщик Дурнев прибыл к новому месту службы — в одну из частей ограниченного контингента советских войск в Афганистане.

— Товарищ прапорщик!.. Вы наш новый старшина?..

Одни глядели дружелюбно, другие с любопытством. Но у тех и у других в голосе звучал вопрос: что ты за человек, прапорщик Юрий Дурнев?

Через неделю в 5.30 прозвучал сигнал тревоги. Юрий подлетел к командиру роты:

— Товарищ капитан, возьмите меня с собой.

— Нельзя, старшина, рано вам еще. Вот обживетесь...

Всем своим видом капитан Алексей Турков показал, что разговор окончен. И тогда Дурнев бросил последний козырь:

— День рождения у меня сегодня, товарищ капитан. Двадцать четыре стукнуло. Сделайте подарок, товарищ капитан.

Лицо Юрия, блестящие от волнения глаза выдавали огромное желание идти вместе со всеми.

— Хорошо, старшина, собирайся.

Вертолеты зависли над горой неподалеку от кишлака, в который, как сообщили афганцы, должен был прийти главарь банды с телохранителями. Из «вертушки» Дурнев выпрыгнул четвертым.

— Ложись с пулеметом и гляди в оба! — приказал ротный.— Мы пока осмотрим дувал.

«На учениях было тяжелее»,— только успел подумать прапорщик, устраиваясь среди камней, как раздались автоматные очереди. Вскоре голос радиста позвал: «Старшину к командиру роты».

Юрий не сразу понял, что произошло. На глиняном полу лежал капитан Турков. Алексей запрокинул руку за голову и, казалось, любовался белыми барашками облаков.

— Старшина, перевяжи...

Пуля пробила автомат и вошла ротному в живот.

Юрий перевязал офицера, а потом с помощью трех десантников

уложил его на одеяло. Теперь им предстояло добраться до вертолета.

— Шурави, вперед! — крикнул им афганец и дал очередь из автомата.— Вперед, шурави, я прикрою!..

Это был семнадцатилетний офицер Наим. Позже он расскажет Юрию о том, что душманы уничтожили его большую семью, расскажет и о своей самой заветной мечте — поехать учиться в Советский Союз. А пока он длинными очередями поливал «зеленку», мешая душманам вести прицельный огонь.

Вечером в казарме Юрий узнал, что на месте Туркова должен был стоять он. Офицер пошел вместо него, неопытного бойца. Дурнев побежал в санчасть, выпросил пулю с развороченной оболочкой. Этот адский цветок стал его талисманом. Потом долго сидел у окна и молчал...

Незаметно накатил январь 1986 года. Он запомнился борьбой с бандой муллы Кандагари. Десантники пришли на помощь пуштунам.

Холод залезал под куртку. Он чувствовался еще больше, стоило лишь поглядеть на мутную воду реки, через которую предстояло переправиться. С ней мороз не справился, а как справиться с быстрым течением десантникам? Выход нашли пуштуны. Юрий и его товарищи с изумлением разглядывали надутые... бычьи шкуры, на которые был набросан хворост. На плаву эти доисторические сооружения оказались вполне надежными!

Наступила черная южная ночь. И все же незаметно выйти к укрепрайону не удалось. Помешал рассвет. И заработали бандитские пулеметы, ударили безотказные орудия. Залегли пуштуны, залегли десантники. Лежали и мечтали о темноте, которую еще недавно проклинали. Рядом щелкали пули: щелк-щелк, щелк-щелк...

Присмотрелся прапорщик Дурнев, откуда работают пулеметы «духов», взял снайперскую винтовку. В школе прапорщиков он считался лучшим стрелком. Меньше стало подносчиков боезапаса у бандитов. Тут и помощь подоспела. Задача по разгрому укрепрайона была выполнена.

Здесь десантники увидели схроны, да такие, что с двух шагов не догадаешься, что это вход в пещеры, где хранились вода и продовольствие, оружие и боеприпасы. Долго собирался воевать мулла Кандагари.

— Прапорщик Дурнев со своей группой прикрывает отход основных сил! — приказал командир.

Уходить последним — почетно, но не просто. Идешь, а спина просто чешется. Ну, сейчас, сейчас... А вокруг тишина. Заставляешь себя не оглядываться, а голова, помимо твоего желания, поворачивается назад. И не зря.

Время от времени оживали огневые точки душманов. Их надо было гасить. И гасили.

Операция завершилась без потерь. Об этом походе теперь уже старшему прапорщику Юрию Дурневу напоминает первый орден Красной Звезды, который на комсомольской конференции Краснознаменного Прибалтийского военного округа ему вручил командующий.

Вторым орденом Юрий был награжден за бой 19 марта 1986 года.

...Вертолеты подходили к объекту. В этот кишлак из Пакистана пришла банда. Надо было помочь воинам афганской армии.

Такого количества душманов Юрий еще не видел и в первые минуты даже растерялся. Куда ни глянь — всюду зеленые, под цвет яркой мартовской травы, халаты, чалмы, тюбетейки.

Двое ползли по дну высохшего арыка. Были видны их сгорбленные спины. Навстречу бандитам вышел сержант Василий Коваленко.

В роте этот парень с Кировоградчины был непонятен прапорщику: увалень, с ленцой. А командиры им не нахвалятся. Опыт воина-разведчика быстро распространяется среди молодых солдат. На собраниях часто в президиум выбирают. Награжден двумя орденами Красной Звезды.

Дурнев не видел Коваленко в бою. И вот сейчас он смотрел и поражался четким действиям Василия. Как умело он прикрывал огнем из автомата своих товарищей!

По рации передали: «Нужны пленные!»

Серый дувал, в дверь сильный удар ногой. Во дворе, словно каменные изваяния, застыли трое. Бормочут, подбирая русские слова, что они мирные торговцы, идут с караваном.

— Очень мирные,— заметил ленинградец Павел Ражновский, поднимая с земли автомат, который не провалился в черный зев кяриза — глубокого колодца.

— Все! Берем «духов» и уходим! За нами уже «вертушки» летят...

Но снова заработала рация: «Помогите лейтенанту Красильникову...» И они побежали в тот роковой для них двор.

ЮРИЙ ОЧНУЛСЯ от боли. Коваленко бинтовал его, причитая: «Ну зачем вы пошли в этот бой, товарищ старшина? Зачем? Не ваше это дело, не ваше, товарищ старшина!..»

— Крепче перевязывай, Вася,— стонал Дурнев.— Крепче.

— Нечем больше!

Сержант вдруг вскочил и бросился бежать через двор. У его ног пули поднимали пыльные фонтанчики, но Василий уже был в безопасном месте.

— Бинт, бросьте бинт! — крикнул он залегшим под автоматным огнем десантникам.

Ему кинули пакет. Бинт не долетел. Тогда Коваленко прыгнул за ним, схватил, и, когда стал выпрямляться, пуля сразила его.

Через четыре дня Дурнев, тяжело опираясь на костыли, к изумлению всех, вышел из палаты навстречу своим боевым друзьям. «А чего Вася не пришел?» — был первый его вопрос. Когда узнал, скрипнул зубами и, глядя в пол, попросил закурить.

— Нельзя вам, товарищ прапорщик,— говорил, глотая слезы, рядовой Владимир Ларионов.— Нельзя вам...

Он слышал, как хрипели простреленные легкие старшины.

...Позади дни и недели, проведенные в госпитале. Сейчас старший прапорщик Юрий Дурнев служит в Прибалтике, собирается стать офицером. Он часто встречается с молодежью и каждый раз рассказывает будущим воинам о сержанте Коваленко, который за свой последний бой был награжден третьим орденом — на этот раз Красного Знамени. Посмертно.

ЗИМОЙ 1988 ГОДА Юрий получил письмо из деревни Липовеньки, где жил Василий. «Большая просьба к вам, напишите, пожалуйста, о Коваленко. Ведь мы только знаем, что наш земляк спас вам жизнь...» — писали ребята из местной школы.

Ответил. И задумался над тем, что 19 марта, в день памяти Василия, он должен быть рядом с его родителями. Такое же решение приняли и другие, вернувшиеся в Союз парни, которые служили вместе с сержантом Коваленко.

...Юрий волновался, мучаясь над тем, как показаться на глаза его родителям.

«Как объяснить матери гибель Василия?.. Пожалуй, что никак. Есть только одно четкое понятие — долг. Сержант Коваленко выполнил его до конца. Погибшего сына Зинаиде Федоровне не заменит никто, но помочь ей увидеть, что сын ее жив в памяти многих,— в этом наш долг. Мой в первую очередь»,— думал Юрий.

...Позади кировоградский аэропорт и встреча с москвичом Ларионовым. И вот уже машина везет их по опрятной деревенской улице, носящей имя гвардии сержанта В. Коваленко.

На скамейке перед небольшим, отделанным голубой плиткой домом сидели теперь уже сержанты запаса кировоградец Юрий Надутый и Виктор Тарасюк из Черкасской области. Обнялись. И были слезы на глазах этих парней.

— Да что вы на дворе все... Зараз ступайте в хату,— позвала маленькая хрупкая женщина в черном — мать Василия.

Здесь все напоминало о Василии: голубой берет, мундир, ордена. Большой портрет сержанта Коваленко висел на беленой стене...

Зинаида Федоровна суетилась, не зная, куда лучше посадить друзей сына.

— Ждали мы вас сегодня. Очень ждали. Может, и Юра Дурнев приедет. Далеко он живет, в Таллине.

— Он уже приехал,— показал Тарасюк на старшего прапорщика.

Зинаида Федоровна глянула на него, как-то по-птичьи взмахнула руками, прижала к губам черный платок.

Долго стояли воины-интернационалисты у могилы своего боевого товарища.

Сержант Коваленко похоронен в одном ряду с теми, кто погиб здесь, сражаясь с фашистами, в годы Великой Отечественной войны.

Алели на мартовском снегу живые цветы.

Позже Зинаида Федоровна и ее муж поведали ребятам о том, что колхоз заботится о них, предлагает построить новый дом.

— А мы вот решили не переезжать. Здесь вырос Вася.

И чем больше слушал Юрий своих сослуживцев, которые по привычке обращались к нему не иначе как «товарищ прапорщик», тем больше узнавал он о Василии. Оказывается, он любил петь, но стеснялся. Больше слушал. Тогда, взяв гитару, запел «афганскую»:

Я тоскую по родной стране,
По ее рассветам и закатам.
На афганской выжженной земле
Спят тревожно русские солдаты.
...Так что ты, кукушка, погоди
Мне давать чужую долю чью-то:
У солдата вечность впереди —
Ты ее со старостью не путай.

У дома, который обступили развесистые яблони, ждала машина. Надо было спешить в аэропорт. Зинаида Федоровна собирала ребятам на дорогу пирожки, плакала. Юрий подошел к ней, обнял.

— Юра, а если бы Вася... тогда... ты бы погиб?

— Да... Зинаида Федоровна, милая! Если у меня будет сын, назову Василием, если дочь — Василиной. Я обещаю вам вырастить хорошего и правильного человека, как ваш сын. Обещаю!

Александр ХАРЧЕНКО

ЛЕТОМ 1941-го, как ни горько вспоминать об этом, мы чаще оставляли свои города, чем отбивали их у фашистов. И знамена свои теряли чаще, чем захватывали вражеские. Разве могли предполагать штабисты вермахта, что на второй неделе войны один из танковых клиньев завязнет в обороне Пролетарской мотострелковой дивизии! Тогда же освободит «Пролетарка» и белорусский городок Толочин! А 6 июля ее солдаты захватят знамя гитлеровского танкового корпуса, который за бои во Франции был назван Геббельсом «непобедимым»!

В судьбе солдата Великой Отечественной, воевавшего в Пролетарской дивизии, слова Смоленск, Ельня, Наро-Фоминск, Курская дуга, штурм Кенигсберга звучат как названия боевых орденов. Судьбы, подвиги, кровь и пот каждого солдата дивизии стали ее славой. Славой гвардейской Пролетарской Московско-Минской ордена Ленина, дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова мотострелковой дивизии.

ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕНИЕ БОЯ

Эта солдатская слава стала азимутом традиций, по которым пролетарцы сегодняшних дней сверяют свои ратные дела.

Комсомольцу Сергею Юркину не было и двадцати, когда в августе 1942 года под Калугой он своей жизнью дал роте бесценные секунды для атаки, накрыв собой амбразуру вражеской огневой точки. Это и есть восхождение на вершину солдатской доблести. Война таких восхождений требовала на каждом шагу. А сегодня! В чем она, мера солдатской доблести! Владимир Осипчук задавался таким вопросом не раз. В музее боевой славы дивизии всматривался в фотографии солдат фронтовой поры. Обычные ребята, разве что выглядят постарше. А в учебных боях он нет-нет да и представит, как повел бы себя тот или иной парень из их первой роты в настоящем деле. Для комсорга роты это было не праздное любопытство...

Двусторонние тактические учения — это минимум условностей и максимум адского напряжения. Строгое время, которое конкретно: у него критерий однозначный — солдат ты или так просто, единица котлового довольствия, защитник или нахлебник своего народа.

— По машинам! — привычно командует своему взводу гвардии лейтенант Олег Гайдар.

А вот машины сегодня немного непривычные. Впрочем, как посмотреть. Не каждый день, конечно, пехоте летать приходится, но в ребристом чреве «вертушки» ребята чувствуют себя не менее уютно, чем внутри колесного БТР или гусеничной БМП. И вообще, адаптированность была свойственна пехоте во все времена.

— «По небу — аки по суху»! — глянул в иллюминатор гвардии сержант Аркадий Севастьянов. Земля, удаляясь, закаруселила в вираже винтокрылой машины, с каждой минутой все больше напоминая топографическую карту...



Взвод гвардии лейтенанта О. Гайдара готовится к переброске в тыл «противника».

Олег Гайдар вспомнил постановку задач командиром:

— На ваш взвод, товарищ гвардии лейтенант, надежды у нас особые. Многое будет зависеть от выучки и натренированности каждого солдата и вашей способности принимать самостоятельные решения. Действовать придется в отрыве, в полной изоляции...

Вспомнились и слова замполита:

— Не забывайте о третьем измерении боя...

Это было напоминание о давнем споре во время семинара по военной психологии. Речь шла об учете морально-психологического состояния солдат в бою, необходимости его моделирования. Кто-то «завелся»:

— Главное для командира — тактическое мышление. Есть два измерения боя: пространство и время. И будь добр уметь ориентироваться в том и другом без ошибок, использовать то и другое для победы. Всякие размышления и рассуждения в бою о настроении, эмоциях — это лирика, она только мешает командиру, отвлекая его от главного.

Олег Гайдар был не согласен с такой категоричностью. Его поддержали другие командиры взводов, но оппонентов нашлось немало. Замполит тогда-то и расставил все точки:

— Солдат — не машина. В этом не слабость его, а сила. Ведь человеческие характеры иногда и броню превосходят по стойкости. И без понимания третьего измерения боя — человеческого сознания, и эмоций в том числе, вряд ли победы достигнете. Кто сомневается — могу на эту тему предложить доводы великих полководцев — от Суворова до Жукова,— замполит достал список литературы.

Список тот долго ходил по рукам взводных и ротных. В полковой библиотеке книги, перечисленные здесь, стали дефицитом.

Олега Гайдара агитировать за близость к солдатам, в общем-то, не надо было, а вот знаний по психологии он для себя из тех книг поднабрал. И сейчас, перед высадкой в тылу «противника», был уверен в своих «орлах», как в самом себе. Вот Алеша Сухарев — пулеметчик. Деловито протирает промасленной тряпкой свой РПК. Ему позицию подыскивать не надо — сам сразу смекнет, где его пулемет нужнее. Андрей Ткаченко может заменить и взводного. Знаний и воли командирской у него хватает. Слава Попов, Костя Бородин — не зря постарались к двери поближе сесть — рвутся в самое пекло. Отчаянные ребята и выносливые. В бою таких рядом иметь — уверенности прибавляется.

Двери — в сторону! «Пошел!» Секунды — и вертолеты уходят, а пехота опускается в дым и огонь, в три измерения учебного боя...

Честно признаться, гвардии старший лейтенант Сергей Дуйко в том семинарском споре не был сторонником «третьего измерения боя». И без него получалось пока что неплохо. Рота в отстающих не значилась. В учебных боях выглядела вполне прилично. Но списочек замполитовский все же переписал. Так, на всякий случай. Книгу русского генерала Драгомирова тоже взял в библиотеке больше для досуга, чем для изучения. Но увлекся, нашел для себя много нового, что в военном училище не пришлось проходить. Потом и другие книги открыл. В общем, на многое по-иному взглянул. В роте — одиннадцать национальностей. Раньше это знал, но только больше по фамилиям. Теперь старался и по характерам с каждым разобраться. Появилась доверительность — как-то сама собой четче стала в роте исполнительность. Сплоченные ребята становились.

Вот и на этих учениях, когда к атаке готовились, прошел по цепи ротный, для каждого солдата слово нашел.

И грянул бой... БМП рванулись было вперед. Мотострелки, боясь отстать, прибавили ходу. И вдруг по рации: «Стоп! Впереди минное поле!» Ох, и трудное это дело — распластавшись в подтаявшем снегу, ждать, когда саперы проходы закончат.

Подползает сержант Владимир Осипчук.

— Тащгварстаршлент,— лицо комсорга роты раскраснелось, взмокший от пота чуб по лбу разметался.— Разрешите, мое отделение саперам поможет!

— Сумеете!

— Так ведь вы сами нас на инженерном городке до седьмого пота гоняли...

— Возьмите щуп у саперов!

Второе измерение — время — они уплотнили. За счет инициативы солдатской, смекалки, желания выиграть бой, а это уже составные того самого, третьего измерения боя.

И была огненная круговерть, когда каждому приходилось зажать в себе страх и шагнуть в пламя. Были «раненые» по вводной посредника.



Атака.

И их выносили на себе. Было без передышки стрельбище, где рота сумела своими действиями вытянуть из немногословного руководителя учений небывало длинную фразу:

— Подобной огневой слаженности можно поучиться многим подразделениям.

И было непромерзшее болото, куда умудрился в горячке преследования «противника» влететь взвод гвардии лейтенанта Вадима Рябцева. Острее всех среагировал на это купание старшина роты прапорщик Игорь Грам:

— Это где же их всех теперь я сушить буду!!

Но до сушки было еще далеко. Бой вертел роту во всех измерениях. Подкашивал ноги усталостью, ввинчивал в уши противный звон от пальбы, надрывал командирам голосовые связки, покрывал лица парней замешенной на поту копотью. И несколько раз наступал такой миг, что казалось — все, нет сил, нет возможности больше двигаться, нет в легких воздуха! Но кто-то обгонял тебя, звал за собой, кто-то произносил всего одно слово — и оно давало силы снова бежать, стрелять, падать и вставать...

А потом вдруг все стихло. Как-то совсем невпопад прокатилась над полигоном короткая пулеметная очередь. И легла над полем тишина.

— Гляньте, гайдаровцы идут!

Из оврага цепочкой поднимался взвод в маскхалатах. Взвод Олега Гайдара было не узнать. Темные пятна грязи на одежде, осунувшиеся лица. И только улыбки, то и дело вспыхивающие на лицах, как бы говорили: «Есть еще порох в пороховницах!»

— Привет, пехота!

— Здорово, «винтокрылые»!

Шутки, веселые подначки, воспоминания о только что проделанной тяжелой работе — все это слилось в гуле голосов. Третье измерение боя еще оставалось в каждом из них. Оно продолжало закалять в парнях солдатский характер.

Майор В. СОСНИЦКИЙ
Фото М. КЛИМЕНТЬЕВА

ПОЛЕТЫ НА ПИЛОТАЖ

МиГ-29, КРАСИВЫЙ на земле, в полете приобретает полную завершенность конструкции. Соколиная осанка и стремительность лета так и заставляют сравнивать его с птицей. Но нет, это не птица — машина. Птица не может взять на себя девятикратную перегрузку — машина способна, как способен и человек, управляющий ею. Машина эта — сверхзвуковой самолет, человек в ней — летчик-истребитель.

Кто становится летчиком? Гвардии капитан Александр Личкун в своих песнях под гитару может поведать, что это самые обыкновенные парни, которые однажды прикипели сердцем к небесным высям. Практика немного дополняет его: кроме «прикипения», они должны пройти несчетное количество строгих медкомиссий, выдержать экзамены в высшее военное авиационное училище, одолеть гранит многих наук, тысячу раз взлететь и приземлиться, не отрываясь от земли в кабинах тренажеров, налетать определенные часы с инструктором, а затем самостоятельно. И только потом... летчиком его все равно могут не признать. А в признании как раз вся суть и заключается. Потому что летчиком-истребителем можно стать только в коллективе. В звене, в эскадрилье. Здесь учат, оценивают, воспитывают, словом, ставят на крыло.

Так как же становятся летчиками? Об этом рассказывают офицеры одной эскадрильи гвардейского истребительного авиационного Проскуровского Краснознаменного полка имени Ленинского комсомола.

ГВАРДИИ МАЙОР АНАТОЛИЙ АРЕСТОВ: Я после училища приехал в полк самоуверенным. Там ведь предлагали инструктором оставаться — значит, на что-то способен. А нас, оказывается, таких «орлов» из разных училищ, десять в полку набралось. Командир — мужик прямой был, не стал вокруг да около крутить:

— Через год всех проверю лично. Пятерых лучших оставлю в полку. Остальным придется на других машинах летать, попроще.

Надо сказать, тогда новая техника в часть пришла. В училище мы такой не видели. Хочешь — не хочешь, а попадал каждый из нас в жесткую конкуренцию. Атмосфера, правда, в эскадрилье была такая, что никаких «черных кошек» между нами, лейтенантами, пробежать не могло. Здоровое, так сказать, получилось соревнование.

Через год каждого командир вывез на «спарке», через свои «вводные» протаскивал. Потом дал самостоятельный полет показать. Оставил троих. Четверо из той нашей «десятки» сами попросились в другую часть — ленкомовский летный потолок им показался высоковат. Обиженных не было. Прямота ситуации импонировала всем.

Ну, думаю, все: я — летчик! Но комэск в первом же воздушном бою доказал, что учиться мне еще и учиться! На лопатки положил он меня довольно быстро. До его пилотажного почерка мне предстояло еще расти...

Полет — это тяжелая работа. Иногда такая, что одежду — хоть выжимай. Представьте себе, ваш вес вдруг увеличивается в семь раз. Голову повернуть — и то тяжело. Вы не на диване сидите перед телевизором, а вместе с самолетом ввинчиваетесь в густо-синее небо со скоростью, значительно превы-

Молодежное звено гвардии майора А. Шубина.



шающей звуковую. И это бой. Пусть на пушках срабатывают лишь фотозатворы — из этого учебного боя можно выйти только победителем или побежденным. Победа — ступень к следующему усложнению. Неудача — придется вспоминать старую истину: «Повторенье — мать ученья».

ГВАРДИИ СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ СЕРГЕЙ САМКО: Я рос в приаэродромном военном городке. Когда был совсем малышом, считал, что все мужчины должны быть летчиками. Очень удивился, когда понял, что это заблуждение.

Мой отец — военный летчик. Об этой профессии наслышан я был достаточно. Мать не одобряла моего выбора, и то понятно — каждый полетный день на аэродроме прибавлял ей седых волос. Потом, когда я уже училище заканчивал, она шутила:

— Ну ладно, сейчас серебряный цвет волос в моде. Летайте оба.

Мы оба с отцом и летали.

...Наш полк имени Ленинского комсомола знаменит высоким летным мастерством. Каждый второй летчик у нас — ас. И нет, пожалуй, ничего престижнее в полку, чем отличиться во время полетов на пилотаже. Здесь, как в исполнении сложного музыкального произведения, каждый может показать себя. Умение читать партитуру — это у нас четкость в выполнении полетного задания. Тонкая аранжировка — это индивидуальные черты в технике выполнения фигур и маневра, экспромт — усложнение пилотирования или неожиданный тактический ход. Пилотаж тоже можно исполнять дуэтом, трио, квартетом и целым оркестром. Только дирижера своего — руководителя полетов — мы во время исполнения не видим. И если музыканту для развития таланта и мастерства необходим абсолютный слух, то летчик в такой же мере нуждается в чувстве полета. Что это такое? А что такое музыкальный слух? Одаренность к восприятию звука, говорят. А чувство полета — это одаренность к восприятию машины, высоты, скорости и своих возможностей.

Был у нас в полку один летчик молодой. Комсомолец. Летал осторожненько так, без огонька. От сих до сих. Пристыдили его как-то на комитете. А он отвечает:

— У меня оклад как у машиниста метро. С него фантазии никто не требует. Ездит по рельсам согласно расписанию, еще и премию за это получает. А почему я здоровьем своим рисковать должен в молотилке восьмикратных нагрузок?

Видать, за длинным рублем шел в небо парень. За длинным и легким. А здесь такого не оказалось — вот и скис. Да и не было, пожалуй, у него того чувства полета. Пришлось искать ему жизнь поспокойнее. С рельсами накатанными и выверенным расписанием. И мне того парня почему-то жаль.

ГВАРДИИ СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ НИКОЛАЙ АНИКИН: Мы — «технари». Техники авиационного комплекса — это если по-официальному. И, между прочим, нам хорошо видно, как становятся настоящими пилотами.

Полетный день. Приемка летчиком самолета. Один с улыбкой спросит:

— Все в порядке? — пройдет для проформы вокруг машины, черкнет закорючку в журнале.— Спасибо, ребята, за работу!

Хороший человек? Доверяет мне полностью? Скорее недобрал знаний. Из того инженерно-технического минимума, который летчику положен. Вот и скрывает свое дилетантство за показным добродушием. Уходит такой в небо, а у меня душа не на месте. Случись нестандартная ситуация — на эмоциях выходить будет, а лучше бы на знании техники.

А вот самолет принимает гвардии капитан Александр Гарнов. Без придирок, но не спеша, со знанием дела. Однажды механик самолета мне говорит:

— Что это он так и хочет недоработку нашу найти. Совсем не доверяет, что ли?

Нет, Гарнов нам доверяет. Но он — пилот. И любит повторять: «я не извозчик — потому знать должен матчасть как свои пять пальцев». И ведь знает-таки! Именно на основе этих знаний чудеса в небе способен творить. И перед полетом, и после обязательно о состоянии техники мнение выскажет. Совета попросит без заносчивости. Поговорит как «спец» со «спецом». Его, кстати, и в казарме солдатской можно часто встретить.

— Одно ведь дело у нас с ребятами. Только мы — в небе, они — на аэродроме. Так чего же в «аристократы» нам метить? — считает Гарнов.

Это, наверное, и есть настоящее добродушие знатока своего дела.

— С ГОРКИ с полупереворотом уходим в вираж... И связка, связка должна быть плотной. Без узелков.— Самолетик, очень похожий на модель из «Детского мира», в руках гвардии майора Александра Шубина выписывал над столом замысловатые фигуры. Шла предполетная подготовка. Звено Шубина готовилось летать на пилотаж. Это — восхождение к вершине профессии истребителя. Потому так серьезен гвардии старший лейтенант Юрий Опарин, так сосредоточен гвардии капитан Владимир Бабкин. Полет всегда начинается с работы мысли. И сейчас, наблюдая за маленьким МиГом в руке командира, каждый мысленно соизмеряет предстоящие полетные перегрузки со своей готовностью преодолевать их, технические возможности истребителя последнего поколения с укоренившейся в полку техникой пилотирования — каждый раз непременно на максимуме сложности. В рабочие тетради лягут цепочки замысловатых формул: аэродинамические расчеты тоже входят в предполетную подготовку.

А утром над бетонной полосой аэродрома грянул гром двигателей. Остроклювые серебристые птицы после мощного короткого разбега взмывали ввысь. В считанные секунды они пробивали редкие облака и уходили за пределы видимости. Эфир оживал сдержанными переговорами. Звено Александра Шубина готовилось к построению ромбом. Еще мгновение, и в небе возникает четкая геометрическая фигура. Вот «ромб», словно подхваченный ветром листок резко взмывает вверх и вдруг падает на ребро, скользит к земле, с ужасной скоростью теряя высоту. Замысловатый вираж, и прямо на глазах «ромб» рассыпается. Самолеты тают в голубой лазури высоты. А с неба рушится на землю грохот. Это только теперь доходит до аэродрома звук мощных турбин. Пилотаж идет на «сверхзвуке».

Майор В. ПРЕГОЛИН

Фото А. ДЖУСА

...И НА МОРЕ

ДВУХ ОДИНАКОВЫХ выходов в море не бывает. Но этот получился самым неординарным. Сначала налетел шквал и бесцеремонно вытолкнул тральщик за границу полигона. Потом, когда вернулись в «исходное» и красные бочонки отводителей дробно потянули за собой трал, в мачту ударила молния. Ее наглый визит так раздосадовал тральную лебедку, что она добрый десяток минут отказывалась работать. И вот теперь — заполошный крик сигнальщика:

ЗНАКОМЬТЕСЬ:
«КОМСОМОЛЕЦ КИРГИЗИИ»

— Тюлькин флот!.. Извиняюсь, рыбаки, товарищ командир...

Старший лейтенант Виктор Пушин обернулся с юта на сигнальный мостик. С такой большой дистанции отчитывать моряка за неуставной доклад было несподручно, и он лишь прокричал:

— Отсемафорьте. Пусть подойдут.

Парадоксально, но получалось следующее: чтобы выгнать рыбаков, заплывших в полигон на шлюпках, нужно сначала пригласить их зайти туда поглубже. А как иначе? Не станешь же при них выполнять учебно-боевую задачу — подрыв шнурового заряда.

Шквал и молния совместными усилиями уже сдвинули время подрыва на час. Рыбаки могли это сделать на еще больший срок.

Пушин, не привыкший зря терять время, решил обойти корабль. По-флотски говоря — «от киля до клотика». И не только для того, чтобы воодушевить (политработник на тральщике не положен по штату), но и чтобы довести до каждого его обязанности при подрыве. Несмотря на то, что уже не раз объяснял это на берегу. Таков уж характер у Пушина. Если за что возьмется — доводит до совершенства.

Мечтал Пушин, выпускник Высшего военно-морского училища подводного плавания имени Ленинского комсомола, об атомоходе, о погружениях в холодные глубины океана, о ракетных стрельбах, боевых службах. А ему в отделе кадров предложили: «Очень нужны офицеры на тральщики. Пойдете, товарищ лейтенант?» Надо так надо. Взял под свою команду рейдовый тральщик. За год такой экипаж подготовил, что американцы приезжали его снимать для телесериала «Десять дней в СССР». Пушина там не только на корабле интервьюировали, но и дома. Многое их удивляло. Чистота на тральщике, веселые лица моряков, квартира («у лейтенантов даже квартиры есть?!»). Но, пожалуй, больше всего, что командир — комсомолец. Видно, нелегко им было вырваться из рамок штампа, согласно которому командиром корабля «у них» (то есть у нас) могут назначить только члена партии.

Вскоре Пушина направили на базовый тральщик «Комсомолец Киргизии».

По приходе на корабль Пушин сразу взялся за решение двух задач: повышение боевой готовности и восстановление шефских связей. В отличие от известной пословицы он не упустил обоих зайцев. Вывел тральщик в отличные, а вскоре приехали и шефы...

— О чем пишут? — войдя в гидроакустическую рубку, спросил Пушин старшину 2-й статьи Сергея Кобзева, секретаря комитета ВЛКСМ корабля.

— Понравилось шефам. К себе теперь зовут. Да разве у нас организуешь поездку?.. Сплошные согласования...

— А мы попробуем,— твердо сказал Пушин.

Действительно, однобоким получается шефство. Представители киргизского комсомола к морякам в гости приезжают, а те к ним — ни разу. Обидно, потому что есть десятки примеров совсем иного характера.

Радует, что хоть сами шефы в этот раз оказались не залетными экскурсантами. Как раньше бывало? Делегации «отмечались» на корабле, а потом растворялись в музейной тишине Ленинграда. Но представители колхоза «Дружба» Сокулукского района Киргизии попытались эти «традиции» сломать. Подолгу бывали на корабле, вникали во все нужды

Помощник командира корабля старший лейтенант О. Шабалин.



моряков, давали концерты самодеятельности. Не прерывалась связь и с их отъездом. Постоянно переписываются. Хотя, пожалуй, кроме переписки, можно было бы организовать и поездку моряков к шефам...

Поговорив с секретарем, Пушин направился в ПЭЖ — пост энергетики и живучести. Здесь мозговой центр корабельной механики. На моряков, несущих здесь вахту, ложится весомая нагрузка. Ставят трал — следят, чтобы скорость выше двух узлов не подскочила. Подрывают заряд — побыстрее из района сброса выходят. Да и остальные «мелочи»: освещение корабля, работа лебедки, питание станций. Даже нагрев камбузных котлов не проходит без механиков.

Здесь Пушина встретил старшина 2-й статьи Распек Узаков, командир отделения мотористов.

— Не нужно,— упредил Пушин доклад Узакова.

И без доклада определил по тахометрам все характеристики работы двигателя.

— Кто у дизеля? — спросил Узакова.

— Матрос Желалов.

— Справляется? Зачет на допуск туго у него шел...

— Техника...— уклончиво протянул Узаков.— Тут зачет потруднее, чем рулевому, сдать. Помогаю Желалову. Но вы же знаете, сколько бумаг прочитать да заучить, чтобы этот зачет сдать...

Пушин бросил взгляд на толстую стопку инструкций и книг на полочке вахтенного и мысленно согласился со старшиной.

— Да, хватает формализма,— негромко сказал Пушин.

Впрочем, не только в службе. С не меньшим формализмом отнеслись в комитете комсомола Киргизии к направлению своих посланцев на тральщик. Мало того что моряков, призванных из республики, всего четыре, но к тому же все они — в одной боевой части. Той самой, в пост которой зашел Пушин,— электромеханической.

Видимо, для того чтобы оправдать комсомольское имя корабля, недостаточно просто отделаться направлением туда двух-трех парней из республиканской организации. Кстати, в тридцатые годы, когда родилось шефство ВЛКСМ над флотом, губкомы комсомола посылали на корабли целые экипажи. Об эффективности этой меры можо судить хотя бы по тем рекордным срокам, за которые был восстановлен проржавевший до днищ и, казалось бы, намертво ставший к причалам флот...

— Товарищ командир, гражданские — у борта! — сбивает Пушина с мысли доклад рассыльного.

«Не все посты обошел,— с досадой думает Пушин.— Остался тральный расчет. А впрочем... С ними все равно рядом при подрыве находиться...»

С рыбаками общий язык нашел быстро. Взревели моторки — и вот уже полигон чист.

А тральщик, пока к точке подрыва не приблизились, занимается своим привычным делом — прочесыванием фарватера. С красными буйками, буксируемыми за кормой, он смахивает на трактор, тянущий плуг по пашне. Только не комья земли выворачиваются из-под его «лемеха», а мины. В наши дни, как правило, учебные, с мирным моржовым пофыркиванием выныривающие из глубин, после того как резаки трала перерубят стальной трос, удерживающий мину на якоре.

Условия не совсем, конечно, схожие с боевыми. Потому для большей достоверности моряки иногда используют подрывной патрон или, как сегодня, шнуровой заряд.

— Чисто? — спрашивает Пушин командира трального расчета старшину 2-й статьи Василия Рассоху.

— Мин нет,— отвечает моряк.— Фарватер прошли.

— Поднимите трал. Готовьте к спуску заряд.

— Есть готовить заряд! — подпрыгивает от радости голос Рассохи. Закончилось монотонное траление, начинается настоящая боевая работа.

Рядом с Рассохой приступили к выборке буев и отводителей старший матрос Александр Дронь и матрос Сергей Петренко. Операция тяжелая, требующая недюжинной силы. На помощь тральному расчету всегда приходят моряки, свободные от вахт. Вот и сейчас появились на юте комендор старшина 2-й статьи Антон Смоленский, штурманский электрик Магомед Луов, моторист матрос Эльдияр Сабыров. Подошел и старшина 2-й статьи Александр Сусяев. Не сдержался Пушин, спросил его:

— Ну как, надумал в комсомол вступать?

— Надумал,— не очень охотно ответил моряк.

— А почему заявление в комитет не несешь?

— Некогда все...

Не такой уж редкий диалог для флота наших дней. Все больше приходит на корабли несоюзной молодежи. Да и среди комсомольцев много случайных людей.

Вот и получается, что не комсомол шефствует над флотом, а наоборот — флот шефствует над комсомолом: разрешает давать комсомольские наименования кораблям. Перевоспитывает тех же панков и прочих неформалов, в большинстве своем приходящих на флот с комсомольскими значками. Растит ряды ВЛКСМ (вот и Сусяев, кажется, решил стать членом молодежной организации). Обеспечивает прием шефских делегаций...

— Трал убран! — докладывает Рассоха.

— Заряд — за борт! — коротко отдает команду Пушин.

Тихие мили закончились. Через десяток минут взрыв вздыбит море.

Капитан 3-го ранга И. ХРИСТОФОРОВ

**Краснознаменная Ленинградская
военно-морская база**

Первая страница обложки «Товарища»: На вахте матрос А. Жапапов.
Четвертая страница обложки «Товарища»: Учебная тревога.

Репортаж «Знакомьтесь: «Комсомолец Киргизии» читайте на стр. 188. Фото М. КЛИМЕНТЬЕВА.

ЖУРНАЛ В ЖУРНАЛЕ

Товарищ



Александр ПРОХАНОВ

КАРАВАН

Рассказ

Окончание. Начало на стр. 144.

Песчаные линзы становились все крупней, все чаще. Земля была похожа на огромный противень, на котором жарились и шипели желтки. Вертолет пролетал над огромной тысячеглазой яичницей, и Фролов восхищенно смотрел на эту глазунью, приготовленную по воле господа бога.

Песчаные линзы стали сливаться, наползать одна на другую. Вокруг закраснело, затуманилось, задымило, и клубящееся пекло пустыни покатило свои валы, горбы, наваленные ветром барханы. Фролов, пораженный не возможностью взрыва и выстрела, а величественной картиной иной земли и природы, невиданной прежде, жадно вглядывался в полумесяцы и серпы наметанных песков, в нежную, оставленную ветром рябь, в тончайшие лезвия и лопасти, выточенные дуновениями небес.

«Матерь-пустыня!» — шептал он бог весть откуда взятое сравнение. Она, бескрайняя, красноватая, уходила к горизонту, казалась изначальным материнским состоянием мира. Из нее, из этих нежных песков, излетали ночью творящие духи. Сюда же, в эти барханы, они опускались, прятались на день. «Матерь-пустыня!» — повторял он свое заклинание.

Он скоро заметил, что пустыня была не безжизненной. Вдруг мелькнуло круглое, вытоптанное пятно, и вокруг, мелкие как блохи, паслись овцы, черные и белые, и рядом верблюд, крохотный иероглиф с горбом и выгнутой шеей.

В песках тянулись следы. Тонкие двойные полоски, оставленные колесами. Огибали барханы, взбегали на песчаные груды, описывали вензеля. Иногда ныряли под бархан, пропадали под сыпучей горой. И Фролов понимал, что пески пребывают в вечном движении, кочуют, засыпают проложенную колею.

Вертолет, обнаружив след, пристраивался к нему. Словно включался в погоню. Двигался вдоль колеи, повторял ее выкрутасы. Летел, надеясь обнаружить машину. Не обнаруживал, отворачивал в сторону до новой проторенной по барханам дороги. Эта охота по следу возвратила Фролову чувство тревоги и ожидания.

Неожиданно Кожемяко, сидевший напротив, соскочил с места, задел Фролова, наклонился к саперу-донбассцу. Затыкал большим грязным пальцем в иллюминатор. Фролов услышал его слова:

— Вон «тоёта», гляди!.. Которую в декабре замочили!..

Посмотрев в направлении пальца, Фролов увидел в песках черное семечко, которое, если зорче его рассматривать, оказалось грузовичком, утонувшим в бархане. Вокруг грузовика песок был замызган, в мелких крапинах. И он понял, что здесь во время засады подкараулили и взорвали машину. Был бой, была схватка, были убитые. Вокруг занесенной «тоёты» разбросано горелое тряпье, изуродованные ошметки металла.

Он всматривался в пески и увидел еще несколько неподвижных машин — следы боев и засад.

За годы войны пустыню усеяла шелуха изуродованных машин. На караванных тропах шли непрерывные бои, летали вертолеты, высаживались досмотровые группы. И из этих непрерывных многолетних боев выпадал осадок — изуродованные машины, медленно заносимые песками.

Пустыня была населена. В ней шла война. И теперь он, Фролов, принимал в ней участие.

Вертолеты мерно летели. Не было боя, не было каравана. От ровного монотонного гула, от свечения песков солдаты впали в оцепенение, в сонную дурь. Армянин «агээсник» приклонил голову на плечо земляка и дремал, вытянув ноги, уперев кроссовки в станину гранатомета. Радист обнял рацию и клевал носом.

Недавние страхи и возбуждение сменились у Фролова слабыми, мерцающими в сознании видениями другой, нездешней жизни. Он знал, что летит в боевом вертолете над афганской пустыней, приближаясь к пакистанской границе, а вспоминал московское, домашнее. Это двойное существование в двух реальностях доставляло ему неясное наслаждение.

Он вспоминал кабинет деда, его тяжелый, старинный, орехового дерева стол. Предметы на этом столе, которые знал и любил с младенчества. С каждым из них с детских лет было связано нечто волшебное, сказочное.

Тяжелые, стеклянные кубы чернильниц под бронзовыми крышками, стоящие на мраморной черной плите, с двумя подсвечниками, в которых в зеленоватой медной глубине скопился старинный воск. Если смотреть сквозь стеклянную грань, в ней зажигалась короткая яркая радуга, и было чудесно глядеть в этот хрустальный спектр, думать, как дед или прадед, или кто-то еще, забытый, родной, макали перо в чернильницу, писали теперь уже несуществующие, исчезнувшие письма, кого-то поздравляли, кому-то сочувствовали, слали поклоны и укоризны.

Стеклянный, литой, зеленоватый шар, в который запаяны разноцветные пузырьки, тонкие серебристые иглы, бисерный блеск. Если взять в ладони тяжелую холодную сферу, приблизить к глазам, то начинало казаться, что в ней сокрыт, существует уменьшенный, населенный мир, с крохотными лесами, лугами и городами, с дорогами и придорожными храмами, и можно самому стать крохотным, войти в стекло, оказаться внутри шара и шагать по дорогам, заходить во дворцы и замки, знакомиться с их обитателями.

Два бронзовых зверя: медведь, взбирающийся на еловый ствол — старая настольная лампа, и морж с плоским брюхом, с привинчивающимся днищем — тайник для записок. Оба зверя присутствовали на столе, не выпускали друг друга из виду, вели меж собой какой-то непрерывный, неслышный разговор. И часто в болезни, когда разгорался жар, к его детскому изголовью склонялись две бронзовых головы, моржа и медведя. Пристально смотрели на него из потемок.

Коричневая, полированная шкатулка с перламутровым аистом, с горой Фудзияма. «Берлинская шкатулка» — так назывался ларец, ибо когда-то еще прадедом был привезен из Берлина, где прадед изучал философию. В этой шкатулке хранились дедовские документы, ордена, медали. Однажды тот уронил ее и разбил. Горестно охая, собирал лакированные дощечки. Складывал, склеивал. И он, внук, наблюдая осторожные, неуверенные движения деда, вдруг подумал и понял, что у деда с этими предметами связана своя собственная память,

детская суеверная тайна, относящаяся к исчезнувшей, пропадающей в прошлом жизни, к родовым преданиям и мифам.

Так думал Фролов, пролетая над красной азиатской пустыней, перебирая в небе драгоценные домашние образы.

Почувствовал, как дрогнул, резко колыхнулся вертолет. Изменил курс, и из кабины сквозь закрытую дверь раздался негромкий стук пулемета, пахнуло душком сгоревшего пороха. Так действовали летчики, когда замечали внизу караван, — рыхлили пулями землю на пути у верблюдов — останавливали караван.

Солдаты, услыхав пулемет, очнулись, прижались к стеклам. Вертолет опять колыхнулся, и Фролов сквозь иллюминатор увидел среди барханов вереницу верблюдов, пять или шесть животных, и на них — погонщиков. Караван исчез, а вертолет резко, круто, так что сдвинулось и поехало разложенное на днище оружие, стал снижаться.

«Вот оно! — успел подумать Фролов. — Сейчас!.. Начнется!..»

Машина еще не касалась земли, а борттехник раскрыл дверь, и сержант Кожемяко, подхватив автомат, заслонив на мгновение открытый проем, где клубилось, ревело взлохмаченное красное облако, кинулся вниз. Взмахнул на лету рукой, загребая за собой остальных. Солдаты выпрыгивали, и Фролов, толкаемый, теснимый стволами, мешками, сильными, рвущимися вперед телами, прыгнул в секущее, с проблеском стали, пространство. Побежал, пригибаясь, боясь удара плещущих лопастей. Закрыв глаза от пескоструйных, обдиравших лицо вихрей. Вырвался из-под винта в жаркую пустоту и увидел разбегавшийся веер солдат. Пулеметчик метнулся ввысь на бархан — ствол пулемета вперед, сошки растопырены, вот-вот ударит с бедра. Гранатометчики, пригибаясь, торопились к гребню, вытаскивали на него «агээс». Радист, махая за спиной хлыстом антенны, мчался прыжками, держа перед собой автомат. И все в разные стороны, веером, зная свое направление.

Фролов торопился, выбирая, за кем побежать. Вцепился глазами в широкую, удалявшуюся спину сержанта, и эта могучая, с тугим рюкзаком спина, быстрая работа локтей, ровное мелькание кроссовок повлекли его за собой. Не понимая, что нужно делать, забыв наставления командира, ожидая немедленный огонь и стрельбу, он машинально скрывался за этой спиной, спасался за ней, испытывая не ту недавнюю ненависть, когда бежал в противогазе, а влечение, стремление быть к ней ближе.

По плоскому песчаному склону, отпечатывая следы, вбежали на гребень. Фролов увидел — в далеком облаке пыли вторая приземлившаяся машина, бегущие от нее солдаты, а в стороне, заслоняемые этой пылью — верблюды, вытянутые зобатые головы, горбы, узловатые ноги. Погонщики спустились на землю и подняли вверх руки. Низко, на разных высотах, летали два штурмовых вертолета. Удалялись и вновь, как рыбы, проскальзывали над караваном, пронося над ним свои ракеты и пушки.

Задыхаясь, чувствуя, как утопают ноги в песке, он бежал с одной-единственной мыслью: не отстать и в момент стрельбы не остаться одному, а быть с сержантом, знающим, сильным, умелым.

Замечал на бегу, как упал на гребне пулеметчик — занял позицию, упер на сошках ствол, разбросал на песке длинные ноги. Гранатометчики, сложив «агээс», сочленив станину и ствол, направили его в сторону каравана. Радист, припав на колено, колыхал антенной. Сапер на ходу свинчивал длинный щуп, выставил его, как копье. Кожемяко, не оглядываясь, бежал к каравану, зная, что Фролов и второй автоматчик поспевают за ним.

«Вот... Сейчас... Будет бой...» — Фролов наставил автомат на недвижных зверей и на двух, с поднятыми руками, погонщиков.

Добежали, вломились в караван. Фролов оказался вдруг среди двух косматых верблюжьих боков с полосатыми вьюками. Две глазастых верблюжьих головы смотрели на него свысока, оттопырив губы, скаля желтые мокрые зубы. У ближнего зверя на лоб спадала пыльная челка, перевитая ленточкой, в которой блестел разноцветный бисер. Сержант крутанул обоих погонщиков спиной к себе. Охлопывал, ощупывал их линялые блеклые одежды, от голых щиколоток, по шароварам, балахонам, запуская пальцы даже в чалму. Погонщики безропотно давали себя обыскивать, все так же подняв ру-

ки вверх. У одного в ладони была зажата хлебная лепешка.

— Живо!.. Смотри!.. — командовал Кожемяко саперу, и тот, набежав, задыхаясь, стал тыкать острый щуп в полосатые мешки, много раз, часто, быстро. Фролов видел, как уходит щуп сквозь полосатую ткань во что-то мягкое, хрупкое. После укола в образовавшуюся дырочку посыпалась струйка крупы.

Погонщики, чернолицые, почти как негры, худые, с красными трахомными глазами, в разбитых башмаках, напоминавших верблюжьи копыта, смотрели отрешенно. Один продолжал есть лепешку, и зубы у него были гнилые, вяло пережевывали сухой хлеб.

Низко, с треском летали вертолеты. Отливали коричневым солнцем верблюжьи глаза. Пахло звериным потом, прелыми людскими одеждами. Торчали на горбах деревянные поперечины, кожаные драные седла, полосатые тюки с поклажей.

Караван, один из бесчисленных, древних, идущий в горячих песках с незапамятных времен, караван был рядом с Фроловым. Пустыня катила на них свои душные пески, громоздила барханы, а он с автоматом стоял в этой красной пустыне.

— Нет ничего!.. Айда!.. Бегом!..

Сержант метнулся обратно. За ним сапер, автоматчик. Фролов задержался секунду, озирая людей и животных, и погонщик простодушно протянул ему надкушенную лепешку. Фролов замотал головой, побежал догонять сержанта назад, к вертолету, видя, как поднимаются с песка гранатометчики, разбирают «агээс», как покидает позицию пулеметчик и, пятясь, отступает с вершины бархана. Разворачивается, бежит к вертолету.

Добежали, нырнули под свист винтов. Впрыгнули по ступенькам в нутро. Задыхаясь, упали на лавки. Машина взмыла, косо пошла. Фролов разглядел в стекло близкий караван, верблюжьи головы, запрокинутые лица людей, провожавших ревущие машины.

Только тут он осознал до конца, что караван был мирный, тянул из Пакистана поклажу зерна и крупы. И увидел, что автомат его не был снят с предохранителя. Испытал мгновенный стыд и испуг — не увидел ли кто. Но все сидели, отдыхая от бега, прижавшись к обшивке. Кожемяко стянул кроссовку, вытряхивал из нее песок.

Снова шли в горизонтальном полете, отбрасывая в пески скользящую тень. Появлялись и исчезали длиннохвостые «двадцатьчетверки». Возникал краснозвездный, пятнистый «ми-восьмой». Фролов, взволнованный, бодрый, зоркий, смотрел на пески. Его первая встреча с пустыней прошла без боя, но теперь он знает, каков караван, как проводят досмотр, как выглядят погонщики и верблюды, и все это не страшно, понятно.

Он испытывал вину перед чернолицыми, бедно одетыми людьми, совершавшими изнурительный путь по пескам, на которых сверху плюхнулись ревущие стальные чудища, набросились до зубов вооруженные люди, остановили их, насильно обыскали, а те наивно и простодушно отдавали все, что имели — черствую сухую лепешку.

Но сильнее вины было новое, удивительное, бодрое чувство: он, ловкий, смелый, опытный воин, вместе с другими, такими же, провел операцию в жарких красных песках, в безводной азиатской пустыне. В это время где-то в Москве его сверстники, его родные и близкие живут обычной будничной жизнью среди привычных площадей и бульваров, катят в метро и троллейбусах, стоят в очередях, сидят в институтах на лекциях, а он, солдат, в тяжелой амуниции, с тяжелым, метко бьющим автоматом, только что бежал по пескам, и пахнущие потом жаркие пыльные звери пялили на него свои лилово-коричневые выпуклые глаза.

Сознание своей силы, общности с другими, принявшими его в свое братство, было упоительно.

— Там Пакистан! — толкнул его в бок радист, указывая пальцем на рыже-синие туманные горы, выраставшие вдали из песков.

Он смотрел на эти горы, изумляясь, куда занесла его судьба. Маменькин сынок, любимец бабки и деда, летит сейчас в боевом вертолете к далеким пакистанским горам над красной пустыней Регистан.

Он смотрел на пески, на багровые сланцы, на тусклые пепельные предгорья, казалось, подернутые синим прозрачным пламенем, и ему чудилось — он пролетает над маткой мира, над горнилом, где издревле рождались, обжигались, выпускались на поверхность земли племена и народы. Разбредались из этой пустыни во все стороны света, создавали царства, возводили города и святилища.

И он, Фролов, как ангел небесный, пролетает над этим горнилом, опаляемый синеватым огнем.

Он почувствовал крен вертолета. Тут же, сквозь дверь кабины, долетела пулеметная очередь, сквознячок пороховой гари. Машина, кренясь, устремилась вниз, и Фролов, с вернувшимся чувством страха, тревоги, но и с нетерпением, азартом, в ожидании острых, волнующих впечатлений, прижался к иллюминатору. Сильно скосив глаза, увидел под днищем машины караван. Десяток верблюдов, вытянутых вереницей, казался черным, зачехленным в темные попоны, а одежды погонщиков белоснежно сверкали. Передний верблюд отделялся от каравана, начинал убегать в сторону. Белая чалма погонщика блестела, как осколок льда.

Они сели резко, быстро. Винты возгоняли ввысь мутный, грязный смерч пыли. Забрасывали в открытую дверь струи песка, Фролов, оказавшись у дверей, набрал полную грудь воздуха, закрыл глаза, кинулся, как в омут. Ударился о песок, упал, слыша над головой рев лопастей. Увидел сержанта, гневного, оскаленного. Беззвучно сквернословя, Кожемяко дернул его за плечо, подымая, метнулся вперед, и Фролов, огорченный оплошностью, испытывая вернувшуюся неприязнь к сержанту, побежал вслед за ним, обгоняемый другими солдатами, дальше от пыли и рева, по плотному спрессованному песку, разлетавшемуся под подошвами на мелкие пластины.

Караван стоял впереди, рельефно чернея на желтой гряде. Погонщики спешились, подняли руки. Второй вертолет, опустившись, гнал к небесам мутную башню праха. И из этой башни сыпались, выбегали солдаты. В небе над караваном метались, пересекали курсы две «двадцатьчетверки», скользкие, хищные, как щуки.

Фролов бежал, переведя предохранитель на «очередь», упорно, глядя исподлобья в спину сержанта, успевая заметить, как падают, занимая позицию, пулеметчики и «агээсники». Одежды караванщиков, бело-голубые, сверкали, приближались. И он хотел побыстрей их достичь, оказаться среди пестрых вьюков и глазастых животных, смуглых бородатых людей. Ощутить жаркую, загадочную жизнь каравана.

Увидел — от каравана с шипеньем метнулась огненная струя, ударилась о песок, подскочила и, оставляя

клочья огня, рикошетя, пролетела к вертолету и взорвалась в стороне, грохнув копотным жирным пламенем. Вслед за ней ударили очереди. Караванщиков, мгновенье назад стоявших с поднятыми руками, не было видно. Оттуда, где они только что были, колотило, бухало. Пули близко просвистели над головой Фролова.

— Ложись! — крикнул сержант, падая на бархан, переворачиваясь, прокатываясь в вихре песка.

Фролов продолжал бежать, огибая рухнувшего сержанта, навстречу каравану, застывшим верблюдам, белым, лежащим на песке погонщикам, стрелявшим из автоматов.

— Ложись! — крикнул ему вслед Кожемяко, и Фролов, настигнутый его грозным окриком, понимая случившееся, упал, повторяя в кувырке движения сержанта. Мешок с сухпайком больно ударил в спину. Пластины песка, оторвавшись от коросты бархана, резанули по лицу, заскрипели кварцем на зубах.

Снова от каравана полетела граната, мерцающая дымная голова. Ухнула вблизи вертолета. Караванщики вскакивали, гнали верблюдов, оборачивались, отстреливались. Им в ответ ударил с гребня пулемет. Следом второй, невидимый, там, где пылил другой вертолет.

Фролов, упав, наглотавшись песка, видел, как летят в разные стороны трассы. Слышал, как бьет сзади, над его головой, автомат Кожемяко. Сам пытался стрелять куда-то в пыль, в солнце, в скопленье мерцающих точек. И не страх, не растерянность, а изумление: «Вот оно!.. Так просто!.. Я убиваю!.. Меня!.. Здесь, на свету, на солнце!..»

Караван удалялся. Бежали в пыли длинноногие верблюды. Колыхались на их спинах погонщики в белых одеждах. Оглядывались, отстреливались. И Фролов, забывая сменить пустой магазин, думал мимолетно: «Не страшно!.. На солнце!.. Я убиваю!.. Меня...»

Он сменил магазин, ожидая приказа бежать.

«Двадцатьчетверка» возникла в блеске кабин. Плоско, низко пошла вослед каравану, соскальзывая, как на лыжах, в слюдяных сверканьях и вихрях. От нее протянулись вперед черные косматые гривы. Догнали караван. Поддели его огромной совковой лопатой. Отодрали от земли, окутывая дымом и грохотом. Взрывы мерцали, лопались среди бегущих верблюдов, расталкивая их и расшвыривая. Животные падали, пропадали в дыму, а

у тех, что бежали, на горбах подымались белые факелы. Звери ревели, сгорали, мчались очумело в пустыню. Их поклажа взрывалась, проламывала им хребты, и они рушились, растерзанные, превращенные в груду костей и крови.

Вторая машина подобно первой пошла скользить, продлевая свое движение косматыми остриями ракет, дотягивая их до каравана, взрывая бархан, соскребая, сдирая остатки жизни. И там, где бежали верблюды, отстреливались погонщики, там вспыхивали космы огня, взвивались горящие клочья, осыпались в пустыню.

Фролов в ужасе, вытянув шею, смотрел на истребление каравана. Мутные жирные дымы поднимались в небо, словно верблюды, испарялись, превращались в горбатые косматые клубы, продолжали бежать. И из этих бегущих клубов вырвался вдруг живой, неубитый верблюд. С ревом, обезумев, побежал на Фролова, отворачивая голову, скаля зубы, вышвыривая вперед толстопалые ноги. Из-за спины долго, длинно ударил автомат Кожемяко. Зверь рухнул на передние колени, пропорол песок, заваливаясь, брыкая ногами, подымая длинную шею.

Там, где был караван, на рыжих песках чернело и тлело. Там продолжало чадить, мелко трещало и хлопало — взрывались попавшие в пламя патроны.

Все было кончено. Летел дым из костровища.

— Вперед! — приказал Кожемяко, вскакивая. — Досмотрим!.. Быстро за мной!..

Побежал, держа автомат, сначала к ближнему, застреленному им верблюду, а затем, оглядываясь на бегу, дальше. Фролов его догонял, боясь дышать, боясь глотнуть смрадный, пахнущий палеными шкурами, горелыми костями дым.

Ближний верблюд лежал, вытянув пробитую шею. Из раскрытого зева вздувался липкий пузырь слюны и крови.

Фролов отшатнулся от зверя. Обогнул его. Побежал по его следам, боясь наступить на круглые отпечатки, оставленные бежавшим животным.

Натолкнулся на другого верблюда. Куча шерсти, белых костей, горы красного парного мяса, расшвырянные комья кишок, черная липкая печень. Кровь впитывалась в песок, на глазах высыхала.

Фролов ужаснулся, наступив на липкую жижу, шарахнулся. Но сержант ловко, змейкой, наклоняясь, рассматривая, продолжал бежать. Со стороны, от второго вертолета, приближались другие солдаты. И Фролов, заставляя себя не думать, откладывая на потом жуткое зрелище смерти, следовал за сержантом.

Погонщик, убитый, вцепился рукой в песок, захватил в кулак горсть красного праха. Лежал лицом вверх, оскалив в черных усах белые зубы, будто беззвучно визжал.

Дальше валялись тюки, разбитые ящики, раскатившиеся круглые мины, с ребристыми пластмассовыми поперечинами. Груды патронов, белые пластиковые пеналы, в которых таились заряды для гранатометов.

Кожемяко носком кроссовки расшвыривал тряпье, поднимал и снова опускал пеналы с гранатами. Фролов приближался к нему, сторонясь двух убитых погонщиков. Один в чалме, лицом вниз, бугрил на спине балахон — весь зад, просторные белые шаровары были иссечены осколками, кровоточили, расплывались пятнами. Другой, без чалмы, с длинными черно-волнистыми волосами, лежал на спине, сжимая в руке автомат. Его молодое лицо было бледным, и на нем резко чернели брови, усы и бородка. На автомате, на деревянном прикладе пестрела наклейка — распустившийся сине-серебряный цветок.

Кожемяко наклонился над полосатым расползшимся мешком, вытаскивая из него жестяные ящики. Уперся подошвой в дерюгу, рвал, тянул, выволакивал цинки, маслянистую трубу гранатомета. Фролов следил не за ним, а за бледным, с черными бровями лицом, которое вдруг шевельнулось. На этом лице открылись глаза, уперлись в близкую спину сержанта, наполнились мгновенной болью, жизнью, блистающей слезной ненавистью. Погонщик оторвал от песка руку с автоматом, стал переносить его к себе, направляя ствол в Кожемяко. И тот, почувствовав, оглянулся, замер, помертвел, оцепенев, обессилев, будто его коснулось колдовство бледного, ненавидящего, чернобрового лица. И видя, как тянутся пальцы погонщика к спуску и тает, истекает секунда, отпущенная для жизни сержанту, Фролов близко, в упор, ударил в погонщика — грохочущую, тупую очередь, в голову.

Кожемяко, очнувшись, тяжело дыша, подошел.

— Ну ты даешь!.. Не заметил!.. Так бы и срезал, пад-

ла!.. — и выдернул из руки погонщика автомат с серебристой наклейкой.

Подбежал комвзвода. Издали видел случившееся. Приобнял Фролова:

— Правильно действовал! — и тут же крикнул подбегавшим солдатам: — Стволы собрать, на борт, с собой!.. Боеприпасы, мины в кучу и подорвать!

И пока солдаты, торопясь, стаскивали оружие, волокли к вертолетам, пока снайперы укладывали штабелями мины, гранаты, уцелевшие цинки, обклеивали их липкой взрывчаткой, Фролов топтался на месте, боясь посмотреть туда, где топорщился на спине балахон, лежала черноволосая, расколотая пулями голова.

Летели назад в вертолете среди груды трофейного оружия. Радист держал в руке ремешок с медной бляшкой, усеянный бисером. В круглых иллюминаторах текла, пламенела пустыня. Фролов вдруг увидел на своем рукаве маленький бело-красный шмоток, липкую высыхающую брызгу. Ему стало дурно. Осторожно, чтобы не видели остальные, он вытер рукав о дрожащую обшивку. И почувствовал, как всплывает в желудке, подкатывается к горлу ком рвоты. Удерживал себя, страшась, что его может стошнить тут же, в летящей машине. Дышал глубоко, сжимал до боли ладонь. Рвота не отступала. Все казалось тошнотворным: набросанное на пол свое и чужое оружие, пыльная форма, измызганные, полные песка кроссовки, ремешок с бисером в руке радиста, проплывавшая внизу гончарно-красная пустыня. От всего исходил тошнотворный, душный, приторно-сладкий запах. И он сам, его тело, его руки источали этот запах умертвленной плоти.

Он едва дождался, когда машины приземлятся в расположении части. Выскочил, отбежал в сторону и его стошнило тут же, на зеленом аэродромном железе.

В казарме ему совсем стало плохо. Почувствовал озноб, хотелось пить.

— Да ты температуришь, Фролов! — сказал Борисенков, кладя на его пылающий лоб большую прохладную ладонь. — Давай в медроту пойдем!

— Не надо, — остановил его Кожемяко. — Пройдет. Нервы. Со мной то же было, когда первого уложил... Давай здесь полежи тихонько, — сказал он Фролову. — Отдохни, к вечеру выздоровеешь.

Он взял Фролова под локоть и бережно, как старичка через улицу, подвел к койке. Дождался, когда тот уляжется. Наклонился над ним.

— Ты мне, Фролов, теперь как брат! — сказал Кожемяко. — Ты меня с того света вытащил! Я теперь для тебя все сделаю. Если с тобой когда что случится, только позови — все кину, к тебе приеду! Ты мне брат, понял?

— Уйди, — тихо, слабо попросил Фролов, чувствуя, как разгорается жар и какие-то огромные железные створы медленно разверзаются над ним, вовлекая в другое, наполненное пламенем пространство.

Кожемяко исчез, а вместо него появился взводный.

— Правильно действовал, Фролов, — сказал командир.

А Фролов не знал, мерещится ему или нет. Молчал, смотрел на близкое, окруженное мутным пламенем лицо.

Ночью у него был озноб. Кто-то вставал, подходил к нему, кажется, Кожемяко. Накрывал вторым одеялом, подтыкал под ноги.

Голова горела. В раскрытых глазах колыхался бред. Будто все небо — в хлюпающих красных ломтях, в провисших кишках, в громадных, с торчащими мослами окороках, и он отталкивает, отбивается от этих душных, липких, сдавливающих его ломтей, и сквозь тяжкую душную плоть проносятся режущие стальные смерчи, свистящие острые лопасти, и в местах разреза брызжет, трещит и льется.

Среди ночи бред кончился. Жар спал. Он лежал, обессиленный, среди спящей казармы, громких окружавших его дыханий.

— Ну, как ты? — наклонился над ним Борисенков. Большая, осторожная ладонь ефрейтора коснулась его лба. — По-о-стыл!

— Пить! — жалобно попросил Фролов.

Борисенков исчез и вернулся с кружкой. Поддерживал ему голову, вливал теплую, пахнущую хлоркой воду.

Фролов пил, чувствовал на затылке большую ладонь ефрейтора и беззвучно, бесслезно плакал.

●



ПОЭЗИЯ

Олег ХОМЯКОВ

ЗА ТЕНЬЮ ВЕЛИКОЙ БЕГУ

ВОЙНА

Не снаряд пролетел, не картечь,
От фугаса взрывная волна.
И солдатскую голову с плеч
Сорвала — словно сдула — она.

С трехлинейкою наперевес,
Обезглавленный, он бежал
В опоясанный дотами лес
По опушке — пока не упал.

Я свидетельства те берегу,
О войне, умножая их ряд.
Я за тенью великой бегу,
Как в атаку солдат.

КИНО

«Десять винтовок на весь батальон.
В каждой винтовке последний
патрон.
В рваных шинелях, в драных лаптях
Били мы немцев на разных путях...»

О Максим! По праву ветерана
Пролетарских питерских застав
Ты шагнул с погасшего экрана
Прямо в зал — гитару в руки взяв.

Сколько чувства в песенке недлинной!
Сколько веры в наш победный час!..
После киносборника — картина
О суровой битве за Кавказ.

Дед-джигит вручает внуку посох:
— Бей врага! —
И парень, словно барс,
Палкой лупит немца прямо, косо...

Но нужней снарядов этот ф а р с.

ПАРАШЮТИСТКА

Штабам перед сраженьем многоценна
О вражеских тылах известий цепь.
Моя землячка Юдинцева Лена
Спустилась на парящем шелке в степь.

То не была коварная засада,
Но парашюта грузового тюк
Опавший лег в степи не там, где надо.
И полицай его заметил вдруг.

Тревога! По тропиночке сторонкой
Уйти бы — только в поле нет дорог.
И, бой приняв, в последний миг девчонка
Пустила себе девять грамм в висок...

ЗВУК

В слове э х о первый звук услада
Слуха, в нем живительные тоны.
Но — следите рокот канонады:
Э-шелоны, э-шелоны, э-шелоны...

Вот уж заиграли, как по нотам,
Танковые «пушки заряжены»!
И с врагом в бою сводили счеты
Э-скадроны, э-скадроны, э-скадроны...

Так зовут на бой и на работу
Звуки, обретающие крылья.
Красные готовятся к полету
Э-скадрильи, э-скадрильи, э-скадрильи...

СТАЛИН

Человек в погонах золоченых,
Полуполководец-полумаг.
Сталин — символ воли, заключенной
В красный сокрушительный кулак.

Большевик в буденовской шинели,
Глаз полуприщуренный остер.
Сталин — вышка черная в метели
И колымский лагерный костер.

НОЧЬЮ 22 ИЮНЯ

Волею народною когда-то
Нам достало мудрости решить —
Место неизвестному солдату
У стены Кремлевской посвятить.

Если воин павший — в небе птица,
На исходе памятного дня,
Без вести пропавшие
К столице
Устремились, головы склоня.

Если души заживо сгоревших —
Капельки дождя в листве берез,
Над Москвой, с границы подоспевший,
Ночью той пролился ливень слез!..

ГОСПИТАЛЬ

Юные артисты в бывших классах,
Клоунам и рубища к лицу.
Может, поглядев на их гримасы,
Боль от раны легче скрыть бойцу.

Посветлеет, сузится немного
Муками расширенный зрачок,
Если под гармошку у порога
Мы веселый спляшем «казачок».

Ставьте, акробаты, пирамиду,
«Звездочку» уприте в потолок!
Чудо, если горькую планиду
Клясть устанет инвалид без ног.

Вот парад-алле, как май веселый,
И поклон! И просят снова нас
Быть с концертом!
А кому-то школу
Вспомнить довелось — в последний раз.

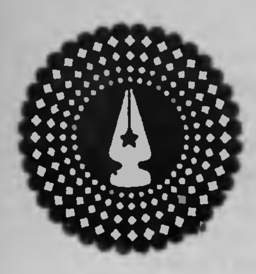
ЖЕМЧУГ

Душманов было много. Они шли
В густой ночи за нами по пятам.
Мы впятером двух раненых несли
По каменным, неведанным путям.

Нас перевал проклятый доконал!
Ефрейтор на хребте моем истек
Последней кровью.
Лейтенант достал
Залитый кровью смятый коробок.

Пять спичек-жизней. Только у одной
конец обломан. Он — твоя судьба.
— Жемчужников?.. Останься и прикрой
Огнем отход. Иначе всем «труба».

Сергею девятнадцатый годок
Пошел в то утро, но не в этом суть.
Он дрался, он держался сколько мог!
И жемчугом упал горе на грудь...



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

КОМСОМОЛ В ПЕРЕСТРОЙКЕ

Николай ТКАЧЕНКО

НА ПОРОГЕ БОЛЬШИХ ДЕЛ

Саша Тендитный руководит комсомольской организацией Челябинского тракторного завода первый год. Он — инженер, выпускник Кустанайского индустриального института. Пять лет проработал на ЧТЗ по специальности. Выдвинули на комсомольскую работу. Выбрали его секретарем восьмитысячной комсомольской организации, приравненной по правам к райкому. Трудно ли работать с таким большим коллективом? Трудно, он этого и не скрывает. Опирается на опыт предшественников, бывших секретарями в 70—80-е годы. Правда, не все в их опыте приемлемо, переносимо в сегодняшний день, но каждый из них в меру своих сил и гражданского долга пытался в годы застоя противостоять всесильному духу обюрокрачивания комсомола. Возможно, у каждого это получалось с различной долей успеха, но их опыт, как и опыт вожаков фронтовых комсомольских бригад в годы войны, и трагический опыт вожаков 30-х годов, опыт людей дела, требовал осмысления, анализа, вовлечения в повседневную практику демократизации общества.

Трудно было, не окунувшись в заводские дела, говорить с Сашей Тендитным о заводском комсомоле. Поэтому мы втроем, вместе с его замом Вадимом Росляком, решили, где надо мне побывать, кого повидать. Завод огромный, и первые два-три дня Вадим водил меня по цехам, с утра организовывал встречи со специалистами, ветеранами, сотрудниками заводского музея, газетчиками.

Вадим — истинный заворг. По образованию он инженер. На заводе по династической линии: отец Вадима, один из ведущих конструкторов кузнечно-прессового производства, видный рационализатор. В комсомоле Вадим работает с институтских времен. У него великолепная память, знание структуры завода, людей, проблем, текущих вопросов. А в объединение ЧТЗ входит 13 заводов, находящихся в том числе и в других городах, 155 первичных комсомольских организаций. Общительный, живой, мгновенно схватывающий суть дела, Вадим иногда хмурится и огорченно говорит:

— Эх, такие дела в стране раскручиваются! А нас тут принимают за мальчиков по старинке, не доверяют по-крупному.

И у меня создалось впечатление, что часть «рядовой» комсомолии разуверилась в действенности комсомола. На флагмане отечественного тракторостроения, с трудом втягиваясь в дела перестройки, едва только делают робкие шаги: апробируются элементы хозрасчета, выбираются руководители, припозднились и с созданием совета трудового коллектива.

Десятилетиями заводское руководство не допускало комсомол к планированию, экономике, инженерно-технической и кадровой политике, созданию полноценного соцкультбыта. В чем причина? Сказались экстенсивная, затратная экономика, административно-командный стиль, как вирус, въевшийся в организм 60-тысячного колосса-богатыря, где комсомолу была уготована декоративная функция.

Комсомол не приучили по-хозяйски думать и действовать, потому и был он как бы отлучен от проблем производства. «Занимайтесь досугом!» — отфутболивали его по привычке, подкупали дотациями на досуг, на культуру, на спорт. Вот вам и вся механика: не путайся под ногами, не мельтеши!

Комсомол поневоле стал пассивной организацией. Административно-командной системе, где команды идут только сверху вниз без непосредственной обратной связи, нужны послушные исполнители. Так было долгое время. Во многих цехах ЧТЗ и по сей день руководители убеждены сами и убеждают других, что серьезные дела комсомолу «не по зубам». Долгое время секретарь кузнечного производства Николай Левченко бился за создание комсомольско-молодежного трудового коллектива — КМТК, не раз обращался к начальнику производства А. Дуженкову, бывшему лидеру заводского комсомола. Да так ничего и не вышло. Год назад на глазах у всех распался лучший КМТК объединения, руководимый В. Игнатенко.

Примерно в то же время комитет комсомола обратился к заместителю генерального директора Чайкову с просьбой передать комсомолу шефство над ремонтом детского сада, а в компенсацию получить несколько мест. Чайков рассмеялся:

— Да что вы, ведь вы не потянете! Нет, я категорически против. Это — авантюра!

Плохо, когда инициатива наталкивается на прочную стену недоверия. Что можно требовать от комсомола при таком к нему отношении? Да единственное — чтобы безотказно выходила молодежь на сверхурочные смены, на субботники чистить дороги, собирать металлолом и не «путалась под ногами» со своими идеями.

Тут можно войти в положение Вадима Росляка, когда на одном из заседаний молодежного клуба «Аргумент» он вполне серьезно спрашивал у собравшихся молодых людей: «Объясните, как может комсомольский вожак реально влиять на производство? Не понимаю». Хотя комсомольский вожак литейного производства Сергей Антонюженко, думается, мог бы ответить на этот вопрос вполне конкретно, ибо он не может себе представить руководителя производства М. Пекарского, общающегося в приказном тоне с комсомольским вожаком. Также лучшие руководители предприятия А. Лысов, Н. Ефременков, В. Казанников не скупятся на время, когда надо выслушивать молодых людей, советоваться с ними, но главное — поддерживать, помогать, продвигать инициативную молодежь, не страшась конкуренции. Это — плоды совместной работы руководителей с комсомолом, плоды доверия к молодежи. Но таких-то руководителей, к великому сожалению, единицы!

Пока что едва ли не любой из руководителей на заводе может приструнить комсорга, ведь тот в цехе сидит на «его» штатной цеховой ставке, то есть, по сути, является «подснежником». Но, думается, не только в этом причина. Она и в калибре личности комсомольского вожака. Спрашивается, чья же здесь больше вина, когда комсомольские вожаки нередко становятся свадебными генералами? Они подолгу заседают на бесчисленных совещаниях, слетах, они безмолвно ставят свою подпись на всевозможных документах, неделями и месяцами решают пустяковый вопрос, дискредитируя комсомольское дело, а заодно и дисквалифицируясь как профессионалы, получившие некогда специальность, зачастую и высшее образование.

И как не вспомнить пресловутую поговорку времен застоя: «Хочешь провалить дело — поручи комсомольцам». Ведь много лет комсомол, заваленный бумагами, всякими починами, «походами», приучал к этой мысли хозяйственников, а сам увязал в трясине бюрократизма. Теперь меняются, хотя и медленно, подходы к решению наболевших вопросов. Партия конкретно определила первоочередные задачи, стоящие перед обществом. Комсомол должен прочно определиться в своих позициях на этот счет. Есть ли у заводчан идеи, в ближайшие сроки способные вдохновить молодежную массу? В ответ на это Саша Тендитный сказал:

— Комсомолу нужны права, регламентирующие деловые контакты с администрацией. Ведь нередко, прежде чем зайти в кабинет к начальнику, думаешь, в каком он сегодня настроении, что у него на уме, какую изыскивать «дипломатию»? Это ненормально. Наши отношения должны строиться на интересе к общему делу.

— Но вас прежде всего должны к этому делу подпустить? — спрашиваю комсомольского вожака. — А потом, когда подключат к делу и увидят, что вы хорошо справились с ним, сделались незаменимыми — отдать вам это дело без всякой мелочной опеки и придирок? Есть такие или хотя бы подобные уже дела у твоих комсомольцев? Неужто все зависит от «протокольной стороны» дела? А что, по сути, нужно, кроме живой души и ума, какой нужен рычаг, чтобы сдвинуть с мертвой точки застарелое мышление?..

— Рычага такого пока у нас нет. И дела глобального по заводу нет. Можно сказать, прицеливаемся, стратегию просматриваем. Тут ведь не нужны методы лозунга или приказного тона — с новой идеей по-новому жить в человека надо войти. Необходимо, чтобы он согласился с ней и откликнулся.

— Ну, а конкретно как это сделать? Что предпринять?

— Вот мы и думаем. Прежний аппаратный инструментарий тут не годится. Не поверят и — не откликнутся. Да и люди в массе своей, чего скрывать, не дотягивают до требований современной общественной жизни. Слишком высока планка. Чтобы бороться за свои идеалы и права, нужны хорошие знания, а комсомолу в наследство от застойных времен досталась катастрофическая нехватка правовых, экономических, социально-трудовых знаний.

— Значит, лидеров надо подвергать экзамену на соответствие занимаемой должности — и у вас, в комсомоле, и в эшелонах заводской власти?

— Я не думаю, что нужно такое обобщение. Что касается нас, то комсомол надо возрождать с низовых организаций — первичек.

— Значит, лидеров надо отыскивать, выдвигать от станков, вагранок и кульманов?

— Безусловно. Отыщем таких лидеров — и сподручней будет вытаскивать людей из застойного состояния безразличия, пробуждать в них чувство собственного достоинства, а значит, и чувство социальной активности. Тут мы только подступаем к истокам большого дела. Ведь прежде у многих общественная работа интереса не вызывала.

Выходя из кабинета Тендитного, я подумал: а ведь некогда рычагом комсомола была, пожалуй, не сумма знаний, а безоглядная вера. Ныне наступила пора просвещения и осознанного выбора пути. Что же будут искать они, теперешние запевалы? Как будут пробиваться к душе своего поколения? Не уйдет ли изрядная доля их энергии на пустые разговоры, на движение по новому ложному пути псевдореволюционной фразы?

Сергей Антонюженко, секретарь комитета комсомола литейного производства, почти каждый день начинает с обхода цехов, где из семи тысяч работающих — 630 комсомольцев. Он знает практически все о ребятах. Обещаний не забывает, в любом деле берется помочь, добиваясь цели. Начал он комсомольское дело с давно забытой традиции — организации конкурса на лучшую комсомольскую группу-первичку. Лично сам разработал систему оценки работы комсомольцев в бригадах, цеплявшую человека за пружинку здравого самолюбия. «Подтянись, братцы! — часто говорил им. — Наше дело литейное, мужское, не для хилых — весь завод на плечах держим!»

Не обошлось у него и без конфликтов со старыми активистами комитета комсомола. Были, разумеется, среди них и неплохие ребята, но были и прилипалы, живущие по расчету: «А что мне комсомол даст? Хочу хорошее жилье, зарплату, путевку по «Спутнику»!» Сергей собрал вокруг себя единомышленников, наладил контакт с руководством. По душе это пришлось начальнику литейки М. М. Пекарскому, который пошел навстречу молодым перестройщикам в разработке обширной производственной и социально-культурной программы, в материальном ее обеспечении.

Но и спрашивал с комсомольцев и лично с Сергея без скидок. На таких, как Пекарский, стояли и продолжают стоять заводы. Другое дело, как?

ЧТЗ — старый завод, оборудование которого — станки и машины — физически и морально устарело, и через которое прошло не одно поколение славных рабочих. И когда еще придет замена этим безответным богатырям-ветеранам индустрии, кто знает?

Дымят надсадно демидовские еще литейки, тяжко ухают, сотрясая здания и окрестности, кузнечные молоты, глубоко в город тянутся маслянисто-сажистые шлейфы дымов. На каждого жителя Челябинска приходится около 600 килограммов годового индустриального выхлопа...

Литейное производство — чрево завода. Тут рождается начерно, варится из чугуна, стали и цветного металла весь трактор. От литейки зависит все. Литейка всех кормит — от шихтовщика в формовочном цехе до самого генерального, весь рабочий класс, инженеров, конструкторов, вахтеров заводской проходной. Производство, которое никогда не останавливается. Ни на час!

Литейное производство на ЧТЗ заложено более полувека назад. За это время в мировой металлургии произошла не одна техническая революция, а сюда она не дошла. Устарелость, отсталость, рутинность производства бьет прежде всего по моральному самочувствию людей, а затем (и это закон!) — по качеству производимой продукции, ведет к громадному распылению ресурсов. Спрашивается, где же все эти десятилетия были «интеллектуалы» отрасли, конструкторы и технологи ЧТЗ, весь заводской генералитет и главные инженеры, в частности, отвечающие за техническую политику производства? Все эти годы укоренялась главная из бед: невосприимчивость к научно-техническому прогрессу. Узаконивалась непогрешимость управленческой касты администраторов, отодвигались от управления рабочий класс, инженерия, росло расточительство трудовых и материальных ресурсов, потребительское, бездуховное отношение к кадрам.

Введенная с прошлого года в литейном производстве госприемка столкнулась с наличием серьезных конструкторских и технологических ошибок, со слабыми цеховыми службами ОТК, укомплектованными по преимуществу девушками без «литейного» образования. В итоге шло много брака в отливках: пригар, засоры, ужи-мины. От литейки его вываливается горы, а в целом по ЧТЗ перерасход металла за год составляет две тысячи тонн. Кое-что госприемщики запретили выпускать, однако подверглись давлению: дескать, не все сразу... Прежде всего давайте план, и только план!

И план этот гонят по-старому, да еще и с прибавкой. В тесноте, запыленности, загазованности. Шихтарник не обеспечивает запаса шихты даже на сутки. Вот и гонят шихту прямо с вагона, зимой задубелую, смерзшуюся. Попробуй-ка тут попади «в марку»! Нет дозаторов, таймеров, контролирующих время, прочих необходимых приборов для изготовления формовочных смесей.

Автоматизации — почти ноль. Хотели было в сталелитейный цех японскую автоматическую формовочную линию купить, да так и не решили этот вопрос. Устанавливают такие импортные машины, которые для Запада уже вчерашний день.

Не ждут в ближайшие годы облегчения и рабочие самых тяжелых профессий: обрубщики, заливщики, выбивальщики горячего литья. Не идет на убыль профессиональное заболевание сталеваров — силикоз. Медицина предписывает строгое выполнение мероприятий по охране труда. Наши собратья по СЭВ тут ушли вперед. В ГДР давно уже выпускается станок для зачистки литья, который можно было бы купить, но для таких станков не находится места. Да и выход ли это для литейки? Очередное латание. Нужно в корне все литейное дело менять, перестраивать. Так считают многие. А пока что работа здесь похожа на подвиг. Но, спросите, во имя чего? Как тут перестраивать человека, если мы о нем почти забыли!

Один опытный ветеран-литейщик сказал мне задумчиво:

— А зачем, собственно, нам столько тракторов выпускать? Ведь лучше сделать один, зато качественный, чем сомнительных два. Даже с введением госприемки количество рекламаций на наш трактор почти не уменьшилось.

И он показал за окно, где километровое пространство между цехами было забито готовыми тракторами Т-130, стоявшими на голых катках, без гусениц. На гусеницы смежный завод с Магнитки недопоставил металла. Потом ведь их опять придется загонять на конвейер, доделывать и... ремонтировать...

В беседах с разными людьми в литейке я с горечью убедился, что престиж инженерных служб здесь не поднят на действительно инженерный уровень. Инженер, как умный руководитель технологического процесса, как воспитатель рабочего, практически обесценен. Да и труд его оплачивается в два-три раза дешевле, чем труд рабочего на той же «бездумной технологии». Спрашивается, откуда быть прогрессу?

— Работа неинтересная, потому и отдачи мало, — услышал я от одной женщины, инженера-технолога. — У нас институтскую молодежь калачом ситным в мастера не заманишь: платят мало, ответственность большая, сверхурочные. Притом громадная нехватка технологов в цехах. Что такое технолог? Это качество прежде всего. А делать это качество некому, некогда и не на чем... А демократизация? Как начальство велит: план — любой ценой. Вот и вся демократизация.

Подобное настроение сквозило в словах многих моих собеседников в самых различных производствах Челябинского тракторостроя. Это было в марте прошлого года. До XIX Всесоюзной партконференции оставалось три с половиной месяца. Едва только был выбран совет трудового коллектива ЧТЗ, проклюнулись робкие ростки выборности руководителей. В одном из подразделений за выборами следил сам генеральный директор Н. Р. Ложченко. Под его веской аргументацией кресло занял кандидат, рекомендованный «сверху». Как-то пойдет дело дальше?..

Сергей Антонюженко неуловим, в своем кабинете ему не сидится. Он является секретарем комитета комсомола литейного производства. Ему 28 лет. По специальности слесарь-ремонтник. Имеет высшее педагогическое образование. Существует их фамильная династия на ЧТЗ.

По мнению Вадима Росляка, Антонюженко хоть и несомненно сильный секретарь, но поступает нестандартно и даже непредсказуемо. Вот и я не стану управлять нашей беседой.

Итак, звучит м о н о л о г Сергея Антонюженко.

— Групкомсорг — вот кто лидер, вожак! — прямо заявил Сергей. — Он живет в коллективе, ту же норму работает. Знает все

досконально о каждом. Но — не запанибрата со всеми, а чуть впереди, и всегда держит совет с коллективом.

Раз ты лидер, значит, ты обязан пробить, доказать, убедить, достучаться. По любому вопросу. Скажем, самый животрепещущий — жилье. Оно определяет позицию многих. Теперь мы участвуем в распределении жилья. Но не все из моих сорока шести групкомсоргов в этом деле активны. Залезать надо в это дело! Тут людская судьба.

Групкомсорг в первую очередь должен помочь комсомольцу правильно определиться в коллективе, научиться правильно работать, сделаться настоящим человеком. Должен знать положение дел в производстве, в кадрах, в соцкультбыте. Но главная задача групорга — настроить свой коллектив на дело. Ведь мы, комсомольские вожаки, для чего предназначены? Оторвать молодежь от приспособленчества, потребительства. Разве такое не в наших силах?..

Групкомсорг должен, по-моему, влиять на организацию производства. В этом деле вот Вадик Неряхин на участке обрубки мастак. Что и говорить, работа тяжелая. А посмотри на лица ребят? Сосредоточенные, но сияют и светятся.

Сейчас о молодых кадрах, которые пополняют завод, комсомол мало что знает. О кадрах хлопочут кадровики, администраторы, профсоюз. Вывод такой. Мы, заводской комсомол, сами должны идти на опережение, искать себе кадры.

Однако тут меня смущает отношение администрации объединения к молодым кадрам. Около трех тысяч человек с дипломами различных специальностей пришли в наше объединение в течение последних трех лет. С этого года мы начинаем платить за каждого прибывающего специалиста по три тысячи рублей. Однако заниматься вопросами быстрого включения молодого человека в производство, следить за его профессиональным ростом, взять под контроль социально-бытовые вопросы — н е к о м у. У нас и молодые новаторы чаще всего остаются один на один со своей идеей, ни о какой помощи и думать не приходится.

Труд молодых специалистов во многом обесценивается. О чем говорит один хотя бы только этот факт? В прошлом году двадцать два молодых специалиста Главного конструкторского бюро 1087 дней отработали на сельхозработах! На прорывах в других цехах, когда инженеры становятся станочниками, грузчиками, чернорабочими, — молодые специалисты проводят целые месяцы где угодно, только не на своем рабочем месте. И никто ни разу (ни генеральный директор, ни главный инженер объединения Г. Цайзер, ни комитет комсомола, ни партком!) не возмутился, не взял под свое крыло б у д у щ е е этих людей и объединения в целом!

У меня создалось такое впечатление, что экономическая отдача от молодого специалиста близка к нулю. Уже в ближайшее время ЧТЗ столкнется с серьезной проблемой дефицита кадров и низкой квалификацией конструкторов, инженеров, технологов, мастеров.

Наш совет молодых специалистов ЧТЗ полностью себя дискредитировал. Его нет, развалился. У комитета комсомола, у секретарей не хватает времени, чтобы поставить это дело на всесоюзный уровень, включить деятельность совета в единую систему научно-технического творчества молодых.

Это мы, заводской комсомол, всем хором загубили инициативу

бригады Александра Карачунова: «К новой технике — с новыми знаниями».

Выпустили «протокол» три года назад, протрубили на всю Челябинскую область, отметились, а большинство простых рабочих, инженеров до сих пор не имеют четкого представления, в чем суть движения. До сих пор новая техника с ЧПУ поступает неравномерно. Даже старшие мастера в цехах не знают о перспективах технического перевооружения. Нет единой службы, отвечающей за внедрение и эксплуатацию программной техники. Нет начала массовой переподготовки кадров на новую технику, а хозяйственный механизм не стимулирует рабочего на постоянное повышение квалификации — нет экономических стимулов. Поэтому на местах многие «чепэушники» не знают, за что браться и как развивать бригадный подряд, бригадный всеобуч. И, странное дело, никто не подсчитывает убытки от нашего мельтешения, нашей круговой поруки, причина которой — некомпетентность, неумение повести за собой мыслящую массу.

Отсутствие реального нового опыта и практики мы подменяем бодрячеством. Не хватает мужества, чтобы сказать: «А ведь так дальше, хлопцы, не пойдет!»

Что касается меня, скоро, видно, уйду с комсомольской работы. Года подпирают...

Что я вынес из своего секретарского опыта? Работать на перспективу, особенно в кадровом вопросе. Обременять потихоньку молодого человека гражданской ношей, повышать нагрузки, и чтобы в радость они были. Вот тогда и воспитается н а с т о я щ и й человек.

Лучший способ возродить нравственное отношение к труду и пробудить рабочую и инженерную инициативу — это дать человеку возможность почувствовать, что эффектно вознаграждается лишь более добросовестный и творческий труд. Закон о государственном предприятии, который предусматривает самоуправление трудовых коллективов, вселяет надежду на проведение в жизнь этого принципа. Не будет уравниловки, безграмотности, безнаказанности.

Организация нового самоуправления, в отличие от «традиции», должна требовать наименьших материальных затрат, всевозможной «бумаги», кадров, наименьшей степени административных сложностей и путаницы.

В обеденный перерыв я встретился в цехе с Александром Карачуновым — бригадиром комсомольско-молодежной бригады станочников одного из цехов завода.

Знаю, что он — горячий сторонник машинного интеллекта, компьютеризации, гибких автоматизированных производств, которые станут темой его будущей дипломной работы в институте. В его бригаде 50 человек, которые работают в три смены. Надо думать за всех и норму свою давать за станком: бригадир-то он не освобожденный. Александр справляется со всеми операциями на своем участке виртуозно, владеет любым станком. Вновь вступающих в бригаду доучивает непосредственно сам. Ведь слишком хрупка программная начинка станков с ЧПУ.

На этом участке горстка умных машин заменяет несколько десятков одно-двухоперационных агрегатных станков. Это — громадный выигрыш в производительности труда плюс качество обработ-

ки до «всемирных» микрон. Есть среди подобных импортных станков не менее великолепные наши, ивановские, те самые знаменитые «кабаидзевские». Значит, умеем делать! Но к более «умным» машинам нужны и более профессиональные люди. Такие люди явились. Это новая формация рабочего класса, более квалифицированная. Они — не придаток к машине, которая постепенно взваливает на себя все большую долю индустриальных забот страны. Не все это понимают, в том числе и руководители.

Мне здесь один заводской экономист, этакий бюрократический крючкотворец лет тридцати пяти, в лицо расхохотался:

— «Че-пэ-ушники»? Да это же кнопочники — работа для девочек! Сачки это, а не рабочий класс!

Именно этот специалист и режет станочникам с ЧПУ из квартала в квартал расценки «с потолка» по старым нормативам. Расценки-то режет, а не сказал мне, что «старички», асы-универсалы, шарахаются от новых станков. Не хотят брать на себя ответственность. Ведь в одном таком станке персонифицируется мощь целого цехового пролета. Попробуй-ка допусти сбой. Да просто остановишь весь цех, весь сборочный конвейер, весь завод. А им, асам, и на старой монотонной операции, где они отрабатывают привычные детали, тот же заработок выводится. Вот так процветает уравниловка! Так молодежь лишается стимула к освоению новой техники.

К новым машинам надо притянуть людей, считает Александр, стимулируя их подвижничество, интеллектуальную интенсивность и более производительную работу.

Недооценка научно-технического прогресса, анемичная стимуляция кадров сказывается прежде всего на качестве челябинского трактора. Сработанный по старинке, он не блещет набором модификаций, надежностью, герметичностью маслосистем, эргономикой. Нет рывка в прогрессивную технику и технологию. Да и слишком серьезна сама проблема подготовки соответствующих кадров. Вот тут главнейшая проблема перестройки. А комсомол ЧТЗ к ней практически не подключен. По-прежнему администрация оттирает комсомол от решения коренных дел. Ну а сам-то он почему с этим смирился? Компетенции маловато? Это верно только отчасти. Об Александре Карачунове, например, такого не скажешь. Он вспоминает предысторию, тот случай, с которого возникла его жгучая непримиримость к узаконенному разгильдяйству, пускавшему безнаказанно по ветру народные миллионы. Семь лет назад в один из цехов поступили семь станков фирмы «Берингер» для вихревого фрезерования коленвала трактора Т-130. Стоимость каждого станка обошлась заводу в один миллион инвалютных рублей. Техника завораживала заводских энтузиастов-станочников, принимавших участие в монтаже. Ожидался громадный эффект в облегчении трудоемкой и ответственной операции.

— Смонтировали эти станки, дошло дело до пуска, — рассказывал Карачунов. — Смотрим, а нету специального масла для заправки, которое пришло вместе с «берингерами». Масло — это кровь станка. Его разбазарили, разлили по старым станкам, которые работают на обыкновенной нашей веретенке. А нас заставили «берингеры» веретенкой заправить. Да нельзя же так делать, загубим станки! — сопротивлялись мы. Главный инженер, главный энергетик и механик надавили на нас. Заправили мы станки веретенкой, кое-как запустили. Дали месячный план. Потом еще один. «Давай-давай! — подстегивают. — Окупать нужно дорогие станки». А станки погибают — машина чувствительная. Профилактики оборудования никакой, и никого это не волнует. Написали мы в «Правду». Оттуда как-то дошло до ЧТЗ. И что же изменилось? Все по-старому. Никаких перемен. Сейчас эти станки полностью развалены. И вера наша порушилась. Я дал клятву — докопаться до истины, отчего же происходит разоренье такое?

— В чем же истина?

— В демократии истина! Вся надежда теперь только на совет трудового коллектива. Он и есть коллективный директор, хозяин производства. И для этого необходимо, чтобы рабочих в совете было не менее 70 процентов. Отдать экономику, средства производства, прибыль под контроль рабочего класса.

Прав рабочий: начинать надо снизу, с производственных коллективов. Именно перевод предприятий на полный хозрасчет и самофинансирование, на самоуправление, новые подходы к определению заработка и призваны создать заслон на пути административно-командных методов.

Перестройка потребовала от каждого деловитости, компетентности, напряженной работы и с о в е с т и. Только тогда будут достигнуты наивысшие результаты: создание новой конкурентоспособной продукции, непрерывное совершенствование производства, обладание радостью творческого труда.

Бездарность, бесхозяйственность руководителей тяжелым бременем ложится на плечи рабочих: размеры их премий и заработков напрямую связаны со штрафами за это оборудование. И этому конца не видать. Разработанные и принятые планы технического перевооружения ни одним подразделением ЧТЗ в полном объеме не выполнены. Склады УКСа переполнены заказанным, но не установленным оборудованием. Задание по списанию изношенного и устаревшего оборудования выполнено на одну треть. Все это привело к росту затрат на единицу товарной продукции и соответственно — уменьшению прибыли в той ее части, которая идет на поощрение трудящихся и дальнейшее переоснащение производства. Вот такие «азы» хозрасчета.

А я думаю, стоит ли входить в «положение» Вадима Росляка, когда он на одном из заседаний молодежного клуба недоуменно спрашивал, а может ли комсомольский вожак реально влиять на производство?.. Об истинном ли в о ж а к е говорил Вадим?

...Чтобы по-крупному влиять, надо глубоко п о н и м а т ь, очень хотеть и мочь. И пламенно верить, как Антонюженко, как Карачунов.

●

Валерий МОЛЧАНОВ,
кандидат философских наук

ИРБИТСКИЙ СИНДРОМ

Заводской цех и вузовская аудитория, научная лаборатория и колхозное поле — что общего сегодня у них? Общее для них сегодня — это те жизненные противоречия, что встают перед производственником, преподавателем, хлеборобом или ученым в условиях революционной перестройки. Особенно когда реализуется ее главная обобщающая формула — больше социализма! И когда срабатывает ее важнейший практический принцип — больше ответственности брать на себя.

Перестройка сознания... Приведу ситуацию весьма характерную и взятую не только из газет. Собрались на собрание. Проголосовали искренне и единодушно за то, что думать теперь следует по-новому. Разошлись по своим делам и... стали поступать по-старому. Причем уже под сенью новых решений, формул и слов: «перестройка», «ускорение», «гласность». Понятно, противоречие.

Но вот вопрос: если голосовали сознательно, то продолжают-то поступать по-старому разве бессознательно? Конечно же, нет!

Философ-марксист, умудренный веками опыта человеческой мысли, скажет по этому поводу примерно так: есть сознание, сознательно проявляющее себя в словах. А есть сознание, сознательно проявляющее себя в делах. Последнее в традициях философской науки и называют обычно «мышлением», «разумом» либо «мудростью». А в традициях народных так просто «умом».

«Семь раз отмерь, а один — отрежь» — так издавна обозначила народная мудрость серьезное и компетентное отношение ко всякому делу. Иначе говоря, кто начинает дело с умом, тот, по заведенному в человеческой истории конечному правилу, и является «начальником» этого дела. Если рождаются новые, более передовые формы человеческого общежития, если общее дело ладится и процветает, мнение это становится прочной нормой общественного сознания. Нет большой беды, если несколько позже придут другие и, подключаясь к общему делу, надумают сказать уже так: «Раз начальник, значит, несомненно, умен». Это еще не опасно. Но это уже симптом.

Но вот дело забуксовало. Пошло, так сказать, на холостых оборотах. Раздались трезвые голоса: нужно менять подход к делу! От них отмахнулись привычным тезисом: «Не обобщать!» Возникает настроение: как бы улучшить дело, ничего не меняя. И вот тут-то безобидный поначалу симптом может превратиться в опасный синдром.

...Вадима Петровича Бахирева, начальника цеха № 2 Ирбитского химико-фармацевтического завода, перестройка врасплох не застала. Более того, он чутко уловил наиболее перспективные ее направления, самую ее суть. Не дожидаясь указаний «сверху», Бахарев брал инициативу и ответственность в деле на себя: обновлял в духе времени производственные отношения на заводе, внедрял бригадные формы организации труда. Бригады создавались по технологическому принципу, что дало резкий скачок в росте производительности труда, глубине и уровне обобществления производства. Так, объединив два цеха, обеспечил коллективу 300 тысяч рублей годовой экономии, высвободив 36 человек. На тех же площадях выпуск продукции увеличился более чем вдвое, производительность возросла на 98 процентов, себестоимость же снизилась на четверть.

Все бы хорошо, да вот... Тем самым он невольно обнажил некомпетентность официального руководства завода. Возник острый, характерный для перестройки конфликт.

— Мы в конце концов можем обойтись и без начальника цеха Бахарева, — заявил на одном из совещаний раздосадованный самостоятельностью подчиненного директор Н. Поляков.

— Лучше, думаю, обойтись без директора завода Полякова, — отрезал начальник цеха.

Жребий был брошен. Рубикон перейден. И во всю мощь заработала отлаженная годами «машина» для приведения в повиновение непокорных, обеспечивая их «соответствие» руководящему мнению начальства. Как именно?

Последовало освобождение от занимаемой должности за «систематическое неисполнение трудовых обязанностей». За «игнорирование мнения трудового коллектива». За «автократический стиль руководства». Наконец, просто за то, что «много на себя берет» — так решило заводское партбюро, оперевшись на мнения тех, кому оказалась немила бригадная форма организации труда.

Обратился к коллективу и сам Бахарев. Абсолютное большинство выразило поддержку начальнику цеха. Тогда партбюро поставило вопрос об исключении его из рядов КПСС «за непартийное поведение, выразившееся в подстрекательстве коллектива к неправильной оценке ранее принятого на заседании бюро решения». И хоть человек в партии остался, но все-таки получил строгий выговор.

— Ничего в этом удивительного нет, — говорит механик завода В. Белоногов. — Администрация наша не справляется со своими обязанностями, живет сегодняшним днем, не видит перспективы. Энергичный же и деловой Бахарев для нее — прямой укор.

А партбюро завода, Ирбитский горком партии встали на сторону администрации, по старой привычке считая, будто конечная истина исходит лишь от начальства. Такова суть ирбитского синдрома — назовем его так.

Откровенную расправу и гонение на новатора смогло пресечь лишь постановление ЦК КПСС («Правда», 1986 г., 18 мая), которое дало принципиальную партийную оценку сложившейся ситуации.

Центральный Комитет КПСС признал действия партбюро «грубым нарушением ленинских норм партийной жизни». За организацию преследования коммуниста Бахарева ЦК КПСС освободил товарища Дергачева В. Я. от обязанностей секретаря первичной партийной организации завода и объявил ему строгий выговор с занесением в учетную карточку. Снят с должности директора завода товарищ Поляков. Ему был объявлен выговор с занесением в учетную карточку — за безответственность и игнорирование мнения трудового коллектива. За выгораживание виновников расправы над В. П. Бахаревым ЦК КПСС объявил первому секретарю Ирбитского горкома КПСС товарищу Воложанину Н. И. строгий выговор.

...Когда человек тридцать рабочих, ветеранов завода, заслуженных людей пришли к директору с просьбой отменить приказ об освобождении Бахарева от должности, директор, три часа продержав людей в приемной, в просьбе в конце концов отказал. Тогда депутация направилась в горком к первому секретарю. Первый секретарь, выслушав их, резко заявил:

— Если оставить на месте Бахарева, то, выходит, надо разгонять все партбюро. Это невозможно!

Вот так! Но истина все же восторжествовала. Восторжествовала, следовательно, и логика, казавшаяся секретарю горкома такой невозможной.

Когда из редакции газеты «Правда», защитившей принципиального коммуниста, раздался телефонный звонок, трубку поднял В. Бахарев.

— Охотно откликаюсь на телефонный звонок из «Правды». Мое настроение? Нормальное! Что было раньше, до выступления газеты, до постановления ЦК, и вспоминать не хочется. Теперь, после смены руководства завода, обстановка изменилась в корне.

Много ли успели мы за последние восемь месяцев? Скажу о своем цехе. Завершен переход на бригадную форму оплаты труда. Ее преимущества бесспорны. Не только перевыполняем план, но и улучшили все экономические показатели. Люди помогают друг другу: это диктуется общностью задач.

На очереди — уменьшение численности бригад за счет совмещения рабочих мест и профессий. С каждой из шести бригад заключено трудовое соглашение. За работу меньшим составом плюсуется половина зарплаты, какая бы шла отсутствующим.

Обдумываем перевод укрупненных технологических бригад на хозяйственный расчет. Тут, конечно, свои немалые сложности. Скажем, расход сырья, выход готовой продукции по бригадам просматривается четко. Трудозатраты — тоже. А вот учет использования электричества, воды, пара, сжатого воздуха, других составных в разрезе бригад пока затруднен. Думаем и работаем над этим.

Хороший трудовой настрой коллектива — именно за это и вступил в борьбу коммунист Бахарев. Боролся и победил. Положение на заводе нормализовалось. Но не изжит еще пока сам ирбитский синдром. Ибо прописан-то он не только в городе Ирбите!

Скажем сразу: есть большой соблазн свести историю эту к одной из расхожих тривиальностей. Ну, например, к тому, что, дескать, между новым и старым всегда должны быть коллизии и борьба... Что истина в конце концов всегда восторжествует... Либо что добро всегда победит зло. За всем этим легко спрятать главное, а именно: ирбитский синдром выражает сегодня **основное противоречие нашей перестройки.**

Чтобы в глазах читателя ирбитская история не свелась к рассказу о том, как схватились между собой два начальника и как потом начальник цеха победил директора завода, нужно малую историю ирбитского конфликта измерить масштабом, меркой Истории Большой — истории социализма. Ведь обнажен-то ирбитский синдром нынешней революционной перестройкой. А главная формула ее звучит сегодня так: больше социализма! Из дефицита социализма, стало быть, и произрастает этот синдром. Ну а уж противоречие-то начальника цеха и директора следует понять лишь как частный способ выражения и обнаружения противоречия между передовым рабочим коллективом и доперестроечным режимом «социалистического» администрирования.

Есть социализм пролетарский, а есть социализм непролетарский. Не путать один с другим! — предостерегали Ленин, Энгельс и Маркс.

Так какой же социализм мы построили? Все чаще и чаще вопрос этот звучит из уст журналиста и ученого, рабочего и студента. Все чаще задает его народ.

Мы построили «государственный социализм», считают публицист А. Злобин («Литературная газета», 1988 г., 3 июня) и обществовед В. Киселев («Московская правда», 1988 г., 9 февраля). Социализм, но с такой степенью концентрации государственной власти на общественную собственность, что при недостаточном демократизме и засилии бюрократии это чревато колебанием... в госкапитализм. Так можно понять важнейшую мысль академика Т. Заславской из ее недавнего тревожного интервью («Знание — сила», 1987 г., № 11). Местами же он становится воистину феодальным, где правят современные эмиры и «потомки» Тимура — буквально вопиют публикации последнего времени («Литературная газета», 1988 г., 20 января); («Правда», 1988 г., 23 января).

Но чтобы выступать с позиций ленинской науки о социализме, следует выделить главное: являются ли рабочие реальными собственниками средств производства или нет? Иначе говоря, выполнялся ли тот ленинский совет рабочим, призывавшим его обобществить фабрику простым декретом?

Уроки социализма XX века свидетельствуют: обобществление социалистической собственности на орудия и средства производства неизбежно проходит два этапа — обобществление **фор-**

мальное и реальное. Первое свершилось 70 лет назад. А второе — порой весьма сложно и драматично продолжает идти и сейчас. Мощные импульсы этого реального обобществления социалистической собственности постоянно идут из недр рабочего класса. Оседая в памяти народа, аккумулируясь в его производственном, социальном и нравственном опыте, они постоянно дают новые ростки. История этого народного опыта и есть история реального социализма. К сожалению, она еще пока далеко не написана. Но именно ей-то и обязан своей феноменальной жизнеспособностью наш социализм. Обращение к ней, по сути своей, и есть обращение к ленинизму. А во имя обращения к нему вовсе не обязательно «возвращаться назад». Достаточно лишь оглянуться вокруг...

— Кто в доме хозяин? Заставлю переставлять стулья в кабинете и будете переставлять! — с раздражением заявил директор Бахтарской птицефабрики (Красноярский край) С. Таран бригаде слесарей-монтажников, которая наотрез отказалась перейти по его приказу на другой объект. Почему же такое получилось? Бригада была на подряде. Следовательно, имела твердый, юридически оформленный договор с администрацией, несла полнейшую ответственность за свой объект. Нашла коса на камень... Когда строптивая бригада, завершив реконструкцию птичника, пришла просить новый, то в договоре на подряд ей отказали. Работу, конечно, дали, но платить стали «на общих основаниях». Работа пошла через пень-колоду: не было то того, то другого. Да, но «на общих основаниях» требуется 13-я зарплата, которую на аккорде не получали. Под нажимом директора ее урезали наполовину. Но суд постановил: выплатить зарплату сполна.

Надоело без работы — попросились в отпуск. Директор отказал. Заявили об увольнении, но не по собственному желанию, а из-за плохой организации труда. Директор и на это не обратил внимания. Стали каждый простой оформлять докладной, а среднюю зарплату выручать через суд. Директор кинулся было подписать заявления об уходе, но бригада заявления отозвала. Один из рабочих, уволенный, тем не менее, во время отпуска, восстановился через суд с оплатой вынужденного прогула.

И все же договор на подряд в конце концов подписали! Так закончился этот бой. Настоящая схватка двух способов обобществления при социализме — обобществления реального и формального. Идущая нынче перестройка как раз и призвана создать условия всесторонней победы первого над вторым. А победа эта достанется, по-видимому, нелегко.

Еще в годы перестройки 50—60-х годов опробовал и теоретически описал свой вклад в социализм классик бригадного подряда Владислав Пахомович Сериков. При помощи А. Н. Косыгина он добился официального разговора в Госстрое СССР.

— Бригада, подряд... Шабашка какая-то! Не наш метод, — ответили ему.

— А все-таки подряд будет! — прозвучал его ответ в главном строительном штабе страны.

С тех пор прошли годы. О том, что бригадный подряд — это «не наш метод», теперь уже не говорит никто. В марте 1986 года Владислав Сериков, раздумывая совместно с читателями «Известий» о судьбах своего детища, писал так: «Судя по статистике, сегодня подряд доступен многим; 50 процентов бригад в стране работает на подряде, они выполняют более 50 процентов всех строительно-монтажных работ. Их становится все больше.

Все бы хорошо, но почему же так медленно растет производительность труда в строительстве? А ведь подряд, если он настоящий, приводит не только к повышению производительности труда, но и к снижению объема незавершенного строительства. А он из года в год все-таки растет, и с 1980 года увеличивается на 12 процентов.

Какой же подряд шагает по стране? — спрашивает он. И сам же дает ответ: — Так что настоящий (выделено мною. — В. М.) подряд еще придется организовывать, и организовывать всерьез».

Обобществление и огосударствление... Борьба за становление рабочего хозяином средств производства, хозяином социализма все еще идет. Обостряется «спор» двух способов обобществления живого труда с накопленным, то есть с орудиями и средствами производства. Реальное обобществление совершается там и тогда, где и когда сам рабочий все в большей мере озабочен управлением общественного производства. Где уже не специально назначенный начальник (участка, цеха, завода, отрасли), а он сам отвечает за государственный план, следовательно, соединяет свою живую способность к труду, во-первых, с усилиями своих товарищей, а во-вторых, с орудиями и средствами этого труда. На долю же администратора остается то, что социализму от него только и нужно: обеспечение внешних, организационно-технических условий труда рабочего, «заведование» накопленным, мертвым трудом. И безо всяких посягательств на «заведование» и тем более «командование» трудом живым.

Действительное назначение администрации при социализме еще в годы первых пятилеток обнажили возникающие тогда производственные коммуны и хозрасчетные бригады. «Бригада требует своевременного и аккуратного доставления песка, массы и прочих материалов, чтобы не было простоев» (Надеждинский завод, Урал), «...причем со своей стороны мы, рабочие, просим и административную сторону, как-то: относительно своевременной доставки материалов, задания-заказа и своевременного ремонта станков, дабы не получилось простоев во время производства, могущих произойти не по вине рабочего» (завод «Красное Сормово»), — настаивали бригады в своих договорах. А какова, например, роль главной административной единицы нашего народного хозяйства — министерства? Это — обеспечение технического прогресса в отрасли. Другими словами, оперативное заведование овеществленным трудом на уровне мирового научно-технического прогресса. К сожалению, министерства не смогли ответить делом на тот призыв НТР. В итоге сбыт нашей продукции на мировом рынке сократился, хотя «знаков качества» и прибавилось. По логике вещей, то есть по логике социализма, министерство должно быть представителем государства в отрасли. Между тем оно сплошь да рядом является представителем отрасли в государстве. По видимости, оно — «среднее звено» между Госпланом и государственным предприятием. На самом же деле — «это шея, которая иногда «вертит головой», как считает нужным», — утверждает профессор АОН при ЦК КПСС доктор экономических наук Р. Белоусов («Правда», 1988 г., 11 февраля).

Далеко не случайно, что в годы первых пятилеток под напором

администрации и индивидуальной сдельщины перспективные формы народного творчества в организации материальной жизни (формы «обобществления живого труда», — выражаясь по-научному) прекратили свое существование. А ведь они и являются конкретным воплощением ленинской формулы: «Социализм не создается по указке сверху. Ему чужд казенно-бюрократический автоматизм. Социализм живой, творческий есть создание самих народных масс». «Мысль эта, — вспоминала Н. К. Крупская,— была главной мыслью о социализме у Ильича».

Вошедший ныне в публицистику и общественное сознание модный термин «административная система» фиксирует собою реальный исторический факт: факт сложившегося при строительстве социализма своеобразного режима фактического господства овеществленного труда над трудом живым.

Вовсе не случайно поэтому, что такие новаторы-теоретики, как ученый-аграрник А. Чаянов и педагог А. Макаренко, сформулировавшие законы «обобществления живого труда», показавшие, как живое творчество народных масс при социализме обеспечивает господство людей над обстоятельствами, труда живого над трудом накопленным и овеществленным, оказались в фактической оппозиции сложившейся административной системе. Был репрессирован А. Чаянов («Известия», 1988 г., 30 января). «Несоветским» был в одно время объявлен и опыт коммунистического воспитания А. С. Макаренко...

Но, разоблачая и негодуя, не следует упускать сегодня главной исторической связи. Иначе, путая форму с содержанием, можно благополучно прийти к сегодняшней апологетике того, что так возмущает нас в дне вчерашнем. Проще говоря, следует видеть, что, как исторический феномен, культ личности начальства никуда не делся. Именно он и демобилизует сегодня инициативу трудящихся масс, пытаясь навязать нам (и не всегда безуспешно!) свою этику и идеологию в качестве идеологии и этики... перестройки. А весьма расхожим, агрессивным методом его наступательной самозащиты выступает метод навешивания ярлыков.

«Враг перестройки» — такой ярлык получил молодой бригадир, — сообщила своим читателям свердловская молодежная газета «На смену!». Произошло же это в одном из уральских городов.

Два с половиной года тому назад слесарю-наладчику КМК Николаю Савельеву предложили возглавить новое подразделение. «Будет полностью хозрасчетное!» — пообещали ему. В 26 лет хочется попробовать себя на деле значительном — и он согласился.

Но хозрасчет имеет свою логику: он не терпит старой рутины. И, как водится, вступает со старым в абсолютно неизбежный конфликт. А как реагирует на это старое? Выписка из протокола комсомольского собрания, на рассмотрение которого производственный конфликт и был вынесен, гласила: «...Инженер-технолог, бывший бригадир комплексной хозрасчетной бригады, проявил себя открытым врагом перестройки. Противопоставил себя не только коллективу, его партийной и комсомольской организации, но и всей генеральной линии партии...»

Итоги ясны: хозрасчетное подразделение ликвидировано. В учетной карточке — «строгий с занесением». Савельев переведен в инженеры-технологи, поскольку уже закончил институт. Факта реального обобществления социалистической собственности не состоялось.

— Обиды ни на кого не держу. В сущности, знал, на что иду, — говорил Николай. — Меня другое покоробило: с какой ретивостью мои же друзья-комсомольцы кинулись на меня ярлыки навешивать! — уже с явной досадой заключил он.

Так и хочется воскликнуть: ну чем не репрессия в духе конца 30-х годов! И тут же задаться вопросом: а в коллективе-то, молодежном, следовательно, этих тридцатых годов и не нюхавшем, почему же она поддержку-то нашла? Да не только в этом, а и во многих иных случаях общественность соответствующих коллективов даже и не думает останавливать административный произвол. Так, по данным Генерального прокурора СССР, в 1986 году прокуратура опротестовала 60 тысяч не основанных на законе актов администрации. По инициативе прокуроров восстановлено 11 тысяч незаконно уволенных. Удовлетворено 90 тысяч жалоб граждан («Правда», 1987 г., 25 марта). То есть во всех этих случаях сила профсоюзных комитетов так и не была пущена в ход. Такова «социология» ирбитского синдрома, статистика его.

Оно и понятно. Административная система — это вполне определенный способ общественных отношений между людьми. И возникнуть, закрепиться и проявиться отношениям этим есть по поводу чего. Аппарат управления сегодня насчитывает у нас более 18 миллионов человек. Все это составляет 15 процентов трудовых ресурсов страны. Управляющий — на каждые шесть-семь человек. На содержание аппарата ежегодно расходуется более 40 миллионов рублей. Но самое главное то, что помимо, так сказать, «бюрократов штатных» система отношений этих породила прелюбопытнейший феномен — феномен бюрократа на общественных началах, «внештатного» стало быть.

«Даже телефонный справочник предприятий наполовину занят названиями разных обществ, советов, комитетов и т. д. Целые группы людей загружены общественной работой: звонки, взносы, мероприятия, планы, отчеты, — пишет читатель «Социалистической индустрии» (1988 г., 9 января) инженер И. Савченко. — И все это в рабочее время. Вместо дела — его имитация. На протяжении своей жизни (а дожил я уже до седых волос) наблюдаю, как разросся, окреп и начал жить самостоятельной жизнью корпус профессиональных «общественников»... А нужна ли нам их общественная работа? Разве добавляется от их «хлопот» на нашем столе мяса, масла, молока, хлеба? А может, что-нибудь добавляется в наших душах? Нет!.. Тогда какой прок?

А прок есть. Но для личной пользы «общественников». Они чаще получают квартиры, путевки. Им охотней добавляют зарплату, повышают в должности. Ведь считается, что это «борцы», «бессребреники», для людей стараются...»

Воистину открытие, достойное серьезного признания по линии общественных наук сделал он!

Именно они, эти «бессребреники» выступают сознательными, инициативными, а следовательно, главными носителями того строя мыслей, действий и чувств, который мы и поименовали как «ирбитский синдром». Именно от них-то и черпает «общественную» поддержку современный бюрократ. То есть администратор, начисто «позабывший» свое истинное предназначение при социализме

и рвущийся командовать организацией «живого труда», заведовать живым творчеством народных масс.

Другой важнейшей социальной опорой бюрократа в коллективе выступает не только убежденный лодырь, пьяница либо нарушитель трудовой дисциплины. Поддерживает бюрократа и добропорядочный, дисциплинированный индивидуалист. «Спрашиваете, какая у меня позиция? Да никакой. Как начальник скажет, так и будет. У нас в ходу пословица: «Ты начальник — я дурак, я начальник — ты дурак. Так и живем», — со смелой откровенностью написал в газету «Правда» рабочий из города Джизака А. Нигматуллин.

Жизнь свидетельствует: защищаться от перестройки современные князьки научились, используя для этого боевое оружие самой же перестройки. И прежде всего такое оружие, как живое творчество самого трудового коллектива, организованного в совет. Намерения их вполне ясны: превратить советы трудовых коллективов из органов хозяйственно-политического управления рабочих в придаток администрации либо, в лучшем случае, в ее «общественного» дублера.

Как свидетельствуют факты, сорок один процент действующих сейчас в Ставропольском крае СТК возглавляют руководители подразделений и только двадцать процентов — рабочие. К концу прошлого года 70 процентов советов в Челябинской области возглавляли первые хозяйственные руководители, а рабочие лишь 12. В Ивановской области директора были избраны председателями 90 процентов советов. Две тысячи восемьсот советов трудовых коллективов создано в Москве. В их составе, вопреки требованиям закона, лишь 55 процентов рабочих. Директора предприятий возглавили около половины их общего числа.

В многотиражной газете Красноярского радиотехнического завода «Сигнал» опубликован состав избранного совета трудового коллектива. В него вошли, кроме самого директора, семь его замов, главный инженер с четырьмя своими заместителями, а также восемь начальников отделов. Рабочим же осталось чуть больше трети мест.

В совете трудового коллектива Уральского турбомоторного завода имени К. Е. Ворошилова около половины его состава составляет администрация. Как это вышло? В день выборов на общем собрании коллектива перед процедурой голосования рабочим (в порядке официальной юридической консультации) было сказано, что администрацией в собственном смысле этого слова являются лишь руководители объединения. Следовательно, начальника цеха или его заместителя, например, можно администрацией и не считать...

Проект будущего СТК был опубликован в заводской многотиражке «Знамя» 20 ноября 1987 года, за месяц до общих выборов. Он содержал грубейшие искажения Закона о государственном предприятии. В частности, в нем отсутствовало положение Закона, согласно которому «при несогласии администрации предприятия с советом трудового коллектива вопрос решается на общем собрании (конференции) трудового коллектива» и другие. Но, несмотря на острейший дефицит времени, группа рабочих и специалистов составила альтернативный проект. К печатному органу их, конечно, не допустили. Однако, решительно мобилизовав влияние райкома КПСС, энтузиасты смогли худо-бедно, но дело поправить.

Получив не совсем то, что хотелось, администрация и партком замыслили для «удобства» создать так называемый «Президиум СТК». Тогда один из членов инициативной группы Виктор Буртник вновь обратился в Орджоникидзевский РК КПСС, решительно заявив при этом: «Нам не нужна администрация... на общественных началах».

Кто же борцы за дееспособный орган рабочего самоуправления? Вот паспорт некоторых из них.

В газете «Комсомольская правда» от 8 января 1988 года в центре второй полосы есть фотография. Сопровождает ее такой текст:

«...Рабочие спорят о философии. Все это происходит в общественно-политическом клубе, объединившем рабочих турбомоторного завода... в Свердловске.

Как повлияют новые экономические условия хозяйствования на сознание людей? Какие ходы могут использовать бюрократы, чтобы обойти некоторые положения Закона о госпредприятии и работать старыми методами? Как с этим бороться?

Непростые вопросы обсуждают слесарь Виктор Буртник, токарь Алексей Жуйков... Чтобы понять суть происходящих в стране перемен. Понять — и действовать...»

Вот еще один зримый результат их действий и борьбы. Привожу текст документа:

ПРИКАЗ:

совета трудового коллектива цеха ДМ-1 на заседании
4 февраля 1988 г.

Постановили: в целях налаживания работы СТК цеха, а также во исполнение директив Свердловского ОК КПСС о «выработке системы идеологического обеспечения перестройки, решительного приближения ее к требованиям жизни» («Уральский рабочий» от 19 января 1988 г.) заключить договор о социалистическом сотрудничестве с проблемным советом свердловских ученых «Человек — деятельность — общественные отношения» (председатель — доцент Андреев Ю. П.).

Включить члена проблемного совета, преподавателя Свердловского медицинского института, кандидата философских наук Молчанова В. А. в члены Совета ДМ-1 с правом совещательного голоса. Администрации цеха в ближайшее время решить вопрос о постоянном пропуске Молчанову В. А. для исполнения своих обязанностей.

Председатель СТК ДМ-1 (Л. Цыганов)

4 февраля 1988 г.

Скажем прямо, на сегодняшний день администрация наотрез отказалась такой пропуск оформлять. Но вопрос в другом: почему у этого цехового СТК возникла острая потребность соединить свою работу с уральскими обществоведами? Ответ, что называется, лежит на поверхности. Дело в том, что почти на все сто процентов орган этот состоит из рабочих. Является результатом их собственной инициативы. Завоеван в настоящей политической борьбе. Она, конечно, тяжела, но зато и перспективна.

Как борются за рабочую гарантию перестройки ребята, я вкратце рассказал. А как борются с ними самими?

Скажем сразу: главный метод борьбы против тех, кто всерьез поднялся на перестройку, — это всевозможная дискредитация и навешивание всевозможных ярлыков. Так, самый увесистый на заводе ярлык «неформала» заработал от партийного руководства

Виктор Буртник. Ярлык «дезорганизатора» цеха ДМ-2 получил и Алексей Жуйков.

Случайно ли, что партийная работа с кадрами на заводе подменена политическим шельмованием сознательных рабочих? Отнюдь нет!

Еще весной прошлого года я и мой коллега из инженерно-педагогического института С. Гончаров были приглашены на завод. Рабочие решили обсудить вопрос о рабочем хозрасчете, о бригадных формах организации труда. «Калужский вариант» — на такую тему шел разговор: И вдруг со стула поднялся человек и задал вопрос: «Что здесь происходит? Кто вас сюда пригласил? То, что я слышу — это самая настоящая польская «Солидарность», — заявил он. Потом он стал ходить по рядам и переписывать всех присутствующих. И это несмотря на то, что, как тут же выяснилось, и партком, и комитет комсомола были об этом мероприятии предупреждены.

— Кто это? — обратился я к рабочему, сидящему рядом.

— Заместитель секретаря парткома по оргработе А. Воробьев.

Унизительная перепись «контрреволюционеров», в которую автоматически попадали и мы, переполнила чашу терпения.

— Почему партийный работник путает рабочую инициативу с польской «Солидарностью»? — задали мы на следующий день в райкоме вопрос.

— Не беспокойтесь, разберемся, — заверили нас.

...А через некоторое время мы узнали, что товарищ Воробьев, теперь уже в качестве секретаря, возглавил заводской партком. Так что пробуксовкам с заводским СТК удивляться не приходится.

К слову сказать, солидарность все же обнаружилась.

Через несколько дней в вузах Свердловска проходило ежегодное партийно-политическое комплектование преподавателей общественных наук. Возглавляет обычно эту процедуру Н. А. Воронин, заведующий отделом науки и учебных заведений Свердловского горкома КПСС. Во время комплектования в парткоме Уральского университета, на который равняются все низовые парткомы вузов, товарищ Воронин заявил, что университет несет всю полноту ответственности за воспитание таких, как С. Гончаров и В. Молчанов. Почему? Да потому, что они нанесли такой большой вред турбомоторному заводу, что его придется расхлебывать еще много лет. Характерно, что слова эти он так и не решился повторить ни в инженерно-педагогическом институте, ни в медицинском, где работаю я. Впрочем, это было и не обязательно: машина политического шельмования под названием «комплектование» была запущена на полный ход...

Так где же сегодня находятся «ключи» от проходной Уральского турбомоторного завода? Кто установил монополию на соединение живого творчества рабочих с обществоведами? И учредил за нарушение этой монополии преследования прямо-таки в духе 30-х годов? Такой вот вопрос невольно себе задаешь.

Трудовой коллектив — это генератор всех общественных отношений. Они, эти отношения, неизбежно выплескиваются за ворота проходной.

Констатируя сложившееся положение в обществоведении вообще, и вузовском обществоведении в частности, на январском (1988 г.) Пленуме ЦК КПСС М. С. Горбачев сказал: «Теоретические представления о социализме во многом оставались на уровне 30—40-х годов... Такое отношение к теории не могло не сказаться отрицательно — и действительно сказалось — на общественных науках, их роли в обществе. Ведь это, товарищи, факт, что у нас редко даже поощрялось всякого рода схоластическое теоретизирование, не затрагивающее чьи-либо интересы и жизненные проблемы».

А к чему же в практике марксистско-ленинского образования студенчества это вело?

В итоге получалось, что, даже сдавая государственный экзамен на «отлично», молодежь наша усваивала философию... без мышления, эстетику... без чувства прекрасного, этику... без нравственности, политическую экономию... без чувства хозяина, а научный коммунизм... без коммунистического мировоззрения. Так, по количеству правонарушений наш Свердловский медицинский институт — один из самых неблагополучных вузов города. В 1985 году к административной ответственности было привлечено 53 студента и сотрудника, еще десять — к уголовной ответственности. А за девять месяцев следующего года эти цифры были уже перекрыты: к уголовной ответственности привлечены 11 человек, к административной — 54. Диапазон широк: от квартирных краж до убийства. Но большая доля правонарушений — участие в незаконных махинациях с наркотиками. Ежегодно привлекаются к ответственности недавние выпускники СГМИ.

И какой же вывод из этого сделали обществоведы?

Сегодня вузовские обществоведы по причине перестройки разделились на три весьма неравные группы. Первая, сменив старую схоластику на науку, жадно изучает факты реальной жизни, факты социализма, но она в подавляющем меньшинстве. Другая, самая многочисленная, добросовестно ударилась в методическую работу, меняя старую схоластику на схоластику новую. А третья панически боится своей революционной общественной науки. Будучи весьма солидной по численности, опираясь на нейтралитет, а порой активную поддержку второй, она выискивает «ошибки» у первых, занимаясь доносами по начальству и навешиванием ярлыков. Причем, что очень важно сказать, эти действия осуществляются, как правило, под девизом «методической» перестройки. Так обстоит дело на Уральском меридиане. А, скажем, по данным отдела писем Московского ГК КПСС, более трети всей корреспонденции приходится на кафедры общественных наук («Советская Россия», 1987 г., 4 сентября).

Впрочем, на мой взгляд, это и неудивительно. Ведь если на уровне 30—40-х годов осталась общественная наука, то на таком же уровне неизбежно должны остаться и общественные отношения обществоведов между собой.

В чем же, однако, коренная причина существования самих этих трех разных групп?

Причина эта — не просто в психологии. Она — в действенности общественного объективного положения преподавателя общественных наук. Ведь с одной стороны — он выразитель мировоззрения рабочего класса и Коммунистической партии, идеолог-теоретик его. Зато с другой — он обыкновенный чиновник, служащий того или иного министерства, вуза, кафедры. Он подчинен *ведомственным* законам своего общественного бытия, принужден выражать и обосновывать эти ведомственные интересы. А то, что

ведомственность противоречит коренным интересам общества, — это нынче общепризнанный факт.

Если говорить проще, то действительный смысл, подлинное человеческое удовлетворение от своей профессии преподаватель-обществовед получит, лишь ориентируясь на реальный социализм, в центре которого стоит рабочий класс. А вот зарплату да повышение по службе — ориентируясь на свое ближайшее начальство. Альтернативы этой не избежит никто. Понятно, что в одну из трех обрисованных нами групп обществоведов он попадет в зависимости от того, что именно выберет он сам. Но выбор сделает неизбежно, особенно в условиях перестройки.

Больше социализма — ключевая формула перестройки. Что она означает? Настоящий социализм — это когда рабочий не делает брака, а интеллигент не лжет. Но при этом оба они — мыслят!

Понимающий это обществовед — идеал для рабочего. Но какой же, однако, идеал преподавателя-обществоведа с точки зрения тех, кто непосредственно дает ему на хлеб?

В связи с этим вспоминается случай.

Была в нашей молодежной газете дискуссия на тему, как в вузе идет перестройка. «Студент наш подразболтался. Диплом получить хочет за просто так. На лекции не ходит. Смеет судить о качестве лекций. Словом, нужно подзавинтить гайки да принять более строгие меры» — с таким, по существу, предложением выступил один из наших коллег. Позиция эта комментариев, думаю, не требует. Процесс демократизации общественной жизни ставит сегодня здесь все на свои места. Скажу другое: я, наоборот, приятно удивился — хоть и архаичная позиция, но зато как смела! Попробуй кто-нибудь публично сказать такое. В общем, коллегу за откровенность и смелость я весьма зауважал.

На ближайшем заседании кафедр общественных наук руководство сказало: публикация институту нанесла вред. Нет-нет, обсуждения или осуждения содержания статьи и в помине не было. Содержание-то руководство вполне устраивало. Было лишь осуждение факта самой публикации: зачем, дескать, то, о чем думаем, да еще принародно говорить?!

— Меня извратили! Переврали!! Сократили!! — чутко сориентировался наш автор к явному удовольствию заместителя секретаря парткома по идеологии доцента С. А. Бугаева... С подачи последнего и было решено, что все, предназначенное для газеты, отныне предварительно должно быть просмотрено заведующим кафедрой, прежде чем попасть в печать. Ну а что же наш автор? Ныне он — заместитель секретаря комитета комсомола института, официально утвержденный пример для всех моих коллег... И, конечно же, само собой разумеется, что он — добросовестнейший методист.

Приведу еще такой факт. На Всесоюзном совещании обществоведов 1 октября 1986 года член Политбюро, секретарь ЦК КПСС Е. К. Лигачев сказал: «По информации Свердловского обкома КПСС, более половины всех опрошенных студентов вузов города сказали, что им не хватает умения вести аргументированные споры, дискуссии по политическим вопросам, поскольку во время обучения в вузе они не получают навыков защиты идеологических ценностей социалистического общества, взглядов и убеждений». Что это значит? Это значит, что студент наш в итоге пяти лет учебы так и не научился видеть разницу между тем, что является

в нашей жизни социализмом, и тем, в чем социализма и в помине нет. Потом он же становится руководителем социалистического трудового коллектива, не приобретя иммунитета к «ведомственности», «бюрократизму», «технократическому подходу», «остаточному принципу», «комчванству» — всему тому, из чего и складывается механизм торможения для социализма. А ведь с методикой-то в его обучении марксизму-ленинизму все было хорошо. Иначе не становились бы его учителя благополучно один за другим доцентами, профессорами... Но все-то дело как раз заключено в том, что марксизм следует усваивать не столько по законам методики, сколько по законам самого же марксизма.

Словом, чем больше методики у преподавателя — тем меньше умения мыслить самостоятельно у студента, об этом свидетельствует сама жизнь. И потому вопрос о применении, скажем, научного коммунизма к жизни студент наш воспринимает часто как преподавательскую провокацию или скандал.

Уже 12 лет на государственных экзаменах мне приходилось слышать довольно полные и бойкие ответы о коммунизме. Но вот что обычно настораживает и удручает. Как правило, даже самый зрелый выпускник, блестяще объяснив, что нужно для построения коммунизма, сплошь и рядом смолкает перед вопросом: «А для чего коммунизм нужен тебе самому?» А ведь знать, для чего коммунизм нужен мне самому, равнозначно четкому и ясному пониманию того, что такое коммунизм и как его создавать.

Не случайно, прослышав от кого-то, что семинары по научному коммунизму я веду главным образом на основе текущих материалов местных и центральных газет, проректор по учебе доцент В. С. Полканов задал тревожный вопрос: «А как же методика? Позвольте, а как вы относитесь к самому научному коммунизму?!»

Где же выход?..

Принципиальный выход, безусловно, есть. «Научная работа преподавателя — залог его профессионального роста, условие высокого качества педагогического процесса», — сказано на Всесоюзном совещании заведующих кафедрами общественных наук 1 октября 1986 года. Ведь настоящая наука — это и есть жадность к принципиальности и фактам жизни, реальный путь, преодолевающий в вузе схоластику и догматизм. А что же получается на самом деле?

Положение дел в этом вопросе на кафедре философии и научного коммунизма СГМИ является крайне неблагополучным, а неблагополучие это является хроническим. Вот почему резкая критика нашего медицинского института в связи с этим звучала уже трижды. Первый раз в апреле 1982 года в выступлении Б. Н. Ельцина. Второй — из уст первого секретаря Свердловского обкома КПСС товарища Ю. В. Петрова. А в третий раз — в октябре 1986 года в передовой статье органа обкома КПСС газеты «Уральский рабочий». Но воз и ныне там... За все последующие годы никакой реакции на столь авторитетную партийную критику проявлено не было. Всякая инициатива и самодеятельность преподавателей в постановке данного вопроса игнорировалась или пресекалась. «С научной работой у нас все в порядке», — постоянно и официально уверяет проректор по науке В. В. Фомин. «Так ведь проректор же по науке нами доволен!» — вторит ему заведующий кафедрой философии и научного коммунизма доцент А. А. Баталов.

Как видим, «механизм торможения» здесь налицо. И корни его видятся мне вот в чем.

Резкое повышение уровня научной работы преподавателей неизбежно привело бы к решительной демократизации общественных отношений в вузе, а следовательно, к перераспределению влияния и ролей. Неуютно стало бы обладателям официальных «истин в последней инстанции». Ведь наука-то ориентируется на объективную истину, а не на руководящее мнение начальства.

Словом, методика — незаменимое средство там и тогда, где и когда есть необходимость превратить марксиста-обществоведа из искателя истины в чиновника общественных наук.

— А кому это нужно? — может возникнуть вопрос. — И, главное, зачем?

Попробуем понять это.

Участвуя в приеме государственного экзамена по научному коммунизму в Свердловском медицинском институте, я обратил внимание на такой факт. Оценка студента на ГЭКе, как правило, соответствует среднему баллу его общей успеваемости.

— Очень хорошо! — заявляет администрация кафедры. — Это говорит о нашей объективности при оценке ответа.

Что ж, очень может быть. Но говорит это еще и о том, что мы, обществоведы, не оказываем фактически никакого революционного влияния на мировоззрение своих питомцев. Что мы лишь констатируем общее положение вещей в их успеваемости. И больше ничего.

В итоге (и это госэкзамен тоже констатирует из года в год) студент наш не смеет: а) применять принципы научного коммунизма к фактам реальной жизни; б) применять одни свои знания к знаниям другим; в) да и вообще не может сметь свое суждение иметь. С чем это связано? Да с тем, по существу своему, индивидуалистическим образом жизни и учебы, который он все пять лет ведет. Вот и возникает вопрос: зачем студенту-индивидуалисту коллективистское, да еще и революционное мировоззрение рабочего класса, которое обществовед обязан ему преподать? С чего это вдруг индивидуалист станет мыслить смело и коллективистски?

Есть еще причина другая: прежде чем студент наш проявит запуганность, так сказать, научно-мировоззренческую, перед этим, оказывается, он уже запуган вообще. Где страх — там и индивидуализм!

В институтской газете «На смену!» (1988 г., 1 июня) секретарь комсомольской организации I курса санитарного факультета СГМИ Дмитрий Миргасимов прямо так и говорит: «Мы не знаем наших прав, а если и знаем, то молчим. Мы привыкли к рабской психологии, полагая: так легче жить — за тебя подумают... Сужу обо всем этом по нашему последнему комсомольскому собранию. В повестке дня — самоуправление, которое подразумевает влияние студентов на ход учебного процесса, аттестацию преподавателей и выбор их всей группой, внедрение северского почина в условиях вуза... в ответ... реплики: это у нас не пройдет, ничего не получится, все останемся на своем месте, а кончится тем, что мы себя плохо зарекомендуем... Почему? В наши головы с детских лет вбивали: начальник всегда прав!»

Феномен запуганного студента объясняется просто: его воспитал запуганный преподаватель. Чтобы не быть голословным, вновь приведу факт.

В Свердловском медицинском институте накануне XIX Всесоюзной партконференции проходило партийное отчетно-выборное собрание. «На главный вопрос, — констатировал журналист городской партийной газеты, — секретарь парткома М. Ф. Лемясев ответа так и не дал» («Вечерний Свердловск» от 7 июня 1988 г.). «Конфликтная ситуация произошла... при голосовании. Случилось так, что количественный состав парткома пришлось рассматривать дважды: сначала проголосовали «за» пятнадцать человек, а затем собрание одобрило (без голосования) количественный состав парткома в 17 человек.

В результате тайного голосования секретарь парткома М. Ф. Лемясев и его освобожденный заместитель Л. Г. Мельникова получили больше всех голосов «против».

— Мы думали, что если собрание проголосовало за состав парткома в 15 человек, то набравшие большее количество голосов «против» будут исключены из списка, — говорили коммунисты после собрания. — Но получилось так, что в партком все же избрали 17 человек.

Во всей этой истории с голосованием удивляет то, что в ходе отчетного собрания при обсуждении кандидатур ни в адрес М. Ф. Лемясева, ни в адрес Л. Г. Мельниковой никаких критических замечаний высказано не было. «Видимо, не научились еще коммунисты медицинского института открыто и честно высказывать критические замечания», — справедливо заключил партийный журналист. А ведь коммунисты института — это, как известно, лучшие его преподаватели!

Если институтские обществоведы не влияют на политический климат в коллективе как преподаватели, то вот как обществоведы ответственность за него они полностью несут.

Не секрет, что обществовед в вузе для того и существует, чтобы задавать образец, модель политического поведения всем прочим преподавателям. А уж через них, разумеется, и студентам.

Такова «этика» ирбитского синдрома.

За время после апрельского, 1985 года, Пленума ЦК КПСС сложился в Свердловске небольшой коллектив единомышленников-обществоведов. Они провели ряд научных конференций по изучению теоретического наследия классиков марксизма-ленинизма, проблемам коммунистического созидания, пытаясь внести свой посильный вклад в теоретическую разработку и пропаганду партийной идеологии перестройки. Вокруг свердловчан сложился перспективный научный коллектив обществоведов и из других городов страны. Определилось своеобразное научное лицо. Главное направление работы — изучение общественных отношений социализма, философский анализ социальных инициатив трудящихся, в особенности рабочих починов Урала.

Научная работа ведется прямо на заводах с рабочими. Проведен ряд «круглых столов», а именно: на Уралмаше, на Северском трубном заводе, Уральском турбомоторном заводе, свинцово-цинковом комбинате имени В. И. Ленина в городе Усть-Каменогорске, в Куйбышевгидрострое города Тольятти, а также на ГПЗ-1 в Москве. Ведется не только теоретическое обобщение опыта рабочих коллективов, но и организация практического обмена опытом между различными регионами страны. Так, научная инициатива свердловских обществоведов и их московских коллег из института культуры привела к тому, что в начале 1987 года уральский почин по

коллективной гарантии трудовой и общественной дисциплины впервые привился на московской земле.

И какова же реакция партийных органов? Один из фактов быстрого реагирования со стороны отдела науки и учебных заведений Свердловского горкома КПСС — «вредительство» на Уральском турбомоторном заводе — я уже привел. Добавлю к этому еще вот что.

В ноябре 1986 года знакомый нам уже Н. А. Воронин был включен в Президиум Уральского отделения Философского общества СССР. «В целях партийного укрепления уральского обществоведения» — таков был аргумент. Результат? Подготовленная к этому времени научная конференция «Ленинская концепция социализма как живого творчества масс» была *сознательно* сорвана. И это несмотря на то, что материалы конференции получили самую положительную рекомендацию от Академии общественных наук при ЦК КПСС, а сама конференция была предусмотрена планом мероприятий Философского общества СССР на 1986 год. Научная солидарность коллег из Казахстана позволила в прошлом году эти научные материалы издать в городе Усть-Каменогорске.

Вот и возникает резонный вопрос: почему науку о социализме приходится развивать лишь за пределами Свердловска? Не потому ли, что в партийной работе с обществоведами на Среднем Урале виной этому — все тот же знакомый нам *ирбитский синдром*?

●

КАКАЯ ЭНЕРГЕТИКА НУЖНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ?

«После Чернобыля» — так называется статья писателя Петра Дудочкина, опубликованная в «Молодой гвардии» (1988, № 8). Отклики на это злободневное выступление журнала заслуживают внимания общественности. Именно поэтому, печатая некоторые письма читателей, редакция считает своим долгом продолжить деловой разговор по насущным проблемам энергетики.

НОВЫХ ЧЕРНОБЫЛЕЙ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

Пронзительную картину беззащитности Природы рисует статья Петра Дудочкина. Стыд охватывает за то, что все это по нашей вине, по вине людей, величающих себя венцом природы.

Главный же и конкретный пафос статьи — решительное «нет» дальнейшему строительству атомных электростанций, этому минированию собственной территории, закладке потенциальных новых Чернобылей.

Ученые Новосибирского патриотического объединения «Память» давно уже не только бьют тревогу, но и предлагают стройную, детально проработанную альтернативную программу развития энергетики

страны. Ключевые моменты этой программы: энергосбережение, подземная газификация угля, газотурбинные и парогазовые установки, бесплотинные ГЭС, ветровые станции, ликвидация АЭС. Назову причастных к ней ученых: Э. Л. Бояринцев, В. П. Будянов, Ф. А. Быковский, Б. П. Гаврилко, В. Н. Гетманов, В. В. Черкашин, В. С. Шепелев.

7 июня 1988 года «Память» и официальная наука (на полностью паритетных началах — два сопредседателя и равное число членов оргкомитета, равное число докладчиков и даже слушателей) провели в академгородке совместную Всесоюзную научно-общественную конференцию «Энергетика и экология». Краткий отчет о конференции — на две газетных полосы — опубликовал еженедельник «Наука в Сибири» 21 июля 1988 года, готовится к изданию сборник с полным изложением основных докладов. Очень прошу «капитанов» энергетики оторваться от ведомственного зуда и посмотреть упомянутые материалы.

Мать-Природа красивых постановлений не читает...

Давайте вспомним слезинку ребенка — последний аргумент писателя Федора Достоевского в его споре с безнравственностью. Глухих к этому аргументу не должно быть.

Ю. И. МЕРЗЛЯКОВ,
доктор физико-математических наук,
профессор,
г. Новосибирск

ПОРА, ПОРА ОГЛЯДЕТЬСЯ, ОДУМАТЬСЯ!

Горячо поддерживаю тревожное и страстное выступление писателя Петра Дудочкина против легкомысленного, действительно, по существу, вредоносного разрушения «союза кровного родства разумного гения человека с творящей силой естества».

Совершенно справедлив упрек писателя в адрес тех, кто затеял в таких масштабах дорогостоящую, но в большинстве ненужную, вредную мелиорацию, осушение болот, хотя на наших беспредельных земельных просторах повсюду найдется уйма неиспользованных, заброшенных пустырей, которые позарастали чертополохом. Где, в какой стране столько подобных пустырей? Почему не направить силы на значительное повышение урожайности имеющихся земель?

У нас, на Брянщине, в Клинцовском районе, слово «мелиорация» стало напоминать слово «мель». И вот почему. Например, возле поселка Засновье Великотопальского сельсовета была когда-то плотина на реке Снов. Вверх от нее почти на три километра в длину и около километра в ширину простиралось прекрасное озеро с обилием рыбы. Озеро было любимым местом отдыха трудящихся. Колхоз разводил водоплавающую птицу, получал немалые доходы. И вдруг это озеро стало жертвой безграмотных мелиораторов, получивших чью-то неразумную команду: озеро спустили, болото между поселками Засновье и Красный Мост осушили, старое извилистое русло реки Снов с плавным течением и обилием родников в нескольких местах уничтожили, «спрямили», направили реку в прорытые, прямые, как стрелы, канавы. Но и это еще не все. Кустарникам и влагоохраняющим ольхам, которые

росли по обоим берегам, объявили настоящую войну, их выжигали с самолетов гербицидами, корни рвали бульдозерами. Погибло множество гнездовий соловьев, уток, чаек. И вот результат: баланс притока и оттока воды нарушен. Река Снов, направленная в прямые канавы, стремительно стала умирать, превратилась в ручеек. Стали иссякать и грунтовые воды, ушла вода из колодцев в поселке Засновье. А что получено взамен? Несколько десятков гектаров «нового» сенокоса, где обильно засели крапива да осока.

Мы, жители западных районов Брянщины, уже воочию ощутили близость Чернобыля. Сколько отдано людского здоровья, сколько затрачено средств. Пора, пора остановиться и оглядеться в ненасытном фаустовском устремлении. Пора подчиниться трезвому разуму!

И. М. ПОСКАННЫЙ, учитель,
село Великая Топаль, Брянская область

ПО СЛЕДАМ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЭКСПАНСИИ

Страшной опасностью для густонаселенной Средне-Русской возвышенности представляется строительство гигантских атомных электростанций, якобы необходимых для обеспечения народного благосостояния.

Однако после Чернобыля стало ясно, насколько ненадежна эта техника. Стоит напомнить, что атомные гиганты строятся ныне на основании планов, разработанных в годы «застоя», когда ведомства не считались ни с волей населения, ни с природой, которую стремились «победить» с особой лихостью. Сейчас перестраиваются многие планы, принятые в годы «застоя». Не пора ли отказаться от строительства атомных станций в густонаселенных районах, снизить их мощности, уменьшить количество агрегатов, чтобы хоть несколько приостановить их опасность для населения? При этом необходимо учесть меры по экономии энергии, возможности развития альтернативных источников энергии. В планах все это учтено недостаточно. Складывается мнение, что ведомства, ведающие энергетикой, не извлекли уроков из своей прошлой деятельности, продолжают свой курс на уничтожение природы, о чем свидетельствует разработанный план строительства новых станций.

Как же остановить этот натиск?

Петр Дудочкин считает: «Без кодекса технической нравственности в наш век жить нельзя». Справедливое суждение. Но ведь воспитание «технической нравственности», уничтоженной за долгие годы авторитарности, волюнтаризма и «застоя», потребует труда нескольких поколений. Необходим уже сейчас четкий механизм, ограничивающий бюрократа, пока еще явно безнравственного.

Необходимо, чтобы перечень объектов в плане, утвержденном Советом Министров СССР, был не обязательным, а только рекомендуемым, то же относится к титулу на проектирование объектов. Проекты, разработанные ведомствами, должны утверждаться местными Советами народных депутатов (республиканскими, областными), а не самим ведомством. Вот тогда Советы потребуют от ведомства и проработки альтернативных вариантов, и соблюде-

ния требований экологии. Если Советы будут иметь возможность отклонить проект, их требования будут действительно соблюдаться, Советы будут детально вникать в проекты, привлекать для их рассмотрения компетентных и объективных экспертов, зарекомендовавших себя в качестве крупных специалистов союзного масштаба. Эти эксперты и будут воспитывать у ведомства «техническую нравственность». Возможно, что в этом случае нравственность у ведомства проснется быстрее, чем при существующей полной бесконтрольности.

А. П. ТУЧНИН, врач,
г. Днепропетровск

ДАМОКЛОВ МЕЧ

Уважаемая редакция! Опубликованная в вашем журнале статья П. Дудочкина «После Чернобыля» не могла не взволновать читателей. Доколе будет висеть дамоклов меч над головою человека? Разве не всем ясно, что «мирный» атом грозит человечеству гибелью? Катастрофа в Чернобыле показала на примере, чем опасны нам атомные электростанции. Почему мы не используем энергию солнца, ветра, моря? Давно пора прекратить строительство АЭС, а имеющиеся уничтожить. Швеция первая показала пример. Слово за Советском Союзом.

С глубоким уважением,
И. В. РАЗЖИВИН,
член Союза журналистов СССР,
инвалид Великой Отечественной войны,
г. Калинин

С ЗАБОТОЙ О БЛИЖНЕМ И ДАЛЬНЕМ

Видно, не случайно в последнее время писатели все чаще обращаются к жанру «быстрого реагирования» — публицистике. А что прикажете делать, если в воздухе все сильнее ощущается опасность? Мы, тверяки, с некоторых пор чувствуем себя, как на рокочущем вулкане: у нас своя Калининская АЭС.

Поэтому публикация П. П. Дудочкина «После Чернобыля» воспринимается читателями как вызов технократическому произволу, воинствующей безнравственности и просто перманентной человеческой глупости. Есть от чего наступить бессоннице: в верховьях четырех крупнейших рек восточно-европейского региона возводится очередной памятник человеческого недоумия и безответственной вседозволенности могущественных ведомств.

Хочется подчеркнуть, что люди, которые занимаются проблемами энергетики, беспечно относятся к использованию силы ветра, воды, солнца, приливов и отливов, гейзеров и других полузабытых благ природы.

В. А. ДЕНИСОВ, пенсионер, постоянный читатель «Молодой гвардии»,
г. Калинин

ДАВАЙТЕ СМОТРЕТЬ ПРАВДЕ В ГЛАЗА

Не без волнения читала статью А. Проценко «После Чернобыля» в газете «Правда» за 6 сентября 1988 года. Газета предложила ее как мнение специалиста в защиту развития атомной энергетики в нашей стране. Неужели трагедия в Чернобыле ничему нас не научила? Чтобы понять опасность существования атома рядом с человеком, не нужно иметь специального образования. Нужно просто чувствовать чужую боль. Но это чувство, видимо, не знакомо автору статьи А. Проценко. Он обвиняет представителей гуманитарных профессий в том, что они-де не раз вмешивались и «окриком» закрывали целые направления в науке, такие, как кибернетика и генетика. Но насколько известно, эти направления были оболганы именно «специалистами» названных отраслей.

Мне, как читателю, гораздо ближе статья «После Чернобыля» П. Дудочкина. Пускай он не академик и не физик-специалист, он — патриот, ему дорога Родина, ее природа, ее народ, о котором меньше всего стали думать и заботиться в Академии наук. Именно на народ возлагает надежды писатель.

Мое мнение такое: не строить больше атомных электростанций, не испытывать судьбу нашего многострадального народа.

Л. А. УШАКОВА, журналист,
ветеран труда,
г. Нижний Тагил

ГЕНЕТИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ЭНЕРГИЯ!

Авария на Чернобыльской АЭС показала всему миру, как опасен даже «мирный атом», если он выходит из-под контроля людей, если в обращении с ним допускаются небрежность и безответственность.

В последние десятилетия в народном хозяйстве страны и сопредельных странах появились новые отрасли с радиационно опасными объектами атомной энергетики, химической промышленности и других отраслей, аварии которых могут повлечь за собой человеческие жертвы, материальные потери, социальные и экономические последствия, о которых так громко мы заговорили в последнее время.

Безусловно, ядерная энергетика существенно расширила возможности энергетики, медицины и в целом способствует техническому прогрессу. Вместе с тем она принесла радиационную опасность для людей и окружающей среды, о чем свидетельствуют события в мире последних лет: рост числа аварий с человеческими жертвами, нарушением экологического баланса целых регионов, не говоря уже о моральных и материальных последствиях.

Сама жизнь, действительность заставляют об этом глубоко задуматься.

Но продолжают работать и строиться новые АЭС. Их обслуживают люди, которые могут и ошибаться. И мне думается, что

даже самая совершенная техника, современные компьютеры не застраховывают от ошибок и небрежности человека.

Вот почему я горячо поддерживаю страстный призыв писателя: «Мы должны, обязаны искать и находить новые виды энергии в дополнение к тем, что имеем».

В. А. РАГУЛИН, сотрудник УВД Донецкого облисполкома,
г. Донецк

КОВАРСТВО АТОМА ВОКРУГ НАС

Чернобыльская трагедия развеяла миф о том, что атом всегда может быть мирным. И дело здесь не только в плохих и халатных работниках АЭС, которые что-то недосмотрели, допустили те или иные служебные нарушения. Дело в несовершенстве технологии АЭС. Пока способ работы этих электростанций не изменится, вряд ли можно рассчитывать на безаварийную службу агрегатов, атомных реакторов и т. д. Техника есть техника. Рано или поздно она выходит из строя вне зависимости, какая на ней этикетка — советская или заграничная. Конечно, технический прогресс остановить нельзя, и от атомной энергетики уйти теперь едва ли удастся. Думается, выход кроется не в отказе от АЭС, как возможного источника получения электроэнергии, а в том, чтобы этот источник не играл главенствующую роль в энергетической программе страны, чтобы в общую упряжку впрячь «коня и трепетную лань». Настала пора пересмотреть «политику гигантизма» электростанций. Ведь чем больше спрятана единичная мощь под одной крышей, тем дороже цена аварии. Пора вернуться к проектам ветровых и мелких гидравлических электростанций. Пора осмыслить с экологической точки зрения экономичность любой электростанции. Быть может, выгодно допустить первоначальное удорожание данных сооружений. Например, спрятать атомные реакторы под землю, строить АЭС в малолюдных местах, где аварии могли бы нанести Природе минимальный вред.

Петр Петрович Дудочкин абсолютно прав, говоря о крайне неудачном расположении Калининской, Минской, Белгородской АЭС. А разве на месте строится Крымская АЭС? Хорошо, что запретили строительство Краснодарской АЭС. Но нужно найти смелость запретить работы и на Крымской. На уникальность Крыма обращали внимание ученые Симферопольского госуниверситета. Но при аварии на Крымской АЭС пострадают не только курорты и реликтовые растения полуострова. Беда коснется Черного и Азовского морей, а следовательно — всех азовско-черноморских курортов, включая кавказские.

Можно подумать, что каждым, кто выступает против строительства АЭС в его местности, движет местнический интерес, что он забывает «интересы общества». Этой демагогией всякий раз прикрываются групповые интересы того или иного министерства или ведомства. Достаточно вспомнить цепь волжских ГЭС, которые затопили тысячи и тысячи гектаров плодородных земель, целлюлозный завод на Байкале, высохший Арал, чтобы понять, чьи интересы пострадали — групповые или общественные. С обществом демагоги вообще никогда особенно не считались, прикрываясь его

именем. Но ведь даже один человек имеет право быть выслушанным, а группа — тем более. Почему же у нас слушают лишь тех, кто высказывает мнение, выгодное для властей предержащих? Почему не спросили мнение ленинградцев, когда решили перегораживать Невскую губу? Таких примеров можно привести сотни, а ответа нет.

Давно и у нас, и у зарубежных специалистов разработаны энергосберегающие технологии и конструкции. Напрашивается логичный вопрос: почему у нас они никак не пробьют дорогу к потребителю? Можно понять интерес транснациональных корпораций: они тянутся к получению максимальных прибылей. Но у нас-то социализм! Нам-то должно быть выгодно сокращать потребление всех видов энергии. А как выглядит все на самом деле? Наши автомобили самые дымные, наши ТЭС самые «кислотные». Наши энергопотребители самые неэкономичные. Быть может, это бесхозяйственность или экономическая незаинтересованность? А может быть, все дело заключается в элементарной мафии? В сращении бюрократии с невежеством, когда под видом «общественного интереса» проталкивается в жизнь интерес той или иной вполне конкретной группы? Может быть, именно данной группе претит прогресс в развитии энергосберегающей техники и технологии? Наверное, и об этом нужно подумать, прежде чем строить АЭС в густонаселенных и курортных районах.

Вот на какие мысли наводит статья тверского писателя П. П. Дудочкина. Она не только написана кровью сердца, но вызывает боль в душах неравнодушных людей.

А. А. МОРОЗОВ,
г. Феодосия, Крымская обл.

ПОЧЕМУ УРОК НЕ ВПРОК!..

Статья «После Чернобыля» взволновала читателей. Как верно и точно переданы в ней мысли и опасения всех здравомыслящих людей. Как это получилось, что наша родина приведена на такую опасную грань? Можно ли быть уверенным, что никогда не произойдет новых ужасающих катастроф, видя столько примеров безответственности, расхлябанности? Иначе не было бы и Чернобыля! Как можно так рисковать? Да в верных ли руках атомная энергетика? Какой контроль нужен там!

У нас, жителей Брянской области, сейчас очень тревожное время. Принято решение строить Брянскую АЭС. Это здесь-то, после Чернобыля. Как страшно за детей и внуков. Неизвестно еще, чем все это кончится. Почему урок Чернобыля не впрок?

Здесь бы принять меры по оздоровлению, улучшению обстановки. А тут приняли чудовищное решение — строить совсем рядом АЭС. Уже начаты работы. Люди волнуются, пишут, возмущаются. Но как добиться справедливости?! Неужели протесты людей не в счет! Это же кощунственно, даже бесчеловечно...

М. П. ЮШКЕВИЧ,
г. Клинцы

САМИ СЕБЕ — АТОМНУЮ ВОЙНУ!

Товарищи! Я прочитал статью в вашем журнале о непоправимой беде, несущей гибель стране — об атомной электростанции на северной окраине Твери и Москвы. Конечно же, в вашем выступлении сущая правда и колокольная тревога! В августе мы с женой отдыхали в Крыму. Я подивился несгибаемости населения Крыма: от рядовых колхозников до ученых, все поднялись против заложенной вблизи Керчи еще одной станции. В прессе неустанно звучали протестующие статьи. По городу ходили списки с требованием: убрать из Крыма непрошеную «гостью»! Наконец, собрали по рублю те 300 тысяч уже израсходованных на сооружение корпуса (уже возвели втихую) и выплатили дань. Но добились приостановления строительства!

А в Брянске осенью прошла сессия горсовета по тому же вопросу. Были протесты, были! Но «отцы» города дружно встали в поддержку плана строительства АЭС (в 6 км от города!) и добились голосования «за»...

Над страной навис какой-то рок. Сами себе объявили атомную войну, сами дьявола тащим за хвост в свое жилище!

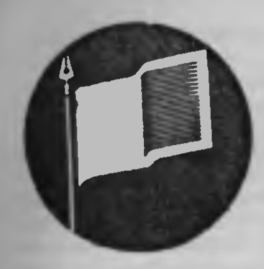
Николай РОДИЧЕВ, писатель

УГРОЗА ЦИВИЛИЗАЦИИ

Полностью согласен со всеми положениями и выводами автора, разделяю его опасения и тревогу в отношении как очень большой опасности строительства и эксплуатации АЭС для матери-Природы и населения нашей страны и всей человеческой цивилизации, так и в отношении необходимости контролировать решения Академии, Госплана, Минводхоза СССР по строительству АЭС и другим вопросам, имеющим общегосударственное значение. АЭС представляют реальную угрозу не только для ныне живущих, но и для будущих поколений. В печати совершенно не освещаются имеющиеся проблемы, связанные с захоронением радиоактивных отходов, а также с очень большими материальными затратами на строительство АЭС.

Для предотвращения потенциально возможных трагедий необходимо активизировать общественное мнение, разъяснять опасность, возникающую при строительстве и эксплуатации АЭС.

Ю. ФЕДОРОВ, научный сотрудник,
Ленинград



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Валерий ХАТЮШИН

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ СХЕМА

Что такое тенденциозность в литературе? На этот вопрос, не заглядывая в литературоведческий словарь, можно было бы ответить примерно так: тенденциозность — это сознательное нежелание писателя видеть и изображать жизнь во всей совокупности ее проявлений. Когда автор увлечен какой-либо взятой не из реальной действительности, а головной идеей, долженствующей утвердить в общественном сознании субъективную точку зрения, выгодную ему самому или некой пусть даже многочисленной группе людей, тогда неизбежно и выступает на арену искусства это дурное явление — тенденциозность.

К вопросу о тенденциозности в искусстве с величайшей осторожностью и даже подозрительностью подходили не только классики мировой литературы, но и вожди коммунистического движения. Ф. Энгельс по этому поводу писал: «Чем больше скрыты взгляды автора, тем лучше для произведений искусства» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 37, с. 36). Эти простые и точные слова невольно приходят на память всякий раз, когда заходит речь о произведениях нашумевшей прозы, увидевшей свет в последние годы.

Повесть Гранина «Зубр» лишь с великой натяжкой можно назвать повестью. Всем должно быть видно, что это — пространный очерк, причем документальный очерк, в котором почти нет ничего художественного в том смысле, в каком необходимо отличать художественную литературу от публицистики. И в данном случае разговоры о «взаимоотношении художественного образа и реального прототипа» (Лавлинский Л. «ЛО», 1988, № 6) не имеют никакого отношения к делу, так как Гранин сам признается в «Зубре», что ему ничего не надо было выдумывать о Тимофееве-Ресовском, что его повествование основано на «подлинных» документах, личных встречах и воспоминаниях современников ученого. Читается «Зубр» как читается любой очерк — исключительно в познавательных целях, вне всякого расчета на художественные особенности подлинно литературного произведения. И пусть документальная публицистика — это тоже литературный жанр, «Зубр» — все же не более чем публицистика. Поэтому заводить разговор о собственно художественных достоинствах повести «Зубр» безосновательно. Они отсутствуют. Говорить же о «Зубре» как о событии в нашем искусстве — значит небескорыстно грешить против истины.

Гранин неоднократно подчеркивает: «...все лица у меня достоверные» или: «Если бы о Зубре я сочинял...» и т. п. Писатель нарочито не устает повторять, что в своей повести он отобразил «единственный ход жизни, который... не мог вообразить», что в ней «Зубр остался точно таким же, каким был». Следовательно, хочу еще раз заметить, нет у нас никаких оснований ссылаться в данном случае на спасительную *правду художественного вымысла* для того, чтобы в темных местах повествования с удобством отделять судьбу литературного героя от судьбы прототипа.

Теперь, переходя непосредственно к судьбе Тимофеева-Ресовского, изображенной в повести, нельзя пройти мимо вопроса: насколько точно она изображена? Насколько беспристрастен и логичен писатель в своем взгляде на эту судьбу, как оперирует фактами и документами, которыми он располагает? Ведь жизнь и деятельность генетика Тимофеева-Ресовского доныне еще не вполне прояснена. Мы пока не можем сказать точно, что знаем все о его научных изысканиях, опытах, особенно в то время, когда он находился и работал на территории Германии (в тридцатые и тем более в сороковые годы). Недаром же в печати за последнее время появилось столько противоречивых и взаимоисключающих публикаций. Как говорится, дыма без огня не бывает... Но надо отдать должное Даниилу Гранину: он дал толчок к выявлению интересных свидетельств, вынул из небытия истории личность неординарную. Однако остаться объективным и беспристрастным к этой личности писатель не пожелал.

Гранин заранее отвергает всяческие сомнения насчет безобидности биологических исследований Зубра в лабораториях фашистской Германии: «Пустили слух, что в Германии он работал на гитлеровцев, занимался опытами на людях, на советских военнопленных... Фактов не приводили, клевета не нуждается в фактах».

Если клевета в них не нуждается, то правде без них, надо думать, никак не обойтись. К фактам мы еще вернемся, но интересно взглянуть на то, как сам Гранин опровергает данную, по его убеждению, «клевету», на каких документах, на каких «фактах» строит собственную убежденность. А ни на каких. Их у него нет. Но есть домыслы: «Наверняка можно было бы собрать письма, справки, показания спасенных при его участии людей, тех, кому он в годы фашизма оказывал помощь. Сотрудники Буха опровергли бы (еще бы! — **В. Х.**) измышления о каких-то опытах над людьми и тому подобную клевету. Многие дали бы свидетельства — и Лауэ, и Гейзенберг, и Паули. Зубр посрамил бы клеветников и появился бы перед нами как один из **героев антифашистского Сопротивления**. Это была бы **славная** история о советском ученом, который, отвергнув свое безопасное существование, включился по-своему **в борьбу** с фашизмом в центре Германии» (выделено мной. — **В. Х.**).

Многое не согласуется тут у Гранина с логикой рассуждений. Выходит, что Зубр не вернулся в Россию, отверг «свое безопасное существование» ради борьбы с фашизмом в центре Германии. Но ведь за несколько глав до этого умозаключения прозаик размышляет: «Решение Зубра не возвращаться — поступок или **самосохранение?** Можно ли требовать от человека **самоубийства?** И если человек отказался шагнуть в пропасть, то поступок ли это? Каждое время, наверное, имеет свое понятие поступка» (выделено мной. — **В. Х.**).

Напрашивается вопрос: так где же было «безопаснее» Зубру для сохранения своей жизни? В центре Германии или в России? Видимо, там, где он остался. Кощунственно за это осуждать. Генетика в то время подвергалась разгрому в СССР. Но не менее абсурдно делать из него на этом основании «героя антифашистского Сопротивления».

Прозаику приходится гадать: «можно было бы собрать», «опровергли бы» (могли ли сотрудники лаборатории в Бухе не опровергнуть «слухов» об опытах на людях, если иначе они пошли бы под суд?), «многие дали бы», «посрамили бы», «это была бы» и т. д. Гадания гаданиями, но они не прибавляют ясности и никого не убеждают, потому что, как указывает Гранин, «ничего этого сделано не было».

А вот слухи, в свою очередь, после выхода в свет повести перестали быть только слухами. Появились некоторые публикации. Так, в статье «Страницы уранового проекта» («Лит. Россия», 1988, № 21) С. Иванов рассказывает об участии Тимофеева-Ресовского в разработках по созданию в Германии в 1939—1945 годах атомной бомбы. Как генетик он должен был заниматься проблемами биологической защиты от радиоактивного облучения. С. Иванов, основываясь на документах и публикациях в германской прессе, пишет в своей статье: «Немецкие коллеги Тимофеева-Ресовского и члены его семинара энергично включились в ядерные исследования. В. Гейзенберг стал научным руководителем Уранового проекта. К. Ф. фон Вайзеккель — ведущим специалистом, Н. Риль как один из руководителей фирмы «Ауэргезельшафт» возглавил производство урана». На этом основании очень странным представляется мне пожелание Д. Гранина сослаться на показания руководителя Уранового проекта В. Гейзенберга о неучастии Ресовского в этом проекте, в то время как последний находился в его непосредственном подчинении...

Далее С. Иванов сообщает: «Полученный практический опыт позволил в 1941 году выступить с некоторыми обобщениями.

Я имею в виду статью «Механизм воздействия ионизирующих лучей на элементарные (основные) биологические единицы» («Натурвиссеншафтен», тетрадь 29). Авторская связка Тимофеев-Ресовский — К. Г. Циммер (с 1957 года Циммер возглавлял Институт лучевой биологии в крупнейшем ядерном исследовательском центре Карлсруэ в ФРГ. — В. Х.) была в этой статье дополнена еще одной фамилией — Н. Риль. Что это могло означать? Будучи руководителем фирмы «Ауэргезельшафт», обеспечивающей ураном немецкие ядерные разработки, сам Риль, конечно, не мог вести биологические научные исследования. Может быть, он хотел своей подписью упрочить положение Тимофеева-Ресовского в глазах властей? Или материалы, положенные в основу статьи, взяты из практики возглавлявшегося Рилем производства? Так или иначе, Риль поставил свою подпись под статьей, подчеркнув связь Отделения генетики с урановым производством».

А. Кузьмин в «Нашем современнике» (1988, № 4), ссылаясь на статью в журнале «Натурвиссеншафтен» (1942, тетрадь 40, с. 602), говорит об опытах, проводимых в Отделении генетики на военнопленных, которым вводили в кровь радиоактивное вещество для выяснения у людей скорости кровообращения. Он же в письме, напечатанном в седьмом номере «Нашего современника» за 1988 год, в дополнение к прежде сказанному пишет: «Сейчас многое поставлено в зависимость от решения вопроса об опытах на людях... Материал С. Иванова стоило бы наложить на сведения Д. Ирвинга («Вирусный флигель». М., 1969, с. 218—220). Дело в том, что проект не сводился к атомной бомбе. Англичан больше пугала подготовка вермахтом радиоактивной войны (распыление радиоактивных веществ с помощью обычного вооружения). И именно это направление разрабатывалось в отделе Ресовского. Норвежские патриоты, взорвав установку для получения тяжелой воды, спасли миллионы жителей Европы и в какой-то степени реноме Ресовского, поскольку проект не был реализован.

Многое остается неизвестным. Неясно, как соотносятся с урановым проектом «опыты» по стерилизации, проводившиеся на тысячах жертв с помощью сильного рентгеновского облучения (см.: Иванюшкин А. Я. Врачебная этика и преступления фашистской антимедицины. — В кн.: Философские вопросы биологии и медицины. М., 1986, с. 62—69). Но ясно, что не в этом «храме» следовало бы искать новые кумиры».

Из этих далеко не полных примеров видно, что утверждения Гранина о «клевете» и «подлых слухах», не имеющих якобы под собой никакой почвы, не что иное, как попытка закамуфлировать истинную сущность научных исследований сотрудников института в Бухе.

Случаен ли тот факт, что арест гестаповцами сына Тимофеева-Ресовского за участие в подпольной антифашистской организации, впоследствии растрелянного в концлагере Маутхаузен (вот кто боролся с фашизмом в центре Германии!), никак не отразился на судьбе ученого? Его даже не допрашивали, подтвердив тем самым его значимость в Урановом проекте.

Там Тимофеев-Ресовский, как известно, публично не опровергал свидетельств о его бесчеловечных опытах в немецком биологическом центре. Гранин по-своему объясняет упорное молчание Зубра: «Неверно было бы считать, что его не заботила собственная репутация. Еще как заботила! Почему же он молчал, так упорно

отмалчивался? Я настойчиво допытывался об этом у Воронцова и у Яблокова. С некоторыми оговорками они сходились в одном — гонор мешал».

Может быть, и впрямь Зубру мешал «гонор», но что помешало писателю обратиться к документам, не являющимся секретными, нам неизвестно. Гранин, так и не сумев привести никаких доказательств обратного, стремится поразить читателя убийственной логикой своего довода: ничего этого не было, потому что «ничего такого не могло быть». Ну что ж, и такая формула бывает неплоха, когда есть вера в правоту своих убеждений. Но, чувствуется, достаточной веры нет и у самого Гранина. Иначе зачем надо срываться на последний бессильный вопрос: «Перед кем оправдываться? Перед клеветниками, шпаной, людьми, лишенными совести?»

Действительно, зачем надо на протяжении всего повествования оправдываться за своего героя с помощью голословных предположений, не подкрепленных ничем, кроме «личного мнения», если оправдываться не пред кем?

Несколько раз в повести Гранин заставляет нас поверить в то, что его герой — потомственный дворянин — был ярым противником антисемитизма. Думается, никто из читателей в этом не сомневается: писатель сам рассказывает о том, как Зубр даже во время войны («в центре Германии»!) принимал на работу в свою лабораторию лиц еврейской национальности. Казалось бы, все понятно. Но, сообщив об отвращении своего героя к антисемитизму, Гранин через несколько страниц напоминает об этом во второй раз, затем — в третий, в четвертый... Господи, хотелось сказать, да ясно же это, ясно! Но нет, Гранину словно очень сильно хочется кого-то в этом убедить...

Представьте себе, если бы кто-нибудь, взявшись описывать жизнь каких-либо великих русских ученых, ну, скажем, Сеченова, Павлова, Циолковского, то и дело повторял бы тезис об их неприязни к антисемитизму. Такая настойчивость наверника вызвала бы недоумение и подозрительный вопрос: и чего это автор так суетится, чего столько вертится вокруг одного качества в натуре своего героя? Это что, главная черта в характере человека? По-моему, с гораздо большим доверием и с большей симпатией стоит относиться к людям, являющимся противниками любого национального экстремизма.

Работу над производственным романом «Новое назначение» А. Бек закончил в 1964 году, до снятия с поста главы государства Н. С. Хрущева. Временной фактор написания романа прослеживался с его первых до последних строк и имел, несомненно, огромное значение как для самого автора, так и для внутреннего развития замысла данного произведения. В эпоху Сталина и Брежнева такой роман вряд ли был бы написан Беком. Сейчас же, вчитываясь в текст, все время чувствуешь, что автор как бы *отстает* от нынешнего взгляда на затрагиваемую историческую действительность, что в наше время о многом в своем романе А. Бек сказал бы резче, откровеннее, прямее (подлинная литература и по-настоящему талантливые художники в своем предвидении всегда опережают историю). Тем не менее «Новое назначение» — это именно производственный роман начала 60-х го-

дов — эпохи «потепления» — с попыткой даже не осуждения (в содержании романа этого нет), а осторожного показа негативных сторон сталинизма через образ Александра Леонтьевича Онисимова, получившего от Сталина неожиданное назначение на должность народного комиссара танкостроения.

Онисимов в романе — сталинист, честный, принципиальный исполнитель указаний партии, причем исполнитель, нередко идущий наперекор собственному мнению и собственным убеждениям, которые в конце концов оказываются верными, но в момент так называемой «сшибки» личного мнения с мнением *Хозяина*, олицетворявшего *мнение партии*, умеющий подчиниться, так сказать, соблюсти партийную дисциплину. Пример тому — история с электропечью конструктора-самородка Лесных, идею которого Онисимов отклонил, не поддержал, счел неперспективной в металлургии, но после личного распоряжения Сталина беспрекословно провел эту идею в жизнь, в кратчайший срок осуществил в Сибири строительство завода по выплавке стали методом Лесных. Практика доказала первоначальную правоту Онисимова: изобретение Лесных оказалось несвоевременным, его печи не дали желаемых результатов, их пришлось разрушить. Но ослушаться постановления Совета Министров СССР, как это сделал академик Челышев, Александр Леонтьевич — высококлассный специалист своего дела — не нашел гражданского мужества, да и к тому же считал предосудительным. Это постоянное преодоление себя, сшибка личного убеждения с вышестоящим (первоначально роман так и назывался — «Сшибка») стала причиной нервной болезни (начали дрожать пальцы) и зарождения в его легких раковой опухоли.

Онисимов обречен, он это понимает, но врачи продолжают его обманывать, то утверждая, что у него запущенная форма пневмонии, то находя признаки какой-то редкой болезни под названием актиномикоз.

Сшибка с гражданской совестью рано или поздно приводит человека к личной трагедии. Это на образе Онисимова хочет доказать нам Александр Бек. Сталинизм, как раковая опухоль, убивает, разлагает душу и организм любой здоровой личности. Это, видимо, основная концепция романа. Выживают и имеют будущее не исполнители типа Онисимова, а такие бесстрашные люди, как Челышев, Головня-младший. Роман заканчивается символически оптимистично: «Час спустя Василий Данилович (Челышев. — В. Х.) в шляпе, в пальто шагает по каменным приступкам дома приезжих под ночное небо Андриановки, чуть окрашенное мерцающим багровым отливом. Доменщика-академика влечет завод». А в это же самое время из кремлевской больницы в престижный санаторий уезжает (лечение бесполезно) якобы для поправки здоровья бывший нарком Онисимов — уезжает умирать.

Роман — бесхитростен, прямолинеен: даже честный, убежденный член партии, но сталинист — не имеет никаких перспектив на будущее, должен заживо сгнить хоть бы и в привилегированном лечебном заведении. И все бы именно так воспринималось, когда бы роман Бека был опубликован в том же 1964-м или, по крайней мере, — в 1965 году. В наше время о «Новом назначении» редко бы кто вспоминал, во всяком случае, нелепо сейчас

было бы его критиковать. Но история распорядилась иначе, и трагедия романа, а еще больше его автора состоит не только в том, что роман опубликовали только в 1986 году, но, по моему убеждению, в том факторе, что между временем его написания и опубликования лежит целая эпоха, названная нами «периодом застоя». Александр Бек, поставив последнюю точку в «Новом назначении», по всей вероятности, совершенно искренне предполагал, что сталинизм и сталинисты — явление прошлое, отжившее, что онисимовы в своих санаториях доживают последние дни. И глубоко ошибся. Колесо истории повернулось вспять.

Слабость романа А. Бека состоит главным образом в том, что автор не понял действительности, не почувствовал грядущих изменений в политической и нравственной жизни страны, не увидел тех, кто в скором времени придет к власти и двадцать лет будет править страной, толкая ее к пропасти и расплодив многомиллионную армию алчных бюрократов, сторонящихся прогрессивного мышления, тормозящих развитие нового в науке и в производстве, поступая еще хуже, чем делал это его главный персонаж по отношению к энергичному, неординарно мыслящему металлургу Головне-младшему. А придут даже не сталинисты (у тех были убеждения и бескорыстная преданность делу), придут карьеристы и политические демагоги в союзе с преступной мафией коррумпированной номенклатуры. Ведь преемник Онисимова в романе — новый министр черной металлургии Цихоня, «покладистый» и беспринципный, уже приказавший разрушить самую первую, экспериментальную печь Лесных, очень удачно впишется в будущую систему «ударных» пятилеток застоя...

А. Бек слишком уверовал в историческое невозвращение своего героя и просчитался. Брежнев перечеркнул его надежды. Общество было заражено *культом личностей* (имя Брежнева стало обязательным употреблять с дополнением «лично»), и оно не могло избавиться от этой болезни, не переболев ею самым жестоким образом. Но эта зараза, как чума, требовала немалых жертв. И уйти из жизни раньше времени пришлось не бековскому Онисимову, а самому автору романа, так и не увидевшему конца новой «застойной» эпохи извращенного сталинизма. Можно уверенно предположить, что трагедией для него стал не факт запрещения романа к печати, а осознание ошибочности главной идеи романа. Необладание же даром предвидения и художественного прозрения всегда оборачивается для писателя творческой неудачей и даже трагедией как художника.

Сейчас много и чаще всего слишком прямолинейно говорят о сталинизме. Однако сталинизм как один из методов практического осуществления диктатуры пролетариата неоднозначен. Ведь Сталин искренне считал себя марксистом-ленинцем, и тем печальнее нам оценивать ныне последствия этой беспощадной «искренности». Теперь, когда читаешь в печати неистовые поношения Сталина (и только его), невольно спрашиваешь себя: а возможно ли было после семнадцатого года на практике (а не в теории) избежать тех бесчисленных «жертв сталинизма»? Прежде чем отвечать на этот вопрос, нужно внимательно прочитать послеоктябрьские теоретические работы лидеров революции: Ленина, Троцкого, Бухарина, Рыкова и других. Не стремясь свое личное мнение выдавать за бесспорную истину, все же не могу не сказать: сталинизм возник не на пустом месте, во всяком слу-

чае, вышел он не из мрачного сознания «параноика Джугашвили».

Но сталинизм, даже в том виде, в каком его представляет нам большинство органов печати, еще далеко не изжил себя, не ушел насовсем в прошлое. Мы и теперь еще не имеем ни моральной, ни конституционной гарантии невозвращения авторитарной власти и командно-административных форм управления во всех сферах нашей жизни. И потому никто еще не может сказать, что с *культом личности* покончено навсегда, что метастазы этой болезни уже не будут разъедать наше общество в будущем.

Ныне становится ясно, что А. Бек писал свой роман на потребу дня, в русле официального, хрущевского курса в общественно-политической жизни страны конца пятидесятых — начала шестидесятых годов, не ожидая и не чувствуя тех резких изменений в нравственной атмосфере общества последующего двадцатилетия. И потому его роман — конъюнктурный. Трагедия писателя Пыжова, выведенного в «Новом назначении», в лице которого легко угадывается Александр Фадеев с его попыткой создания романа «Черная металлургия», роковым образом повторилась в судьбе самого Александра Бека. Как литературный герой Пыжов, как реальный писатель Фадеев, так и сам А. Бек, увлекшись ошибочной, иллюзорной идеей, каждый в своем конкретном случае оказались обреченными на творческое поражение.

«Все мы дети Арбата...» — констатирует И. Золотусский в «Литературном обозрении» № 6 за 1988 год. Не знаю, что побудило критика к такому обобщению. Лично я себя к подобным *детям* не отношу, да и вряд ли согласятся с мнением Золотусского люди, с которыми я строил КамАЗ, газопровод «Сияние Севера» и новые кварталы Москвы. Более того, они, возможно, сочтут за оскорбление этакое высказывание, так как жизнь свою провели в каждодневном физическом труде и знают цену куску хлеба и заработанному рублю. Для многих из них Арбат — не более чем салонно-аристократическое местечко Москвы, а дети Арбата — это те, кто провел там свое беспечное детство.

Мне однажды уже пришлось отвечать в печати по поводу похожего признания — на статью под названием «Мы — поколенье Нового Арбата». Я высказал мысль о том, что Арбат внедрился в наше общественное сознание не случайно, он стал как бы центром оторванного от жизни и от народа *круга* интеллигентствующих бездельников, именующих себя нонконформистами и разуверившихся во всем: в Родине, в народе, в себе, наконец.

«Мы дети страшных лет России», — сказал Блок. А писатель А. Рыбаков и вместе с ним критик И. Золотусский под Россией подразумевают исключительно Арбат. Пусть даже «дети Арбата» для них своего рода метафора, тем не менее наш народ — это столь грандиозная величина, что она никак не умещается в границах подобного метафорического ви́дения.

Что же касается одноименного романа А. Рыбакова, то приходится с уверенностью говорить: роман этот — абсолютно тенденциозный, от начала до конца написанный по заданной схеме. В этой схеме все просто: Сталин — коварный интриган, человеконенавистник, инфернальный злодей, Киров — прямой, бесхитростный рабочий лидер, кристальной чистоты коммунист, жертва темного сталинского заговора, Орджоникидзе — честный, принципиальный труженик партии.

Хотя, казалось бы, зачем полновластному Хозяину государства так хитроумно и долго плести смертельную интригу вокруг Кирова? Ведь там, где ему надо, согласно схеме Рыбакова, Сталин действует быстро и четко: все его потенциальные «враги» без промедления уходят в небытие. Что-то в этой схеме не вяжется у Рыбакова при всем его страстном желании протащить эту версию сквозь игольное ушко своего схематического замысла. Не сомневаюсь, будь у автора хоть малейшие фактические доказательства своей концепции, эта история приобрела бы в романе для сюжетной линии гораздо большее значение. Но вся беда в том, что нет у Рыбакова ни фактов, ни каких-либо доказательств причастности Сталина к убийству Кирова. А когда нет доказательств, но очень хочется, чтобы все было именно так, тогда никак не обойтись без заданной схемы, в рамках которой любое историческое лицо и любые исторические события можно гнуть под нужную мерку, втискивать в прокрустово ложе надуманной концепции. Как ни грустно, а приходится признавать, что данная проза лишена традиционных признаков полноценной русской литературы.

Как видим, и Гранин и Рыбаков решили отойти в своих новых вещах от принципа как можно большей близости к исторической правде. Они задались целью нарисовать свою правду, в которой действительное может быть проигнорировано, а желаемое возведено в непреложность реального факта.

Свои размышления я начал с вопроса о тенденциозности в литературе. Если же все-таки заглянуть в литературоведческий словарь, то можно увидеть, что одно из канонических определений тенденциозности звучит в точности так: «навязываемая читателям предвзятая, ложная мысль, в угоду которой писатель искажает факты, дает одностороннее освещение изображаемых явлений».

Мне кажется, лучшей иллюстрацией данного определения может служить проза, о которой шла речь в этих заметках.

●

В. БУШИН

ДЕЯНИЯ СВЯТОГО ОТКАЗЧИКА

Вот какая прискорбная, но поучительная история случилась недавно.

Когда в Московской писательской организации проходили выборы делегатов на XIX Всесоюзную партконференцию, одна из участниц собрания уж так жаждала увидеть среди избранных главного редактора «Огонька» Виталия Коротича и главного редактора «Знамени» Григория Бакланова, что в своем пламенно-страстном выступлении назвала их «святыми людьми». Да, именно святыми. Ну, как апостол Петр или дева Мария. Коротич, в противоположность Бакланову, на собрании не присутствовал. Но публичное причисление к лику святых не помогло не только отсутствующему, но и присутствующему: на конференцию их не избрали. Впрочем, неудача у своих братьев-писателей не помешала им обоим в конце концов получить мандаты. Нельзя сказать, что это удалось им уж так легко. Не знаем в точности, как св. Григорию, а св. Виталию пришлось и побегать и попотеть. Выдвинули его в Москве первый раз — неудача, выдвинули второй — опять, выдвинули, кажется, и третий — обратно тот же самый афронт... А уж очень хотелось видеть его на трибуне конференции. И вот, не добившись успеха там, где живет и работает, где его, естественно, знают лучше, решил Коротич попробовать еще разочек счастья вдали от столицы, за тыщу верст от нее — аж в Херсоне. Почему именно в Херсоне — может, он там родился, кончал школу, институт и жители города хорошо знают его, горячо любят? Нет. Может, работал там, допустим, на нефтеперерабатывающем заводе? Никогда. Может, наконец, в армии там служил? Нет. Так в чем же дело? Загадка. Тайна. Как в известной песне о Железняке:

Он шел на Одессу,
А вышел к Херсону...

Каким образом военный человек — матрос, да еще партизан! — мог с целым отрядом так заплутать, что вместо одной губернии попал в другую, вместо одного губернского города очутился под другим, находящимся от первого верст за двести, — загадка! Действительно, не по дебрям же лесным, не по безлюдной пустыне, а по густо населенным местам Украины шел отряд...

Впрочем, не в этом дело. А в том, что Коротичу повезло с Херсоном гораздо больше, чем легендарному Железняку. Отряд матроса-партизана, как известно, не только заблудился, но еще и попал в засаду. Выход, говорит поэт, был только один: пробиться в Херсон. Хотя не совсем ясно, что хорошего могло ждать отряд в городе, занятом белыми. Ну, это мелочь...

«Ребята, — сказал,
Обращаясь к отряду,
Матрос-партизан Железняк, —
Херсон перед нами,
Пробьемся штыками,
И десять гранат — не пустяк!»

Ребята хоть и плохо ориентировались на местности, хоть и прошляпили засаду, но за словом в карман не полезли:

Сказали ребята:
«Пробьемся штыками,
И десять гранат — не пустяк!»

И итог всем известен:

Штыком и гранатой
Пробились ребята...
Остался в степи Железняк...

Вообще-то нехорошо оставлять на поле боя убитого или раненого командира, недопустимо, позорно даже, но — ладно, дело давнее. Однако весьма прискорбно и дальше: матрос Железняк «лежит под курганом, заросшим бурьяном», — какое невнимание к могиле героя! А между тем...

Веселые песни поет Украина,
Счастливая юность цветет...

Напомнить бы ей, юности-то цветущей, что за могилами надо ухаживать.

На этом печальном фоне херсонский эпизод в жизни Виталия Коротича выглядит особенно отрадно. Уж не знаем, ездил ли в

дальний город он сам, или являлось туда какое-то доверенное лицо, или, наконец, вполне достаточно было чьего-то телефонного звонка, но в любом случае, как нам кажется, речь, если обратиться к известным ныне фактам, могла бы вестись примерно так:

— Виталия Коротича в Москве кое-кто не понимает. Признают, что в его журнале печатается немало интересного, но, несмотря на это, самые разные люди то и дело высказываются об «Огоньке» весьма прискорбно. Например, артистка Татьяна Доронина назвала его в «Советской культуре» примером желтой прессы. Так же выразился об «Огоньке» в передаче по телевидению писатель Василий Белов, а первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана товарищ Нишанов в связи с тем, что журнал оскорбил хлопкоробов республики, сказал с трибуны Верховного Совета СССР так: «Огоньку» надо бы гореть ярким пламенем и согревать людей своим теплом, побуждая их к трудовым подвигам во имя перестройки, а не дымить и не отравлять людей ядовитым дымом». Вот так говорят. Ах, как это несправедливо! Ведь Виталий Алексеевич всей душой за перестройку. Поэтому, братья херсонцы, выберите его на конференцию. Ну пожалуйста! Ну что вам стоит!

Многие в городе были очень удивлены всем этим, но... Ладно, избрали. Что же дальше? А дальше вот что: сразу после окончания конференции В. Коротич напечатал на первой странице возглавляемого им журнала свою статью «Общая судьба, общее дело. Заметки делегата» («Огонек» № 28 за 1988 г.). Там с большим воодушевлением он, между прочим, писал: «Сегодня журналистов вслух обвиняют в несдержанности, а писателей раз за разом уговаривают вести себя поспокойнее. Не надо бояться, товарищи!» В устах человека, которого одни называют святым, а другие, кажется, приняли за Железняка, человека, пробившегося во Дворец съездов через Херсон, призыв к безбоязненности звучал, конечно, веско.

А он продолжал: «Не бойтесь, товарищи! Бояться надо было, когда во времена застоя литература трубно пела о победах и книгой века нарекли мемуары Леонида Ильича». Книгой века? Нарекли? Кто? Вот уж это несколько настораживало. В. Коротич делал вид, будто кто-то другой, неизвестный, пел да плясал и одновременно превозносил до небес сочинения Брежнева. Он пронзительно и негодующе оглядывался вокруг, ища этих бесстыдных сладкопевцев. А между тем кое-кто обнаружил, что сам Коротич как раз и был в первых рядах особенно голосистых сладкопевцев.

Докопались до этого не кто-нибудь, а как раз любознательные херсонцы. После избрания Коротича делегатом они решили поближе познакомиться с творчеством своего избранника и во втором номере журнала «Политическое самообразование» за 1982 год напоролись на его статью «Вместе с партией, вместе с народом». О, это нечто!.. Говорят, после ее прочтения восемь херсонцев в приступе застенчивости переехали в Цюрупинск, пять человек — в Каховку, трое — в Николаев, а один, уж особенно чувствительный, мечется и не знает, что делать. Между прочим, подписчик «Огонька».

В замечательной статье этой именно как о «книгах века» шла речь о всех мемуарах товарища Леонида Ильича Брежнева: «Глубоко правдивые, ставшие истинно народными, они продолжают и развивают ленинские традиции высокой партийной литературы». Ленинские! Ишь ведь.

Дальше: «Перед нами встает образ громадной страны рабочих и крестьян... От книги к книге проникновенно раскрывается облик нашей эпохи». Страна! Эпоха!.. Автор статьи не видит границы, где кончается «вся мировая художественная и мемуарная литература» и где начинаются сочинения Л. И. Брежнева. И потому, вероятно, уверенно заявляет, что из его книг «люди планеты полнее узнают правду о родине Октября, о Коммунистической партии, правду о коммунистах. По этим книгам учатся большевистской науке». Многие страницы их рецензент находит столь классически-прекрасными, что восхищенно восклицает: «Хоть сейчас включай в школьное пособие по истории!» И ведь, кажется, послушались — включили.

Столь же проникновенно в статье говорилось о том, что «от книги к книге складывается притягательный образ коммуниста, всегда находящегося на переднем крае борьбы за новую счастливую жизнь», с юных лет стоящего «лицом к огню», то есть притягательный образ самого Леонида Ильича. Да, именно так, ибо «жизнь товарища Л. И. Брежнева — пример революционной страстности, ленинской убежденности». Как видим, имя Леонида Ильича критик то и дело сопрягал с именем Владимира Ильича, будто даже одно и то же отчество у них не случайно.

Леонид Ильич, уверял исследователь,— это «человек, убежденно и честно делающий свое дело», ему «с самого начала и всю жизнь надо было быть среди лучших». И он был! И всю жизнь жил «лишь так, чтобы служить примером во всем». Такой «нравственный максимализм» автор называет «поучительным для каждого из нас», не делая тут исключений даже и для себя.

В статье особо подчеркивается, что для Л. И. Брежнева было в высшей степени характерно «непрерывное стремление к самосовершенствованию, чтобы всегда быть соизмеримым (?!) с надеждами народа». По наблюдениям автора статьи, Леонид Ильич так много преуспел в трудном и благородном деле самосовершенствования, что у него нельзя было обнаружить «никакой позы, ни малейшего выпячивания своих заслуг». Внимание читателя деликатно обращено также на то, что во время приема по случаю своего 75-летия «Леонид Ильич сказал запомнившиеся слова о скромности, о том, что на юбилеях нередко перехватывают с похвалами через край». Это очень тронуло нашего брежневеда. «Важное замечание! — воскликнул он. — Даже на самых торжественных и волнующих праздествах коммунистам не пристало забывать о деле». И снова мысль летит к тому же высочайшему образцу: «Этот завет среди многих других оставил нам Владимир Ильич Ленин — сам скромнейший из скромных». И вот всю-то как есть жизнь этому прекрасному завету и следует, мол, Леонид Ильич. Словом, когда мы прочитали статью «Вместе с партией...», любезно присланную нам из Херсона, то было полное впечатление, что это один святой написал о другом святом.

Между прочим, по слухам, дошедшим до нас оттуда же, один херсонец, именно тот, который никак не мог решить, что же ему теперь делать, позвонил в Москву по телефону В. Коротича и стал кричать в трубку:

— Как у вас повернулся язык говорить еще и о ленинской скромности Брежнева?! Как вы смели!..

Трубка будто бы ответила человеческим голосом:

— Статью, которая вас так взволновала, товарищ Коротич не писал. Что же касается скромности Леонида Ильича, то она действительно имела место, причем очень много места. Мог он объявить себя генералиссимусом? Конечно, мог. А он ограничился маршалом. Разве это не скромность? Мог он навесить себе десять Золотых Звезд? Разумеется. А он удовлетворился пятью. Разве это не застенчивость? Мог он хапнуть пять орденов «Победа»? Никаких сомнений! А он хапнул лишь один-единственный. Разве это не совестливость? Мог провозгласить себя чемпионом страны, допустим, по прыжкам в воду или по синхронному подводному плаванию с зажимом на носу? Что за вопрос! А он, хотя его на это подбивали Щелоков и другие, не провозгласил себя никаким чемпионом. Что же это, как не самая настоящая стыдливость? Да, именно эти качества души, как правильно сказано в статье, которую Виталий Коротич не писал, рождали у Леонида Ильича «постоянное чувство единства с народом», «неотделимости личной судьбы от всенародной доли».

Терпеливо выслушав все это, несчастный херсонец пошел, по слухам, намыливать веревку. Ох уж эта херсонская чувствительность!

А время шло. Весть о брежнефильской статье в «Политическом самообразовании» расплывалась из Херсона кругами по литературному миру, проникла в печать. Мельком о ней упомянула 28 октября 1988 года «Литературная Россия», более обстоятельно — «Журналист» в своем октябрьском номере... В. Коротичу давался хороший шанс — принародно покаяться: грешен, мол, писал, что было, то было. Ведь со страниц «Огонька» так часто раздаются адресованные к другим призывы каяться. С другой стороны, не один же он, а многие при жизни Брежнева нахваливали и его самого, и его награды, и его воспоминания. И никто из них до сих пор не отрицал, что это было.

Допустим, Георгий Марков не отрицает, что вручил Брежневу Ленинскую премию по литературе 31 марта 1980 года в Свердловском зале Кремля в присутствии многочисленной избранной публики. При этом произнес подобающую моменту речь. Не отказывается, например, и поэт Эдуардас Межелайтис, что в тот же памятный день в том же зале он сказал, обращаясь к лауреату: «Разрешите от всей души поздравить Вас с вручением Ленинской премии за Вашу прекрасную трилогию. Звание лауреата Вы заслужили за ленинское отношение к человеку, которое столь ярко проявилось в Вашей прославленной трилогии. Спасибо Вам за эту всем нам так нужную помощь. Спасибо Вам за принципиальную позицию... Разрешите еще раз сердечно поздравить Вас с большим литературным успехом, поблагодарить за заботу о процветании всей нашей великой Родины». Нет, Межелайтис не отказывается. Не отрекается и Расул Гамзатов, что напечатал в «Известиях» восторженную статью, где называл брежневскую «Малую землю» книгой «большой, народной, нужной для каждого рабочего, и для колхозника, и для писателя, ученого, и для военного, словом, для всех людей земли»; где писал еще и о том, что «все советские люди сердечно, от всей души приветствовали награждение Л. И. Брежнева высшим полководческим орденом —

орденом «Победа». Не отнекивается и Василь Быков от своих похвал брежневской трилогии, в частности, от того, что он усмотрел особую глубину и проницательность в таком вот ошеломительном заявлении автора: «История знает немало героических подвигов одиночек, но только в нашей великой стране, только ведомые нашей великой партией советские люди доказали, что они способны на массовый героизм». Нет, Быков не отнекивается. И Анатолий Софронов, и Сергей Баруздин, и режиссеры Б. Львов-Анохин с В. Бейлисовым, поставившие в Малом театре спектакль «Целина», и Тбилисский государственный театр пантомимы, поставивший спектакль «Малая земля»... Этот перечень можно продолжать долго. Что было, то было. Историю нельзя ни улучшить, ни ухудшить. Но Виталию Коротичу ужасно не нравится прилагать эти бесспорные истины к самому себе. Он не желает быть в одной компании с лицами, перечисленными выше, он хочет выглядеть лучше, чем все. Это и понять нетрудно: никого же из них, даже Софронова и Баруздина, никто никогда не называл святыми. И вот вместо чистосердечного мужественного признания В. Коротич спешно печатает в своем журнале письмо-реплику, где все с интересом прочитали: «Очевидно, мы имеем дело с фактом, когда сами воспоминания мог сочинить необязательно тот, чье имя стояло на обложке, а рецензию — необязательно тот, кем ее подписали». Тут удивляло это предположительное «очевидно», ибо сейчас достоверно известно, что воспоминания Брежнев писал не сам, называют и имена тайных авторов, например — талантливого журналиста Анатолия Аграновского, ныне покойного.

О рецензии В. Коротич пишет уже безо всякого «очевидно», наоборот — совершенно категорически: «В политической истерике, разбушевавшейся в пору издания «книг века», в потоке творческих конференций и специальных номеров газет и журналов воспользовались моим именем, что весьма прискорбно». Имя Коротича! Да кто его знал тогда, шесть лет назад, в 1982 году? Своей широкой известностью Виталий Алексеевич целиком обязан креслу главного редактора «Огонька». С другой стороны, ведь было же немало имен куда более весомых и привлекательных, допустим — В. Распутин или Д. Гранин, Ю. Бондарев или В. Солоухин, А. Вознесенский или В. Астафьев... Если редакция «Политического самообразования» действовала в ту пору столь бесцеремонно, то почему же она в обстановке «политической истерии» не воспользовалась каким-нибудь из этих имен, гораздо более выигрышных, чем почти безвестное имя Коротича? Да неужели она предвидела, что со временем его объявят святым?

Читаем дальше: «Я не писал ерунды, опубликованной в уважаемом журнале под моим именем. Тогда же я дал телеграмму в редакцию о невозможности признать статью своей». Итак, я не я, и лошадь не моя. Ах, как интересно!..

А дальше произошло вот что. 2 ноября, в среду, в Гагаринском райкоме партии Москвы проходила встреча партактива района с руководителями некоторых органов печати. Пришел на встречу и В. Коротич.

В ходе оживленной беседы у участников встречи возникло естественное желание, чтобы главный редактор «Огонька», уж раз он здесь, пояснил и хотя бы отчасти конкретизировал свое заявление в последнем номере журнала. Коротич, в сущности, повторил то,

что люди уже читали: я не писал такой ерунды... редакция воспользовалась моим светлым именем... политическая истерика... это сочинение неведомого специалиста и т. д.

Зал безмолвствовал, не зная, видимо, чему, черт возьми, верить. Вот же не бумажка, не газетка, а живой человек, редактор популярного журнала, делегат партконференции, лауреат Государственной премии, стоит, смотрит всем в глаза незамутненным взором и спокойно говорит:

— Я не писал. Произвол. Подделка. Фальсификация. Заметка не моя.

Заместителю главного редактора «Политического образования» В. Бударину ничего не оставалось, как взять слово. Он сказал, что прежде всего непонятно, почему товарищ Коротич упорно называет так ныне заинтересовавшую читателей публикацию 1982 года «заметкой». Это никакая не «заметка», а самая настоящая статья: в журнале такого же формата, как «Новый мир», она занимает пять полос. Далее оратор сообщил, что сохранилась машинописная рукопись статьи «Вместе с партией, вместе с народом». Она была получена из Киева, где тогда жил товарищ Коротич, под статьей стоит его личная подпись. После всего этого — какие сомнения?

Коротич молчал. А из зала кто-то крикнул:

— А телеграмма была?

Да, была, ее тоже нашли: не берестяная же это грамота, посланная в десятом веке. Но она содержала не отказ от авторства, а возмущение по поводу того, что редакция убрала из текста статьи самые дорогие для автора места. Какие именно? Например, сравнение Брежнева с Александром Фадеевым и Павло Тычиной. А также слова о том, что вся семья Брежнева — революционеры. Еще — возвышенное рассуждение о том, что Леонид Ильич всю войну, будучи лишь полковником, проносил в своем ранце маршальский жезл Генерального секретаря...

В. Коротич оставался невозмутим. Но не исключено, что в этот момент он думал: «Ах, зачем я сейчас не в Херсоне, где так меня любят! Ах, зачем!..» Не исключено, что из этой засады в Гагаринском райкоме, в которую он так неожиданно попал, Виталий Алексеевич готов был бы пробиться штыком и гранатой. Но увы, это было невозможно, и он упрямо повторил: нет, не писал. Я не я, и ручка не моя.

Это переполнило чашу терпения В. Бударина, и он сказал примерно так:

— Вы утверждаете, что послали нам телеграмму о невозможности признать статью своею. Но чем же объяснить, что после такого благородного жеста вы признали своим гонорар за статью в сумме 125 рублей 53 копеек, который был выслан вам по адресу: 252001, Киев, улица Заньковецкой, дом 3, квартира 10?

Такого Виталий Алексеевич, кажется, не ожидал. Ну, действительно, святой, а по нему бьют такими грубо материальными аргументами, как презренный гонорар, какие-то там 53 копейки. И он, демонстрируя добрую волю, в одностороннем порядке прекратил дискуссию.

Возможно, кто-то осудит использование аргументов, взятых из гонорарной ведомости. Но что прикажете делать, если человек, во-первых, с высочайшей трибуны обвиняет других в прославлении книг Брежнева, в то время как энергичней многих занимался этим

сам; если, во-вторых, категорически отрицая свою личную вину, он валит ее на коллектив целого журнала, да еще в неимоверно раздутом виде: редакция-де не только напечатала хвалебную ерунду, но при этом самым бесцеремонным образом обошлась с известным писателем, использовав его непорочное имя; если, наконец, то и дело призывая к покаянию других, себе он отводит роль судьи, строгого и беспристрастного.

А между прочим, воспоминания Л. И. Брежнева сами по себе ведь вовсе не заслуживают такого высокомерия и брезгливости, с коими пишут о них сейчас многие экстра-прогрессисты, расхрабрившиеся до посинения. Уж никак не хуже эти воспоминания того, что пишет, допустим, Юрий Черниченко, высмеявший их в «Знамени». Не хуже хотя бы потому, что к ним приложил руку Анатолий Аграновский, журналист, на мой взгляд, более интересный и талантливый, чем нынешние бесстрашные критики.

Дополню это несколькими строками личных воспоминаний.

Вскоре после опубликования «Малой земли» я тоже написал о ней. Семь страниц убористого машинописного текста через полтора интервала были у меня заполнены перечнем разного рода промахов и несообразностей, содержавшихся в книге. Так, я отмечал около тридцати неточностей и ошибок фактического характера, главным образом относящихся к войне, полтора десятка — стилистических, высказывал несколько советов и пожеланий по улучшению книги при ее переиздании.

В частности, по поводу так понравившегося В. Быкову афоризма о том, что были, мол, и в прошлом герои, но это-де герои-одиночки, и только у нас, только под руководством нашей партии в минувшей войне был явлен миру массовый героизм, — по поводу этого афоризма я писал: «Не получается ли при такой формулировке, что мы отказываем в массовом героизме участникам всех предыдущих революций и национально-освободительных войн? Не будет ли это истолковано так, будто мы считаем, что, например, Бородинскую битву выиграли героические одиночки, что на баррикадах Парижской коммуны сражались такие же героические одиночки, что в боях революции 1905 года проливали кровь они же и т. д. Не лучше ли эту фразу переформулировать в том смысле, что ТАКОГО РАЗМАХА массовый героизм раньше никогда не достигал?»

Конечно, такую статью тогда никто не напечатал бы. Но это, собственно, была и не статья, а письмо, адресованное лично Брежневу, которое я и отправил ему 24 апреля 1978 года. Возможно, оно сохранилось в его архиве. Но должен сказать, что, несмотря на обилие критических замечаний и соображений, мне многое нравилось в «Малой земле». И потому мое письмо начиналось так:

«Многоуважаемый Леонид Ильич!

С большим интересом и волнением, как все советские люди, я прочитал Ваши военные воспоминания «Малая земля». Подобно тому, как у Вас в иных ситуациях на фронте при виде героизма и самоотверженности наших солдат и офицеров «комок подступал к горлу», так и мы, читатели, испытываем сейчас то же высокое чувство, знакомясь с Вашими воспоминаниями. Меня лично особенно тронула и взволновала сцена в госпитале, где Вы описываете, как лейтенант, у которого началась гангрена, просит вернуть его

после выздоровления в свою часть. И Вы, понимая, что он обречен, говорите ему слова последнего утешения: обещаете вернуть».

А дальше до конца письма шли уже упомянутые «замечания и пожелания».

Да, так я писал. И, несмотря на все нынешнее изобилие ядовито-презрительных разносов «Малой земли» в духе Ю. Черниченко, я не сожалею о том письме и не отказываюсь от него. Нет, мы не отказчики. Правда, я не должен был писать «как все советские люди». Увы, мне трудно было предположить, что многие затаят свое мнение о книге, законсервируют до времен, когда обнародование его может принести моральные дивиденды.

Никакого ответа на письмо я, конечно, не получил. До адресата оно едва ли дошло, скорей всего застряло в руках каких-нибудь спичрайтеров вроде Федора Бурлацкого...

Однако что же с отказчиком В. Коротичем?

В ходе нынешней отчетно-выборной партвйной кампании, как известно, проходили кустовые собрания, на которых рассматривались возможные кандидатуры на будущих выборах членов райкомов партии. Такие собрания состоялись и в Свердловском районе Москвы. На одно из них в середине ноября собрались коммунисты ряда органов печати, в том числе «Огонька». От каждой организации по два человека. Там сначала было названо 26 кандидатур возможных членов райкома. В их числе оказался и В. Коротич. После обстоятельного обсуждения 10 кандидатур были отклонены. В их числе оказался и В. Коротич. Есть основания полагать, что свою роль при этом сыграла и рассказанная здесь история со статьей «Вместе с партией...». Но это, конечно, итог не окончательный. Как мы знаем, В. Коротич может предпринять и две, и три попытки для достижения благородной цели.

Райком перед нами.
Пробьемся штыками.
И десять гранат — не пустяк!

Или совсем наоборот: тихо-тихо через Елабугу... Или через Одессу?

●



ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

О НАРОДНОЙ МУДРОСТИ И ОДИННАДЦАТОЙ ЗАПОВЕДИ

Уже выводят из себя «размышления» некоторых писателей о патриотизме. Вижу, как нередко идет прямая спекуляция на моих читательских патриотических чувствах. Прикрываясь болью военных потерь, будь то Великая Отечественная война или война в Афганистане, Алесь Адамович, например, увещевает кого-то воспитывать антивоенных патриотов, не объясняя, что же это значит. Но должен же он сознавать, что опасность возникновения войны остается?! Или он призывает сыновей наших отказаться от Присяги Отечеству? Подспудно проводится мысль, будто от рядовых солдат зависит, литься или не литься крови народной.

Всегда было и пока есть такое положение, что солдату отдается Приказ, который ценою крови выполняется. Если бы антивоенные выступления советских писателей достигали ушей гипотетических противников, то тогда уместны были бы их слова об «антивоенном патриотизме», обращенные пока что только к «нашим» воспитателям. Поэтому, как бы ни гуманно были настроены такие писатели-«гума-

нисты», выглядят они, мягко говоря, людьми наивными. Хотя стремления и намерения их могут быть благими, слишком уж рьяно и слишком рано некоторые пытаются агитировать наших парней «воткнуть штыки в землю». А почему бы, например, Адамовичу не заняться параллельно с этим гуманистической пропагандой среди армейского состава западных военных блоков? Или попытаться уговорить наставников душманов перейти на рельсы воспитания по принципу антивоенного патриотизма?

Гражданин любой страны должен быть патриотом, иначе какой же он гражданин? Патриотизм всегда означал осознанную возможность самопожертвования человека ради блага всего народа. Благодаря этому чувству, всегда имевшемуся у наших соотечественников, мы с Алесем Адамовичем можем сейчас рассуждать о судьбах мира и, может быть, решать их в пользу мира для человечества в будущем. Но это совсем не значит, что я своих сыновей должен воспитывать в пацифистском духе. Всем, наверное, теперь понятно, что война народов, если она будет развязана, будет войной всеуничтожения, в том числе и самих себя. Понятно это и моим сыновьям. Но ясно ли Адамовичу, что если даже сыновья всех матерей Советского Союза откажутся брать в руки оружие, то этим они не обеспечат мир?! Я почему-то уверен, что не от них одних, не от нас, всех граждан СССР, зависит, быть или не быть войне. Поэтому со своими сентенциями писателю лучше обращаться не к рядовым гражданам в первую очередь, а в соответствующие инстанции, в которых всего скорее могут снять угрозу войны. Когда ее не станет, то можете быть уверены, Александр Михайлович, что все мы скажем «Прощай, оружие!». Ведь на свете очень мало людей, с радостью надевающих солдатскую амуницию.

Второе. О ребятах, прошедших через «Афган», как они его называют. Без сомнения, все, кто пострадал там, а также семьи погибших имеют право получить и материальную, а главное — моральную компенсацию, ибо компенсировать утрату жизни никакими материальными средствами невозможно. И уж во всяком случае, мы не должны допускать осквернения памяти павших. Пусть их смерть останется на совести тех, кто отдал парням такой приказ. Все эти ребята, вернувшиеся и не вернувшиеся, долг свой исполнили. Прежде всего перед Родиной. Этих ребят называют «интернационалистами», но так ли это па самом деле? Ведь в Афганистане они выполняли требования Конституции своего государства! Приказы они получали от советских командиров. Разве в Афганистане действуют интернациональные соединения, явившиеся туда со всех частей света? Нет, зто — наши сыновья. Наши Саши и Магомеды. Упрекать их не в чем. И правительство, которое возвращает их домой, должно заботиться именно о достоинстве советского солдата. И неуместна здесь бравада: воевал, дескать, и уже поэтому полагаются почести. Едва ли не каждый из ребят мог оказаться в этой ситуации. В армию призывают не за тем, чтобы веники вязать.

Оплачен кровью трагический шаг государственной политики. Я не знаю, был этот шаг верным или неверным. Но пока существуют в мире государства с разной идеологией, у них будут существовать армии. Поэтому уместнее было бы писателям направить свои усилия на изменение политики государств, а не апеллировать к народу, вернее, не пытаться народ «поссорить» со своим правительством, как получается это у Адамовича за кадром фильма «Боль», и не следует игрой слов вуалировать трагическую ошибку политики, как это делает В. Дашкевич в статье «Осторожно! Заплачено кровью...» («Красная звезда» от 21.10.1988 г.). Один, с моей точки зрения, старается разбудить совесть народа (как будто правительствам совесть вообще чужда), у другого почти все наоборот. Но я бы добавил, что лучшие писатели сами были всегда совестью народов и государств, совестью, с которой считались правительства!

Но поневоле подумаешь, своя или чужая кровь в писательских чернильницах, если у них разное с народом понимание патриотизма. Теперь кое-кто так напуган словом п а т р и о т, что любое выражение чувств любви к Родине воспринимается чуть ли не как угроза перестройке, хотя каждому ясно, что без патриотизма перестройка невозможна.

Воины, опаленные Афганистаном, встречаются сейчас везде, не так их мало оказалось в «ограниченном контингенте». В основном это прекрасные труженики, скромные и добросовестные. Чуткость к ним необходима, но нельзя же требовать от каждого обывателя, чтобы он стал чуток, насаждать любовь по образцу.

Очень уж «оригинально» рассматривает проблему патриотического долга Вячеслав Басков в газете «Советская культура» за 20 октября 1988 года, рисуя ужасающую картину «гибели одаренных», осуществляемую на призывных пунктах военкоматов. «Скрипач вернется, ты только жди...» — такая вот саркастическая интонация слышится в статье. Конечно, одаренный человек, будь он кем угодно — музыкант ли, художник, — принесет стране пользу как патриот не меньшую, чем «отличник боевой и политической подготовки», если и не будет носить два года кирзовые сапоги. Но мне, например, кажется, что Министерство обороны вряд ли имеет такое уж непреодолимое желание обмундировать юного Паганини и заставлять его непременно вместо скрипки упражняться с автоматом Калашникова.

Дело тут, вероятно, в бюрократизме, но не одностороннем, как читается в статье, только по линии Министерства обороны. Бюрократ из этого министерства думает так: дай только «слабину» — отсрочку для поступления высокоодаренных юношей в высшие заведения, — так бюрократы из других ведомств представят такие списки «высокоодаренных», что служить в армии вообще будет некому! И можно не сомневаться: предоставят! И музыкальные, и художественные школы, а за ними другие творческие спецзаведения — у нас их много, в том числе всевозможные спортивные. Таким образом, в армию будут призываться, мягко говоря, только ничем не одаренные юноши. Ведь в конечном итоге даже те, что идут в «кулинарные техникумы», тоже являются одаренными. Не говоря уж о парикмахерах — эти вообще художники!

Рациональный, разумный подход, если говорить серьезно, требует учитывать профессию допризывника. Но тон статьи Баскова говорит о том, что Чайковских у нас просто-таки замучили сержанты, выколачивая из «студентов-музыкантов», «студентов-артистов», «студентов-певцов» весь дар божий, когда последние попадают в руки первых. Разрешите этому не поверить. И не оттого слышатся факты «печальных повествований о нынешнем унылом состоянии нашей музыкальной культуры», что высоко-

одаренным отказано в отсрочке призыва на армейскую службу. Унылое состояние музкультуры не зависит от армейской мускулатуры. Так не грешно и весь застой в литературе, и во всех видах искусства «объяснить» одной статьей Конституции, по которой восемнадцатилетних призывают на воинскую службу. Можно ведь объяснить! И доказать можно. Это нетрудно.

Надо менять Конституцию? Но тогда надо сразу менять и весь мир. Чтобы не было армий и чтобы скрипачи не скрипели кирзовыми сапогами по сержантской команде: «Раз! Два! Левой!..» Чтобы ребята наши никогда не погибали в каком-нибудь «ограниченном контингенте». Поэтому готов и хочу согласиться с Адамовичем, что в Афганистане была «принципиально последняя» интернациональная война. Однако и соглашаясь с этим, почему-то думаю, что до начала ее в 1979 году так остро не стоял у нас вопрос об отсрочке высокоодаренных юношей. Может, просто я не знаю, сколько гениев задушено в казарменной дисциплине срочной службы? Поэтому кажется, что раньше призывы в армию протекали как-то естественно и менее болезненно. Можно ли объяснить это «рабским сознанием», темнотой, в которую мы были погружены в период «сталинизма» и раннего «постсталинизма»? Или думать так меня подталкивают «прорабы» музкультуры и перестройки?

Тогда что же делать с патриотами, если я сам себя считаю таковым, хотя и понимаю, что война — гибель для всего человечества? Несомненно, что «военно-патриотическое» воспитание сейчас должно вестись на совершенно ином уровне сознания. Иногда воспитатели используют устаревшие образцы. И терминология отстает. Будучи солдатом, я испытывал неловкость при необходимости отвечать на вопрос: «За что я должен любить свою Родину?» Был такой вопрос в подготовке по курсу «молодого бойца». Надо было говорить какие-то слова, поясняющие «за что», а я ее любил и люблю ни за что! Просто так, потому что это Родина — Советский Союз. И другой у меня нет. Поскольку я был солдатом, призванным после окончания первого курса института, то соображал, что те слова, которые надобно было произносить на занятиях политподготовки, не отражали сущности моей любви. И кажется мне, что истинные патриоты при ответе на этот вопрос всегда испытывали неловкость.

Я совсем не отрицаю того, что иногда и пацифизм может быть настоящим патриотизмом. Но можно ли утверждать, что уже наступило время перемены «полярности чувств»?

Пусть я был обманут, но при трехлетней службе в армии меня всегда не покидала мысль: служу затем, чтобы войны не было. Судя по предпринятым мерам о договоренности государств в начальном разоружении, мне кажется, что та моя солдатская мысль находит подтверждение. Это, конечно, не моя заслуга. Но патриотизм, любовь к Родине рано сдавать в Музей Вооруженных Сил.

И вот еще что. Истинные Герои прошедших войн заслужили почести, которые им надо оказывать. Надо... Но и ветеранам надо не забывать, что и их награды, их право на жизнь оплачены в большой степени кровью погибших. Я уступлю место в транспорте и в очереди человеку с орденскими планками на груди, даже не вглядываясь в них, для определения «ценности» наградных символов. У меня нет неприязни к людям с наградными планками, но почему я своим спасителем должен считать не своего погибшего отца, а дядю Симонова, написавшего «Живые и мертвые»?

Когда я слышал голоса старших в адрес молодых людей, изрекавшие: «Мы за вас жизнь отдавали и кровь проливали!» — мне до сих пор неловко от этого. Право, ответ у меня был. За меня мой отец пролил и отдал.

Противореча друг другу и самим себе, некоторые писатели заняты странным делом: рекламой собственных убеждений. А убеждения эти тоже довольно странные, как я уже сказал, непонятные, как, например, антивоенно-патриотическое воспитание у одних, а у других: «Если бы наши парни были лучше подготовлены...» Как их если не физически, то морально лучше подготовить, если мало-мальски одаренные чем-то парни не хотят служить в армии? Отсрочкой от призыва?.. До Афганистана еще так-сяк, но когда начали гробы летать, то ведь и подумал кое-кто, и вслух сказал: дурак я, что ли, на тот свет торопиться? Но ведь кроме «дураков» есть парни — и слава богу, что их много! — которые все же предпочтут оказаться дураками, да с чистой совестью, которые, как хорошо их ни готовь, все равно могут вытянуть черный билет.

Кому верить?.. Авторы «Советской культуры» сетуют на то, что Министерство обороны не способствует развитию музыкальной культуры... Адамович упрекает своих собратьев по перу в излишней тяге к теме военно-патриотического воспитания. А Дашкевич, как армейский инспектор, резюмирует, что мало всякого воспитания в армии.

Нет, не верю я всему этому. Музыкальная культура страдает от засилья масскультуры — это ее внутренний нарыв, никакая скрипка не перекричит самый захудалый рок-ансамбль или группешку. Военных писателей, правда, много, только кого они воспитывают, если их скучно читать, когда магнитофон и телевизор под боком: кнопку нажал, и никакого усилия. Мало патриотов? Мало. Скажи: я — патриот, в шовинисты угодишь. «Огонек» таким огоньком прижжет, что только держись! Но истинных патриотов, как и высокоодаренных музыкантов, мало. Человек в некоторых органах печати как-то уж очень легко поставлен в точку презрения к самому себе. Можно высказать свое мнение. Но зачем? Чтобы тебя тут же обругали. Умно, тонко, «эзоповским языком», выучились которому за годы застоя. Откровенно уже мало кто и высказывается.

Знаю двух писателей, которые кричат от боли народной. Это Василий Белов и Валентин Распутин. А очень многие размазывают эту боль на страницах своих повестей и романов. Размазывают с непонятным удовольствием показа «мерзостей нашей жизни». Битов, Гранин, Рыбаков, Адамович — наиболее известные и рекламируемые писатели из этой группы. Не сейчас, не сию минуту они стали писателями, а давно, значит, присутствовали при создании «мерзостей жизни», критикой которых усиленно теперь занимаются, с удовольствием размывают теперь грязь.

От имени своего погибшего отца я бросаю им слово упрека за их духовную нечистоплотность. Я не научился «эзоповскому языку» в построении фраз, основывающихся на софизмах, поэтому говорю прямо и откровенно, что и в «Последней пастора-

ли», в «Пушкинском доме», в «Детях Арбата», в «Зубре» звучит неприкрытый снобизм, цинизм, с которым писатели прикасаются к «болевым точкам». Не сострадание к бедам народным, а злорадство звучит в них. Нет нужды останавливаться на деталях, изобразительных средствах этих произведений. Их надо читать и слышать гнетущий акцент безысходности, чтобы уловить, в какую сторону они стремятся повернуть ветер свободы и перестройки — в тупик.

Высокое слово народ становится едва ли не целью презрения «писателей-подстройщиков» под перестройку. А отсюда и озлобленные, поистине кликушеские вопли в адрес российских патриотов, кампания с атуканьем Нины Андреевой вместо нормального разговора с ней, а ведь статью ее мало кто и читал, потому что под шумок «силы быстрого реагирования» изъяли газету из подшивок многих библиотек. Отсюда и облыжное обвинение журналов «Наш современник», «Москва» и «Молодая гвардия» в «консерватизме мышления». Хотя, если честно попытаться дать ответ, то Рыбаков, например, мог бы признаться, что его мышление с перестройкой совсем не изменилось: в «Детях Арбата» оно осталось тем же, что было в «Тяжелом песке».

После слащавой догматики социализма в иных произведениях, после прекрасной лжи напудренного социалистического «реализма» в литературе и искусстве мы наконец почти обрели право высказывать свое личное мнение. Почти. Формально право такое есть — но всегда ли оно осуществимо? В лучшем случае «Огонек» может опубликовать на своих страницах письмо какого-нибудь «сталиниста-антиперестройщика» для потехи, сохранив орфографию этого письма, где слово «гласность» дважды написано с двумя «т» после обеих «с». Те, кто в «застое» имел голос, имеют его и теперь, они «перестроились», а кто не имел, тот и не имеет. Кто благословлял и проповедовал застой в культуре, тот нередко теперь управляет перестройкой культуры. И в то же время криком кричат, что сталинские репрессии извели под корень русскую интеллигенцию. Откуда же ей взяться сегодня, когда параллельно с этими криками там и здесь с нажимом идет разговор об элитарности каждого общества как вакоине его культурного развития. Так и создается общественное обеспечение для признания «элиты»: сын слесаря — слесарь, сын кесаря — будущий кесарь, несмотря на то, что сей кесарь в застойные времена выкесарился. Что ожидает в будущем такое общество? Да полнейшая деградация! Потому и названные мною романы (их больше, но эти у всех на устах) отвечают «духу перестройки» лишь определенного общества, готового разбить страну на рабов и элиту. Может быть, это и резко, но говорю, что думаю, время такое, что некогда выбирать изысканные выражения. Душа болит. Не хочу, чтобы наше общество, если с ним не случится катастрофы прежде, дошло до такого состояния, когда Ксанф будет повелителем, Эзоп — бесправным рабом. Мы уже почти дошли, если вспомнить недавнее титулование Брежнева чином писателя, званием лауреата и прочая, и прочая, и прочая... При сегодняшнем состоянии гласности, когда блиндажи некоторых редакций не пробить словом от сердца, деградация интеллигенции не так уж и невозможна.

Нам предоставлено сегодня читать «замороженные» раньше произведения Пастернака, Платонова, Набокова и других писателей. Но «мороженая» духовная продукция мало чем отличается от мороженых продуктов. Как ни посыпай эту пищу «перцем» и «укропом» рассказиков «Свой круг» Л. Петрушевской и «Равновесие света дневных и ночных звезд» В. Нарбиковой, опубликованных в недавнее время в «Юности» и «Новом мире», духовного здоровья общества этим не повысить. Словно бы и впрямь состояние интеллекта имеет такой низкий уровень, что только о постельной «лирике» каждый человек лишь и помышляет.

Не верю я этому и делаю предположение, что настоящим произведениям — с мыслью народною! — вновь нет хода дальше писательского и редакторского стола. Или литература так вдруг сразу и обмелела? Может, опять виноваты «сталинисты» во главе с Ниной Андреевой?! Только кто же кого теперь «не пущает»? Почему в открытой полемике в печати не разгромить «Память», если она так плоха? Зачем в течение трех лет критиковать только ее «шовинистические выкрики»? Да при этом еще издевательски одергивать всякого, кто только заикнется о том, что пора бы дать слово и противной стороне. Такое положение с гласностью попахивает русофобией. Это становится уже смешно: патриотизм — плохо, мол, а русская русофобия — хорошо. Миф о головорезах из «Памяти», «экстремистах-шовинистах» играет на пользу именно русофобам. Силу русского патриотизма знают фашисты. Для них он был ужасен и остается таким. Значит, миф о «Памяти» идет на пользу фашистам, воспитывая ненависть ко всякому патриоту, а к русскому — в особенности.

Кого же пугает русский патриотизм? Он пугал Чингисхана, Наполеона, Гитлера. И что, изменился этот патриотизм теперь? Стал опасен для свободных, мирных народов? Может быть, Адамович его боится? Так он должен знать, что патриотизм русского народа как две капли воды похож на патриотизм белорусского, украинского и всех советских народов. Это доказано историей. И наши парни, побывавшие в Афганистане, наверное, могут сказать, что шли они туда с мыслью освободить, но не покорить, не поработить. О чем мыслили политики — не могу знать. Но о чем думает русский солдат, имею представление — оно во мне сидит генетически. История России хоть и фальсифицирована, но не настолько, чтобы в корне изменить представление о русском патриотизме, о своем патриотизме, как я его понимаю и как чувствую.

Образ врага, конечно, изменился в свете технических разработок средств ведения войны. Человек поставлен в точку абсурда: он сам себе становится врагом, уничтожив другого — уничтожит и сам себя. Даже рядовой солдат это уже должен понимать и, наверное, понимает. И не без чернобыльской аварии к нам пришло это понимание.

Защита экологии — природной, духовной, исторической — вот суть патриотизма нашего времени.

Народ — природа, по-моему, у этих слов один корень: родиться и жить, чтобы жили другие, продолжались. Патриотизм неотделим от ландшафта природного. За что я и люблю русскую поэзию Некрасова, Тютчева, Есенина, Рубцова. Можно сколько угодно высмеивать и издеваться над примитивностью попыток создать и воссоздать образ «русской березки», но с исчезновением этой

березки исчезнет русский человек на земле. Настоящему русскому патриоту много не надо в личной жизни, поэтому некоторым из нас так импонировал аскетизм «вождя всех времен и народов». Разумеется, такой взгляд на Сталина как на аскета — чистое заблуждение, воспитанное долголетними песнями «о Сталине мудром, родном и любимом», сочинявшимися и исполнявшимися высокоодаренными выпускниками музыкальных школ.

Но вот, говоря о боли народной, причиненной стране коллективизацией, Василий Белов накликал на свою голову поток своеобразных сталинских защитников! Тут уже не Нина Андреева выступает, а добровольные адвокаты Троцкого, Яковлева (нарком земледелия в эпоху коллективизации).

История, прошлое и настоящее, патриотизм и интернационализм, все это — разговор об одном и том же. Разговор о будущем: быть ему или не быть? И если быть (за что большинство человечества), то — какому?

Писатель Белов вызывает неприязнь у определенного круга лиц не потому, что он в неприглядных характеристиках высвечивает некоего наркомзема Яковлева или Лейбу Давидовича Троцкого (Бронштейна). В конце концов, кто-то может и у Ленина ошибки найти, известно ведь, что сам Владимир Ильич не отрицал своих ошибок, но он умел их исправлять. Дело не в этом, это такие мелочи, что и у Троцкого можно найти ряд положительных качеств — если бы их не было, то его сотрудничество с Лениным необъяснимо. Это — мелочи сегодня, но важные, конечно, вещи для историков, философов, экономистов.

Белов, как и Распутин, сейчас говорит о главном, о том главном, что позволит совершить перестройку. О том, чтобы мужика — крестьянина, русского, белорусского, украинца и так далее — всех не перечислить! — «закрестьянить», посадить его на землю, сделать его хозяином земли. И тогда его оттуда никакой водородной бомбой не выкуришь. Не хлебом единым жив человек. Верно. Но это верно лишь при условии, если хлеб будет, а без хлеба ни о каком духе говорить нельзя, ибо дух этот просто покинет тело. Кому-то страшно становится оттого, что, укрепившись на земле, м у ж и к начнет диктовать законы жизни, им хотелось бы продолжать помыкать мужиком, сохранить командно-административную систему. Поэтому выступающие сегодня против идей «мужицких» писателей Белова и Распутина являются сторонниками бюрократизма и всей командно-административной системы. Они не против того, чтобы ее подновить в смысле свободы слова или собственного сквернословия, называемого порой плюрализмом. Собраться с друзьями, говорить о Шагале, месить в голове гениальное тесто: «Так вы полагаете?» — «Да, полагаю». — «И я полагаю». А что — неизвестно. Свой круг. Элита. И люди эти на словах большие интернационалисты. Такие большие и щедрые, что снова готовы с крестьян содрать последнюю шкуру на саквояж для очередной заграничной поездки.

Русский патриотизм сращен с интернационализмом, наверное, с тех пор, когда Олеговы щиты прибили к «вратам Царьграда», если не раньше. Щиты прибили! — символ защиты. Подумать только. И недавнее прошлое, чему сам был свидетель, — голод 1947 года. Пухли колхозники. Недавно документальный фильм посмотрел: в этом голодном году пшеницу отгружали, чтобы вез-

ти то ли в Турцию, то ли еще куда-то. И что же? После того как я увидел эти документальные кадры, слегка проясняющие причины голода моего детства, мой патриотический дух ослаб? Нет. Его ничем не убить, этот русский дух. Только физическим уничтожением всего народа. Говорят, что мало в этом народе скрипачей, много пьяниц. Есть грех. В великом народе и пьянство бывает великим, если весь этот народ лишить великой любви к земле, к природе. Спиваются люди, оторванные от корней, брошенные в бараки пятилеток. От тоски спиваются. С горя пьют. Горе-то откуда? — скажут. От патриотизма, замененного интернационализмом.

Но почему, спрашивается, русский мужик всегда был опасен ярым сторонникам мировой революции, по многим вопросам опасен? Он мог превратиться в советского хозяина жизни, и зазвучали бы в его дворах и скрипочки, и пианино, и речь иностранная. И от земли, от природы появилась бы корневая советская интеллигенция. Вот и пустили байку: мужик темен, забит, неграмотен. Ни на что путное в культуре, дескать, не способен. И — под корень его. А вот «кулацкий сын» Сергей Есенин — яркий образец забитости русского мужика — играючи затыкает за пояс окончивших университеты Луначарских-драматургов. Играючи, запоями: «Друг мой, друг мой! Я очень и очень болен. Сам не знаю, откуда взялась эта боль...» Знал Есенин, откуда у него боль и отчего не проходит. Слишком много знал этот сын России, чтобы можно ему было позволить играть на тальянке. Он не вписывался в «систему» Троцкого.

Поэты на Руси не переведутся. Скрипачей действительно мало. Может быть, их и в самом деле уже сейчас не стоило бы призывать в армию. Пианистов тоже. А то ведь останется только рок-музыка в записях и переписях с кассеты на кассету. Тут Министерство обороны (кто же сомневается, что оно патриотически настроено) должно бы как-то урегулировать вопрос с высокоодаренными юношами: лучше уж недобрать сотню солдат, чем лишиться сотни хороших музыкантов. Народ, имею в виду в первую очередь русских мужиков, не ходок по филармониям, но это не играет роли — культура проникает в душу не только прямым путем, а, напротив, путями неизведанными. Иначе все завсегдатаи симфонических концертов были бы идеальными людьми, и мы бы с ними никакого горя не знали.

Признаться, я не видел евреев, спаивающих русских, как сообщается об этом в «Огоньке» № 40 за 1988 год, на странице 5, в письме Ю. В. Гурфинкеля и Т. В. Тимофеевой. Ей-богу, не видел и склонен считать, что подобные сообщения — вымысел. Но в условиях отчуждения людей от земли, когда эти люди вынуждены покидать деревни, мигрировать в города и рабочие поселки, где условия жизни тоже не блещут комфортом, что делать деревенскому парню? Музыку изучать? А в городе теперь даже балалайки нет. Только одно и остается: деньжат накопить, магнитофон купить и... поехали!

К сожалению, никто не хочет разобраться, но многие говорят о мужицком хамстве, о пьянстве как о всеобщем явлении. Неужели все оттого, что мужик «дурак» и «хам» от рождения? Не такими ли убеждениями продиктована статья Е. Евтушенко «Прятерпелость»? Поэт увидел «губительную силу» в строгости

«антиалкогольного указа». Но я вот дописался, что можно сделать вывод о том, что мужик наш и пьет горькую не иначе как «с патриотизму» своего. А что! Можно и такое допустить: видя, как гибнет его деревня или природа, и не имея возможности спасти, можно и в запой удариться.

А как быть с душой, с совестью, товарищи дорогие? Раньше до отупения назидалась назойливая фраза заклинания народа: «Сталин — наш вождь и учитель... создатель... организатор... отец... руководитель...» Так сегодня с той же экспрессией повторяются слова проклятия «вождю», «учителю», «создателю», «организатору», «отцу», «руководителю». Что это?! Да то. Одни и те же люди пели хвалы, теперь те же самые люди кричат проклятия. Так они приносят «покаяния».

В истории ничто не проходит даром — и палачи получают заслуженное возмездие. Для всего приходит свое время, просыпается п а м я т ь человеческая и воздает каждому по заслугам.

Барабанные перепонки подрастающего поколения сокрушительными децибелами обрабатывает рок. Группа ученых-психологов на страницах «Литературной газеты» пытается выяснить причины появления «казанского феномена» в среде молодежи: откуда он? Оттуда. От пономарей, певших хвалу, а теперь с тем же рвением и без зазрения совести посылающих хулу всему и вся.

Некоторые смеются даже над Гоголем. Дескать. «Русь-тройка»! И кто это выдумал! Потешаются. А это тот выдумал, после кого выдумать «наш паровоз, вперед лети» большого ума не требовалось. Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой, Достоевский такое навыдумывали, такое написали, что вот уже почти сто лет ничего больше не написано подобного, а мы еще живы! Не все же из нас — претенденты в ЛТП. Не все.

Более полувека народы нашей страны прожили в братстве «рабства» — если верить терминологии некоторых органов печати. Неужели теперь мы не сможем прожить в братстве свободы, которая чуть забрезжила? Молодежь бунтует. Массовые дебоши прокатились волной по городам и весям. Молодежь всегда бунтовала, на то она и молодежь. Но сегодняшние бунты не похожи на прошлые — это уже не стихия, а организованная толпа. Кем она организована, для чего? Стихия пошумит и стихнет. Организация существует продолжительное время. Но любая организация есть рабство. Неужели людей, тем более молодых людей, тянет в рабство любых организаций?! Этого я не понимаю. Комсомол — скучно. Понимаю. Сам был в комсомольской скуке. Неформалы сейчас появились. Только название бесформенное, но это ведь тоже о р г а н и з а ц и и! Но не скучно: ведь бои гладиаторские. Видимость свободы неформалов создается свободой от собственной совести и чести. Совсем недавно сюсюкающие корреспонденты носились с неформальными объединениями — интервьюировали. Теперь хоть прекратят, наверное, поняв, во что вылился этот «неформализм» — в форменные безобразия и просто драки.

Мальчишкам-де надо драться, говорят иные педагоги, чтобы мальчишки-де вырастали настоящими мужчинами, способными постоять за себя. Был мальчишкой, и знаю, что иногда только драка может принести удовлетворение при ущемлении чести мальчишки. Но дерущаяся толпа? Простите! В такой драке не честь защищается, а попирается всякая честь. В любом случае: двор на двор, улица на улицу, квартал на квартал. Бесчестие это. Трусливое бесчестье — групповые драки. И организуются такие драки самыми подлыми и трусливыми особями.

Мне, не обремененному социологическими знаниями, думается, что и феномен-то этот, названный в литературе «казанским», никакой не феномен, а мягкая подножка общему курсу перестройки. А также все национальные вспышки. Кому-то нужен Сталин, на худой конец, Брежнев новый. Молодежь этого пока не понимает, не видит. Старики вроде меня ни бастовать, ни драться не станут. Главная карта — молодежь, ей жить не при коммунизме, но хоть при социализме, который желательно перестроить, чтобы он был похож на социализм не только по показателям на душу населения, но чтобы еще и душой воспринимался. А учителя в пригреформенной школе твердят: молодежи нужен рок, нужен досуг, нужны неформальные объединения. Не скажут, что молодежи нужны хорошие учителя, которые способны дать ей нормальные знания. Пожимаешь плечами. Они учителя, им виднее.

Иные думают найти способы повиновения молодежи. А нет таких способов. Не найдешь! Дети не повинуются силе, дети не знают, что на свете есть рабство. Подростков очень легко можно обмануть и увлечь. Но покорятся они, как ни банально это звучит, только родителям, и то, если родители не лишены будут любви к своим детям. Да мне в шестнадцать лет все нипочем было. Только мать была той силой, перед которой я был покорен. Другой силы не знаю.

Говорят, упиваясь словами, что нужно-де «выработать механизм перестройки», не задумываясь над словами: ме-ха-низм! На ум снова приходят винтики, колесики, рычаги. И некоторые люди верят, что такой «механизм» будет создан: кнопку нажал — и завертится все, как в кино. И самое печальное, литераторы говорят о «механизме перестройки». Уже так мозги закостенели у таких «инженеров человеческих душ», что за неимением японского компьютера готовы «фомкой» души перестраивать, этакой кооперативной «фомочкой». Был м е х а н и з м — бюрократия во всем. Заклинило его. Комсомол разве не механизм? Еще какой! Экскаватор. Надо котлован вырыть — в трубы задули, лозунги повесили, и — пошел рыть. Хоть Магнитку, хоть БАМ. Только щепки летят. Правда ведь, здорово работали! С огоньком, с энтузиазмом. Секретарь ЦК комсомола серебряные костыли в шпалу сам забивал. Хорошо работали, и выполняли и перевыполняли. Какие песни Пахмутова с Добронравовым писали! Какие песни... А на кого работали, непонятно теперь. Может, не надо было работать-то? Но как же не надо? Жить-то надо. Хорошо работали, а живем плохо. А теперь говорят: плохо работали, не так, не тот социализм строили... Да ведь это уже упадническая какая-то философия. Кому она нужна, зачем?

Дело перестройки, укрепления государства начинать надо с укрепления семьи. Так или иначе, экономика семьи связана с экономикой государства. Но в воздухе носятся «идейки» насчет крушения семьи, она, дескать, устарела и не отвечает уровню технического развития. Но это все от лукавого.

Не буду заглядывать в далекое будущее, а позволю себе взглянуть на соседей по лестничной площадке. Где, у кого из них дела обстоят более или менее благополучно? Первое — в устойчивых семьях. Экономика развалившихся семей в столь же пла-

чевном состояния, в каком их моральное состояние. Это всем видно. Всем, и доказательств не надо, — выйди и глянь. Я не говорю о высокопоставленных номенклатурных бюрократах, в семействах которых присутствует экономическое благополучие, но очень часто там действуют только материальные интересы. Нельзи сказать, что в этой среде только снобы или преступники рашидовского типа. Многие из них давно поняли, что интересы «лучше», чем идеалы, и за счет «идеалистов» удовлетворяют свои интересы. Но прежде чем их удовлетворить, им надо было отрешиться от идеалов, если таковые у них были.

Если, как проповедует Нуйкин, удовлетворить свои интересы только за счет собственного труда, то... это же будет идеальное общество! Опять двадцать пять! Как его создать? — вот в чем вопрос. С либеральной логикой не ограниченного ничем самоудовлетворения мы никогда не выберемся из этого «заколдованного круга». Интересы человека растут и растут. Предела им нет — завтра у меня возникнет потребность еще в чем-то, о чем я сегодня не помышляю. Я человек разумный и свободный (так о себе думает каждый!). и ничто меня не остановит на пути удовлетворения своих интересов. Ничто! И никто! Кроме... кроме себя самого. Тот случай, когда «милиция останавливает», рассматривать не собираюсь — в целом для общества такое «мероприятие» требует тоже значительного расходования средств. Значит, только я могу сам себя остановить и ограничить разумно мои прогрессирующие потребности. Но это же — идеализм чистой воды. А мы еще хотим прожить на матушке-земле энное количество времени до всеобщего кризиса. Экономический наступит вслед за моральным или кризисом идеалов. И если сейчас никто не говорит, что «будущее светло и прекрасно», то это еще не значит, что мы не знаем, что делать. Надо укреплять в человеке нравственное духовное начало.

Сейчас идет ломка сознания. Писатель Адамович, ссылаясь на слова А. Эйнштейна, вводит «поправку» к Библии. Она касается заповедей. Вполне серьезно, без тени сомнения, Адамович доводит до сведения человечества «одиннадцатую заповедь». По словам Эйнштейна (это же какой авторитет в Священном писании!), после всем известных «не убий», «не укради» в Библии была (или должна быть?) еще одна заповедь — «не бойся», которая, как может сообразить любой здравомыслящий человек, перечеркивает все десять предыдущих! Не бойся убивать, не бойся воровать и так далее.

Неужели носители одиннадцатой заповеди называют себя интеллигентами? Если так, то это большая трагедия. Если так, то опасения за ход перестройки небезосновательны.

Вспомним о «хрущевской оттепели». Это была оттепель для инакомыслия. Однако нельзя забывать, что параллельно с оттепелью на полях аграриев пронесся суховей дополнительного отчуждения народа от земли: «...плюс химизация и интенсификация сельского хозяйства». Можно ли академиков ВАСХНИЛ считать после этого интеллигентами? Или они все глядели в рот Хрущеву, который в принципе и не обязан был предвидеть последствия своего «раскулачивания» колхозников и гигантирования колхозов вообще. Это должны были предвидеть ученые-аграрии, интеллигенты. Что произошло с землей под гром армагеддона, названного поднятием целины? — Поднятая, она улетела. Что происходит с людь-

ми на этих полях армагеддона — духовное опустошение, трагедия. Целина — это поистине битва человека с землей, беспощадная и жестокая. Человек вышел победителем — земля уничтожена. «Не бойся!» — говорит писатель Адамович. Надо бояться людей с таким «вероисповеданием». Они ни перед чем не остановятся, их только СПИД напугал. Три пугала в нашей прессе на данный момент: СПИД, «Память» и Нина Андреева. И названия у них соответствующие — «чума XX века», «черная сотня» и «главный враг перестройки».

Смею утверждать, что народ ни того, ни другого, ни третьего не боится, а побаивается, если пандемия захватит и нашу страну, то прямым виновником этого будет ничего «не боящийся» интеллигент. Но дело в том, что народ и Сталина не боится. Эка невидаль. Кто только не правил страной. Рюрика позвали, Джугашвили сам напросился. Даже были цари-самозванцы. Убивал или не убивал Годунов царевича, неизвестно, но у Сталина и его окружения «мальчики кровавые в глазах» запечатлены. Но «мальчики кровавые» не прощаются никому. Федор Михайлович говорил, что даже «две поганых старушенции» отмщаются, а тут дети невинные... Мрачна история наша, потому ее покрывают то мраком, то лаком. Но эти деяния тоже не прощаются. Ноосфера хранит информацию, в определенные моменты истории она прорывается сквозь мрак и лак. Сталинскую борьбу с «космополитизмом» можно объяснить ведь очень просто: к старости поплыли у него в глазах «мальчики кровавые», когда даже своих первых соратников и помощников Молотова с Кагановичем он «отдалил» от себя и от дел.

Если мы хотим вернуться к основам и идеям Великой Революции, то это не значит вернуться к основам хозяйствования — техпрогресс за времена ошибок шагнул далеко. Мы должны вернуться к человеческим основам, которые были порушены. Взглянуть на младенца и думать, что за человек должен вырасти. Надо вернуться к семье. Сегодня о деревенском жилищном комплексе говорят меньше, чем о семейных подрядах. Но если у этого «подряда» не будет добротной семейной усадьбы, то вырастут лишь мозоли и горбы, которые носить людям в конце концов надоест. Сбегут они от поденщины с зари до зари. Обозреватели сельской жизни, захлебываясь, называют цифры, которыми оперируют «подрядчики», — столько-то бычков, столько-то гектаров. Всем кажется, что чем больше, тем лучше. Оно и неплохо на первый взгляд, да неумно. Фермеру в первую очередь нужны дом рядом с угодьями или фермой, автомобиль и трактор легкий. Тогда у него и бычки появятся, и бахчи, и навоз для удобрений, и в городах изобилие продуктов. Но самое главное — у фермера будет семья, потомство, и вряд ли он побежит в город, чтобы пятнадцать-двадцать лет (до седых волос!) ждать квартиру «на подселение» и мыкать душу по баракам. Продовольственная программа будет решена в первом поколении. А во втором они будут иметь свои банковские счета, и если там появятся миллионеры, то Русь наконец покончит с «бездорожьем и разгильдяйством».

Дом, автомобиль, агротехнические средства — три кита, на которых мужик может вытянуть заблудившуюся Россию в открытый океан мирового рынка. До сих пор мы торговали природными ресурсами и приторговывали русской культурой. Это плохо. И интеллигент, если это настоящий интеллигент, и мужик-крестья-

нин, и рабочий — все, кто болел душой за отечество, должны понимать это.

Экономический развал поставил всех на одну доску, в равные условия жизни. У меня нет накоплений, оттого не могу наладить свой быт, как бы мне того хотелось, у капитанов мафии кубометры советских денег, а намного ли они живут лучше меня? Ненамного. Я хоть не дрожу за свое материальное состояние, которое у них в один прекрасный момент может исчезнуть. Гдлян, говорят, все еще копает, находя молочные бидоны с золотыми украшениями. Им, конечно, хочется, чтобы Гдлян не копал. И они сейчас много средств будут расходовать (а средства эти у них есть!), чтобы «гражданскую борьбу» превратить в войну. Они будут субсидировать любые выступления с кровью. Они будут разжигать недовольство в любых точках, в Карабахе ли или на Пушкинской площади.

И вот если сегодня советский интеллигент «осмелится» писать Бог с большой буквы, то надо знать этому интеллигенту, что Бог всегда был на стороне народа, на стороне униженных и оскорбленных. Это касается всех — истцов, бывших прокуроров и ответчиков — писателей. Что значит Шеховцов вступился за свою честь? Мелочь это! Ведь народ обесчещен, если лишен элементарной чести знать свою историю. Кто за него вступится?

«Не бойся!» — повторяет Адамович глупую шутку. Неужели непонятно теперь, что Сталина не боялись? Народ, по крайней мере, не боялся. Народ был обманут. Не без помощи его интеллигенции. Боялись единицы, и особенно те боялись, страдая животным, небожественным страхом, кто вершил палаческие дела. Не было картины всеобщего страха, которую рисуют сегодняшние историки-литераторы. И страшно поэтому само это бесстрашие — оно обман. «Не бойся!» — внушают народу те, кого самих оторопь берет. А я думаю, не дано переписывать Библию теми же методами, которыми сталинские рабы переписывали для народа исторические «законы» и саму историю.

Бойся, народ наш! — сказал бы я, если бы меня услышали. — Бойся себя и той интеллигенции, которая срослась с мафией. Бойся, народ, за судьбу своих детей. Бойся тех, кто ничего не боится. Бойся всех, кто крикливо зовет к призрачным победам. Садись, народ мой, на землю, строй свой дом, для себя и потомков, рожай детей и выращивай хлеб, иначе ты снова будешь обманут, как были обмануты иные поколения.

И каждому я бы сказал: живите счастливо, люди, и помните, всегда помните — худой мир лучше доброй ссоры! Это народная мудрость.

В. ЗАРУБИН,
рабочий,
г. Феодосия



НАШЕ ОБОЗРЕНИЕ

В НРАВСТВЕННОМ ТУМАНЕ

...Туман рассеялся, достигнута наконец высота, недавно еще недоступная; внизу белое марево, а перед глазами необъятные чистые дали, и видно все как на ладони. Кому из бывавших в горах не приходилось пережить подобное?

Ассоциация возникла внезапно, как и поразила меня четкость формулировки: «Необходимо восстановить в правах общечеловеческую мораль» (Николай Амосов. «Реальности, идеалы и модели». — «Литературная газета», 3 октября 1988 года). Будь я директором Дворца молодежи, выбил бы над порталом эти мудрые слова, дабы читал их каждый входящий.

Радуюсь вдвойне; за нас всех, что сказана наконец правда, и за «Литературную газету» в особенности: идет она в ногу с перестройкой, не отставая ни на шаг, но и не забегая вперед. Года полтора назад редакция заказала мне статью, где я сказал о морали нечто подобное. Статью отвергли по причине несвоевременности и на прощанье задали вопрос: «А как быть с классовым подходом к морали?»

Ответ несложен: оставить его в покое. Перефразируя известный афоризм Гёте, могу сказать: не все сущее делится на классы без остатка. Помимо классовых, общество знает личные, групповые, общечеловеческие отношения. Мораль — из области последних. Существуют единые для всех людей, абсолютные, вечные нормы поведения. Маркс назвал их — «простые законы нравственности». Об одном из них — запрете самоубийства — пойдет далее речь. Материал для размышлений дала повесть В. Быкова «В тумане». Но это не рецензия в обычном смысле. Скорее критический отклик на появившиеся рецензии, восторженно единодушные в своих оценках. Читаю и недоумеваю: чем восторгаются? Перечитываю внимательно, делаю невероятные допущения, и все равно — концы с концами не сходятся.

Действие, как обычно в последних вещах Быкова, происходит в оккупированной немцами Белоруссии. Бригада рабочих, ремонтирующих железнодорожный путь, решает устроить «тарарам», как выразился один из них, и развинчивает рельсы. В отличие от чеховского Злоумышленника они знают, чем это кончится, знают также — и это главное, — что на данном участке скрыть причину крушения будет невозможно. И все же они совершают диверсию. И естественно, оказываются в руках СД. Будем считать, что ненависть к врагу оказалась сильнее соображения безопасности. Тем более что оставалась надежда: «все как-нибудь обойдется».

В застенке, несмотря на пытки, никто не раскололся. Бригадир путейцев Сущеня отвергает предложение сотрудничать с немцами. И тем не менее остается в живых. Других повесили, а его отпустили домой. Будем считать, что вежливый доктор Гроссмайер, который вел допрос, задумал коварную игру: если Сущеня связан с партизанами, то эта связь обнаружится, а если нет, то эта связь возникнет. В любом случае на него будут смотреть как на предателя. Надо только следить за Сущеней, как за подсадной уткой. Автор на это намекает.

Как было задумано, так и получилось. Жители поселка перестали здороваться с Сущеней: «Это он подбял мужиков на диверсию и сам же их выдал». Четырехлетний сын задал вопрос: «Папка, а ты предатель?», и жена стала на него поглядывать «иначе, чем прежде. Начала плакать без всякой причины». А однажды даже заявила: «Лучше бы они тебя там повесили». Странным образом Сущеня с ней соглашается. Будем считать, что обстановка взаимного недоверия, царившая в нашей стране в сталинские времена, особенно в годы войны, настолько извратила сознание, что один факт пребывания в руках врага (а тем более если удалось выбраться живым) превращал человека в изменника — не только в глазах других, но и в своих собственных.

Вести о предательстве дошли до партизан, и «командиры в отряде, посоветовавшись, приняли решение» казнить Сущеню. Именно такого решения, видимо, ждали и немцы. Будем считать, что партизаны рассчитывали на внезапность своего появлении, быстроту расправы и возможность скрыться.

Однако исполнители приговора Буров и Войтик ведут себя иначе. То ли они не получили соответствующих инструкций, то ли нарушают их, этого мы не знаем. Только они не спешат. Войтик остается с лошадьми у дровокольни, а Буров, знавший Сущеню в лицо, входит в дом, предварительно спросив разрешение у хозяина «(Можно к вам?»). Начинается беседа. Сначала с сынишкой, потом с отцом. А затем с матерью, которая оказывается соученицей Бурова по школе. Убить человека на глазах семьи оказывается невозможным, и Буров уводит хозяина, захватившего лопату, убедив свою однокашницу, что они идут по какому-то делу. На все это ушло полчаса.

На болоте тоже нельзя расстреливать:

«— Ну что вы, братцы! Берег же весной заливает, торфяник тут...

— А ты что, песочка захотел? — без определенного, однако, намерения сказал Буров.

— А хотя бы и песочка! Все-таки лучше, сам понимаешь. Придется же когда-нибудь и самому...

— Песочка? — сказал Буров, подумав. — Ну ладно, поехали. В сосняке — там песок».

На бугре, где песчаный грунт, Сущеня роет себе могилу. А Буров размышляет о том, как убить предателя: «...выстрелить в него в яме или над ямой? Стрелять в грудь или в затылок? Как удобнее? Или, может, спросить у самого — на выбор. Буров хотел, чтобы все обошлось по-хорошему, без ругани и издевки». Так проходит еще час.

Странно ведет себя и напарник Бурова Войтик. Его теперь оставили наблюдать за дорогой. Войтик понимает, что все происходит не так, как надо, «что Буров что-то мудрит и лукавит», но не решается перечить старшему, зная его крутой нрав. Будем считать, что Войтик ведет себя так по глупости или по трусости (эти его качества нам потом опишут). Войтик думает даже, что Буров сам копает могилу предателю: «Гляди, еще станет лапником ее выстилать, как тот Поливанов, когда расстреливал своего дружка Шургачева за проявленную трусость в бою. Эти двое лейтенантов из окруженцев недавно пришли в отряд, и вот в первом же бою с Книговским гарнизоном Шургачев из трусости удрал из-под огня, тем самым подставив под огонь первый взвод. Взвод, конечно, выбило наполовину, ну, командиры и решили, чтобы сам взводный исполнил приговор, который Шургачеву вынес отряд. Поливанов приговор исполнил, но выстелил дно могилы лапником, чтобы уютнее было дружку, с которым они, говорят, хватили лиха на фронте». Такие нравы в этом партизанском отряде.

А между тем полицаи, проворонившие партизан на подступах к поселку, теперь спохватились. Начинается стрельба, в результате Буров тяжело ранен. Он спасается бегством, как и другие участники этого опасного мероприятия. Сущеня случайно наталкивается в лесу на лежащего без сознания Бурова, поднимает и тащит его. Куда? Очевидно, в партизанский отряд, где его приговорили к смерти. Вскоре обнаруживается и Войтик. Но здоровик Сущеня по-прежнему один тащит Бурова. И когда тот умирает, продолжает нести мертвого.

Войтик, о котором мы все больше и больше узнаем разного рода мерзостей, думает о том, что пришла пора прикончить Сущеню, поведение которого ему совершенно непонятно, а приказ об убийстве никто не отменял. Буров, правда, успел перед смертью сказать: «Не трогай Сущеню», но с этим в отрнд являться нельзя, Сущеню надо убить. Вот переберутся через шоссе, и он выполнит принятое решение. Но тут опять происходит встреча с полицаями, Войтик гибнет. Сущеня остается один.

Что делать? «Жить по совести, как все, на равных с людьми он больше не мог, а без совести он не хотел. У него была жена, много родни, подрастал сынок Гришутка, как можно было пятнать их судьбы? А не запятнать стало, наверное, уже невозмож-

но. Наперекор своему желанию, всем своим усилиям. Что же ему оставалось?.. Немец Гроссмайер исковеркал его судьбу, но не победил его. Его вольная воля — может, то единственное, что в нем осталось никому не подвластным. Все-таки он умрет по своему выбору».

Что это, авторские рассуждения или просто пересказ внутреннего монолога? Возникает недопустимая двусмысленность. Похоже на то, что Быков прославляет поступок своего героя. Критика именно так его и поняла. Между тем, убив себя, Сущеня как бы выдает свою нечистую совесть, признает причастность к предательству и к гибели двух партизан. Смыть подозрение можно только борьбой, тем более что в нагане Сущени, доставшемся ему от Бурова, осталась нерастраченная обойма. Будем считать, что в состоянии шока Сущеня не может рассуждать последовательно и гибнет, проявив слабость духа, совершив прямо противоположное тому, что следовало делать.

При известных допущениях действия героев повести психологически оправданы. К тому же мы знаем, что современный писатель обладает правом создавать заведомо неправдоподобные ситуации, искусственные, порой абсурдные конструкции, если это помогает ярче выявить и донести до читателя какую-либо философскую мысль. Будем считать, что перед нами философская проза. Ведь и название повести «В тумане» не следует трактовать буквально, отнеся его лишь к атмосферным явлениям. Туман, о котором в повести идет речь, не мешает героям ориентироваться на местности, даже Войтику, выходцу из другой округи. Туман, в котором плутают Войтик, Буров, Сущеня, — нравственного порядка. (Беда, что в этот туман вовлекают читателя. Тут я не нахожу оправданий для автора!)

У Войтика, собственно, никаких проблем нет. Это типичный «человек тридцатых годов», приученный плыть по течению и думать только о том, чтобы остаться на поверхности. А если рядом тонут другие — то так и надо, туда им дорога. Этот нравственный тип давно распознали наши прозаики и без труда средствами гротеска и иронии выводят его на чистую воду.

Сложнее с Буровым. Тут явный анахронизм. Феномен пробуждающейся совести (как социальное явление) заимствован из послесталинских времен, когда началась реабилитация безвинно репрессированных, когда стало ясно, что не всякий полученный «сверху» приказ надлежит выполнять без рассуждений, что бывают и просчеты руководства, и ошибки общественного мнения; когда заговорили не о кадрах, а о человеческом факторе, возник интерес не только к социальному, но к индивидуальному.

Сложнее всего проблема Сущени. Ложное обвинение и неправедный суд, как вести себя при этом? Проблема не новая, но по-прежнему актуальная. К ней не раз обращался Достоевский, рассматривая ее с различных точек зрения. Один из вариантов — заложенное в «русской душе» стремление пострадать, пусть даже невинно. Помните мастерового Миколку в «Преступлении и наказании», на которого пало подозрение в убийстве старухи и который взял на себя вину Раскольникова? Нет, Сущеня не из таких; он думает о жене и сыне, об их репутации и сам на себя клеветать не станет.

Есть у Достоевского и Митя Карамазов, приговоренный не партизанским самосудом, а судом присяжных к каторжным работам за несовершенное им убийство отца. Человек беспутный, он держится все же стойко, о самоубийстве не думает, хотя и предвидит возможность трагического конца (если конвойные станут его бить, он не стерпит, окажет сопротивление, и его расстреляют); главные помыслы Мити — бежать с каторги (в Америку — с тем, чтобы потом вернуться неузнанным в Россию и умереть на родной земле). Пусть люди считают его убийцей, перед высшей правдой (своей совестью) он чист.

У Сущени нет представления о более высоком суде, чем суд людской. Раз улики против него, значит, дело безнадежное. Для него существует, выражаясь философским языком, лишь корпоративная нравственность, а не абсолютная мораль. Общественное мнение он принимает за суд совести. Он думает, что совершает свободный выбор, на самом деле действует под давлением обстоятельств.

Известен афоризм: всякая власть разлагает, абсолютная власть разлагает абсолютно. Но это относится только к политике. В сфере этики абсолютная власть морального закона необходима. Именно она дает в критические моменты те силы, которые нельзя почерпнуть из нравственных представлений, построенных на групповых интересах. Кант называл это категорическим императивом. Русская классика облекла эту идею в художественную форму. Читатель, воспитанный на Пушкине, Достоевском, Толстом, не ошибется выводом.

Запрет самоубийства абсолютен. Для Достоевского самоубийство — «своеволие в самом полном пункте». Для Канта «лишение себя жизни есть преступление (убийство)». Выдвинув этот тезис, Кант как диалектик риторически ставит перед собой «казуистические вопросы»: самоубийство ли идти на верную смерть ради спасения отечества? Допустим ли добровольный уход из жизни для безнадежного больного? Следует ли винить за самоубийство воина, не желающего попасть в плен? Вопросы эти Кант оставляет без ответа, но они красноречиво свидетельствуют о противоречиях жизни. Мораль не должна приспосабливаться к противоречиям, она дает безусловные опоры, которые могут зашататься лишь в кризисной ситуации. Норма и кризис — разные вещи.

Быков повествует как раз о кризисной ситуации: «в тумане» — это когда исчезли ориентиры, пропали в той атмосфере взаимного недоверия, которая порождена была беззакониями и террором еще в предвоенные годы. И закономерно возникает вопрос: почему так получилось? Развенчать Сталина, назвать его злодеем, карикатурно изобразить его еще не значит объяснить пережитую народом трагедию. Сталин — не только причина, он и следствие определенной ситуации, когда (как в Чернобыле) оказались отключенными предохранительные механизмы, препятствующие катастрофе, в данном случае — бесконтрольному произволу.

Что несчастный работяга, загнанный в тупик Сущеня! Лучшие поэты не видели для себя иного выхода, кроме самоубийства. О том, что и в прошлом веке люди накладывали на себя руки, мы знаем из литературных произведений (Смердяков, Кириллов, Ставрогин). Там — созданные фантазией писателя моральные отщепенцы и больные люди, здесь — властители дум. И не только поэты. Что произошло? Откуда деградация?

«История — Страшный суд». Шиллер, которому принадлежит этот афоризм, имел в виду не свирепость наказания, наоборот, суд истории удивительно милосерден: люди в конце концов примиряются с прошлым; речь идет только о масштабах, о полноте расследования: в истории нет ничего тайного, рано или поздно все становится явным, все называется своими именами. И дело не в проклятиях, посылаемых задним числом преступнику, важнее — меры по ликвидации последствий и причин преступления. Важен не сам приговор; пожалуй, в первую очередь — частное определение, указывающее на истоки беды, на условия, породившие правонарушение. История судит, но и воспитывает, не только анализирует прошлое, но синтезирует будущее.

Писатель — человек, вторгающийся в эмоциональную сферу, прибегающий к продуктивной силе творческого воображения, — в особом ответе за то, чтобы история давала представление о нормах и обязанностях, опираясь на опыт прошлого, воссоздавала образ будущего. «Пушкин — это русский человек, каким он, может быть, явится через двести лет», — говорил Гоголь. Прошло полтора столетия после гибели поэта, и мы видим в нем нашего великого современника, учителя жизни; он значит для нас больше, чем для тех, кто жил в его время. Пушкин и другие классики — наш нравственный и художественный горизонт.

Горизонт перед нами, мы стремимся к нему, но он остается недосягаемым, а для иных и вовсе пропадает в тумане. Человек не все может, иногда он не может ничего — уверяет критик В. Оскоцкий, разбирая повесть «В тумане». «И тогда единственное, что остается ему — вольная воля умереть «по своему выбору» («Новый мир», 1988, № 2, с. 235). Оскоцкий, увы, неоригинален. Рецензент журнала «Знамя» (1987, № 11, с. 228) видит в поступке Сущени «нравственное величие — скромное, жертвенное... Умирает он по собственному выбору. Это была его победа». И рецензент «Октября» (1987, № 12, с. 180) склоняется к такой же трактовке, и рецензент «Нашего современника» (1987, № 12, с. 163).

Единодушие критиков, поверивших Быкову, не радует: трактовка проблемы, встающей со страниц повести, представляется односторонней, недостаточной. Мало заклеймить беззакония сталинских времен: ссылками на них можно объяснить аморальный поступок, но не оправдать его. И тем более нет необходимости его возвеличивать. Когда родственники невинно репрессированного в страхе за собственную жизнь отреклись от него, они были достойны жалости, и даже задним числом их трудно осудить, но героики в их поведении не было никакой. Только слабость.

Требования морали абсолютны. К их числу относится и запрет самоубийства.

Этот запрет вырастает сегодня в глобальную проблему, приобретает всемирно-историческое, можно сказать, космическое значение. Сегодня человечество обрело ужасающую возможность лишить себя жизни. Допустить такое нельзя, тут нет исключений, отпадает любая казуистика. Пять миллиардов разумных существ, тысячелетиями созданная культура — абсолют, перед которым можно только благоговеть, на который нельзя поднять руку. Человечеству определено жить. Двусмысленности здесь недопустимы.

Арсений ГУЛЫГА

ПОЭЗИЯ И ПРАВДА

В журнальной прозе, да и вообще в печати Юрию Полякову первому удалось сказать слово правды о такой закрытой прежде области жизни, как армия.

Повесть «Сто дней до приказа» вызвала разноречивые отклики, и любопытно, что практически все они касались именно смыслового пласта ее. О художественной стороне никто не говорил.

Видимо, и самого автора более всего занимало желание высказать все то, что накопилось у него на душе. Во всяком случае, в своих многочисленных выступлениях по телевидению и в печати Юрий Поляков неоднократно останавливался именно на фактах, которые освещены в его повести, и на подробностях публикации ее, которые к собственно художественному качеству, понятно, отношения не имеют.

«Армия долгое время оставалась для нашей словесности землей неизведанной, несмотря на то, что существуют горы воениздатовской литературы, изображающей сегодняшнюю армейскую жизнь так, как она видится задремавшему в дачном гамаке штабному генералу, — настроившись на волну гласности, в газете «Книжное обозрение» говорит сам Юрий Поляков. — А спросите у настоящего строевого офицера или солдата, что они думают о таких книгах, и вам долго придется подыскивать смягчающие синонимы для того, чтобы обнародовать их краткие и содержательные оценки».

И желание автора сказать новое слово, раскрыть правду, постичь истинное положение вещей, разумеется, не может не радовать.

Сюжет повести прост. Глазами рядового Купряшина, отслужившего полтора года и вступившего в возраст «старика», мы наблюдаем конфликт старослужащего, ефрейтора Зубова, по прозвищу Зуб, и молодого солдата Серафима Елина. Вокруг этого конфликта группируются как события, так и персонажи повести, выстраивающиеся по разные стороны главной баррикады — отношения к той неписаной иерархии, которую в армии исчерпывающе - неопределенно именуют «неуставными

Ю. Поляков. «Сто дней до приказа», М., «Современник», 1988.

взаимоотношениями». Купряшин, второе «я» автора, своего рода Вергилием, водит нас по кругам армейской действительности, пытаясь найти ответ на возникший перед ним вопрос: что ему теперь делать? Как помочь Елину?

Скрытый конфликт разрастается и становится явным для майора Осокина, который зорким замполитским глазом подмечает оторванные с корнем пуговицы на гимнастерке Елина и сразу догадывается, кто был тому причиной. Зуб получает взбучку от комбата Уварова за то, что не смог «воспитывать» молодых так, чтоб начальство оставалось в неведении, и, взбешенный, накидывается на уже было «прощенного» Елина. Купряшин встает между «салагой» и Зубовым, за каковое нарушение субординации его разжалуют из «стариков».

Ночью роту поднимают по тревоге: Елин, опасаясь неминуемой расправы, покинул расположение батальона.

Как видим, уже в самом сюжете Юрий Поляков развертывает перед нами совсем иную картину, нежели рассказы в армейских журналах о «передовиках» и «разгильдяях». Причем автор пробует и разобраться в происходящем. Вот, к примеру, какой диалог происходит между майором Осокиным и старшим лейтенантом Уваровым.

«— Виктор Иванович, а неужели вы думаете, что приказами сверху можно вытравить то, что у солдат в крови... Я считаю так: если «дедовщина», несмотря на всю борьбу с ней, существует, значит, это нужно армии как живому организму. Так везде.

— Значит, стихийное творчество масс?

— Да, если хотите... Умный командир не борется со «стариками», а ставит неуставные законы казармы себе на службу...».

Можно только поприветствовать попытки «диалектики», применяемые автором для исследования «неуставных взаимоотношений». Однако Ю. Поляков весьма непоследователен в этих попытках. Тот же Уваров вдруг оказывается сыном генерал-лейтенанта, всплывает его намерение поступить в академию, и, уж совсем в духе штабных аттестаций, даже в семейной жизни старшего лейтенанта, как выясняется, не все благополучно... Все становится на свои места — Уваров, с его презрением к личному составу и сшитой в столичном спецателье фуражкой, — обычный папенькин сынок и приспособленец. И вопрос — очень важный, — являются ли неуставные взаимоотношения следствием каких-то объективных закономерностей, оказывается снятым, так как звучит из уст негодяя.

Подобная омертвляющая односторонность проявилась и в разработке других образов повести. Однако при всей их узнаваемости и отличии от перетянутых ремнями мужественных индивидов на плакатах по строевой подготовке герои повести говорят и действуют на удивление однообразно. В стремлении уйти от одного плакатного штампа Поляков незаметно впадает в другую крайность.

В самом деле, Зубов у него «огрызается», «оскаливается», «задыхается от ненависти», «орет» и «шипит»; Уваров «брезгливо цедит», «ядовито усмехается»; Елин говорит «чуть слышно», «безнадежно отвечает»... Ефрейтор Шарипов, два года назад не могший произнести и слова по-русски, выражается так: «Можешь ему свою дембельскую шинель подарить, она ему раньше, чем тебе, понадобится» или: «Тебя, как отца двух детей, амнистируют».

Все это приводит к тому, что сама проблема неуставных взаимоотношений, поднятая Поляковым, приобретает такой же легковесный характер.

Лейтенант Косулич, произносящий здравую речь о том, что «дело тут посложней... разделение на возрастные касты было во все времена характерно для замкнутых коллективов», тут же предстает перед нами типичным функционером («...Поэтому давайте-ка проведем комсомольское собрание с повесткой «Армейский комсомол — воспитатель молодого поколения»)...

Пытаясь найти вместе с Купряшиным те корни, из которых эти неуставные взаимоотношения выросли, мы слышим мнение рядового Чернецкого: «На словах у нас одна справедливость, а в жизни — совсем другая! Ты думаешь, люди на «стариков» и «салаг» только в армии делятся? Ошибаешься. Разуй глаза: эти на работу пешком шлепают, а те в черных бугровозах ездят, эти в очередях давятся, а те в спецсекциях отовариваются... Вот так!»

Оказывается, корень зла в нарушении принципа социальной справедливости — проблема сводится к издержкам «эпохи застоя».

Между тем интересно мнение о «стариковстве» тех молодых людей, которые занимают промежуточную позицию между Зубом и Елиным. Например, сержанта Титаренко — от него мы могли бы услышать нечто своеобразное, более ценное, нежели крайние, а потому и односторонние заявления Зуба и Елина. Ю. Поляковым совсем не затронута любопытнейшая черта армейской жизни: часто возникающая дружба «стариков» с «салагами», увольняющихся в запас с только что призванными. Мучают молодых солдат обыкновенно только вступившие в полосу «стариковства», еще не насладившиеся сладостью и дурманом власти «лимоны», или, по-другому, «черпаки».

Или такой момент: автор удивляется бездействию во время экзекуции Елина могучего Аболтыньша, который «мог бы хорошим ударом красного, в цыпках и трещинах, кулака вбить Зуба в пол по уши». Да зачастую и сами молодые солдаты ненавидят выступившего против неуставного порядка однопризывника! Ведь неуставный порядок предполагает не только избиение молодежи и обрывание пуговиц на гимнастерке. Неуставный порядок — это и сладостные десять минут лежания в кровати после подъема, и приготовление плова по ночам и прочее. Логика очень проста — если не хочешь вскакивать каждое утро и все «730» (суток) наворачивать «шрапнель» — включайся в правила игры.

Сентенции же Купряшина вроде: «Сначала мы сами придумываем свинство, а потом от него же мучаемся» или: «Мы, чтоб жить спокойно, часто двигаем на трибуны трепачей, вроде Хитрука, а потом жалуемся, будто ничего не меняется» — и жутковаты, как обвинение в рабстве самих рабов, и плоски, и к художественной литературе имеют отношение, скажем прямо, сомнительное. Однако они в

изобилии разбросаны на страницах повести.

Может быть, чувствуя сюжетную рыхлость, когда центр тяжести повести лежит вне сюжета, Ю. Поляков старается придать речевому ритму повести большую насыщенность, разбивает повествование на два разновременных потока: в один вводит детективный обрамляющий элемент, связанный с поиском пропавшего Елина, другим же пользуется как каналом для передачи основного содержания повести.

Сам по себе прием этот ни хорош и ни плох. Он скорее банален. Но в данном случае возникает чувство, что без «допинга» повесть с трудом смогла бы быть прочитана. А ложная многозначительность выделенных курсивом повторений-связок между ними, превращающих повесть в грандиозный венок сонетов из 12 частей, порой просто пугает. Отдавая должное маркшейдерскому умению свести конец одной истории с началом другой, заметим, что в повествовании о трагедии молодого солдата эта уловка выглядит не очень уместной, так же как и утомляющий своим однообразием легкоиронический тон рассказа.

Но отчего все же возникла эта однобокость в изображении армии, хотя, казалось бы, в частностях мы видим «соответствие их жизненной правде»? Откуда возникает странный парадокс, когда, верная в частностях, в целом картина получается искаженной?

Оказывается, что произведение, не созданное по законам красоты, не может быть полной правдой. Иначе оно скатывается к схеме, тенденции, односторонности, а диалектика постижения жизни остается на уровне «хмурый, но добрый». И поэтому лишь там, где писательское чутье Юрия Полякова ломает изначальную заданность сюжета, в повести появляются строки, бросающие совсем иной свет на характеры и события. Так, оказывается, что «где-то в Пензе почти два года Зуба ждала девушка, его однокурсница, писала письма, наверно, любила по-настоящему». И стало быть, Зубов не просто прямолинейное чудовище, «псих-самовзвод», раз его ждут где-то в Пензе?

Видимо, невозможно существование «художественных достоинств», с одной стороны, и «соответствия жизненной правде» — с другой. Старая формула «поэзия и правда» не может быть разделена, поэзия не существует вне правды. А правда, выраженная вне художественного мышления, неминуемо теряет свою первоначальную цельность и ценность.

Михаил ШУЛЬМАН

КЛЮЧИ ЖИВОЙ ВОДЫ

Думаю, не будет преувеличением сказать, что появление книги «Парад» талантливого публициста Карема Раша — замечательное событие. При всей насыщенности книжного рынка произведениями наших современников книга эта разошлась стремительно. Ее как будто ждали. Так бывает с книгами знаменитых авторов или с детективами. В данном случае не было ни того, ни другого. Причина успеха книги у читателя в том, что уже при беглом знакомстве рождается ощущение встречи с необычным собеседником, интересно повествующем о вещах важных и значительных.

Право, об этом не стоило бы говорить, если б необычность автора сводилась к каким-то внешним эффектам, к стремлению «поиграть» с недавно еще запретными темами или поразить наше воображение заемной экзотикой. Но ничего этого нет, а есть в книге яркое личностное начало, о котором лучше всего сказать словами самого автора из повести «Поединок»: «Мы говорим о том, как остра нужда в личностях цельных... нужда в людях крупных, энергичных. Я бы их насаживал всюду, где общество надо укрепить, как сажают деревья для защиты почвы от эрозии».

Во времена навязчивой телевизионно-кассетной экспансии, захватившей, кажется, все страны и все слои населения и вызывающей у молодежи нередко удручающие духовные вывихи вроде поклонения убогому идолищу «масскульта», встреча с такой светлой книгой, как «Парад», особенно благотворна.

Книга наполнена заботой о воспитании человека и гражданина, одухотворена любовью к людям, к тому высокому в них, что является залогом и нравственным оправданием жизни на земле. Не становясь на котурны, а основываясь на своем опыте, Карем Раш рассказывает о драматических поисках «ключевой живой воды», которые должны утолить духовную жажду подрастающего поколения, с тонким лиризмом, юмором и мужской нежностью повествует о своих воспитанниках - детдомовцах, ради которых однажды оставил стены Ленинградского университета (повесть-быль «Жуланы»). Размышляя о явлениях жизни, он не дает забыть о ее вечных ценностях, таких, как благородство, красота, мужество. Эти рыцарские добродетели пылкий и наблюдательный автор замечает во многих своих современниках: близких и далеких, зрелых и самых юных.

К. Раш и путешественник, и историк, и филолог, и знаток Сибири, и, конечно же, учитель. Он обладает обостренным внутренним зрением, умением отличать мелочное и преходящее от большого и вечного, наделен твердой волей жить, не отступая от собственных идеалов. Именно поэтому, думается, в его биографических повестях нет фальши. Он может, как и всякий человек, порой заблуждаться, но никогда не опуститься до лицемерия, сознательного использования какой-либо социальной или литературной позы, демагогии, прикрывающей ничтожное содержание или бездушный расчет.

Курд по национальности, Карем Раш — глубоко преданный нашей многонациональной Родине человек. Тонкий знаток отечественной истории, ревностным, заинтересованным взглядом исследовавший многие ее страницы. Одна из главных идей книги состоит в том, что дружба, скрепившая многоязыкий народ в единый, нерушимый сплав, сильна лишь до тех пор, пока все мы верны исторически объединяющей нас всех великой России. Первая

Карем Раш. «Парад». «Советский писатель», 1987.

глава воинской повести «Парад» так и звучит — «Верность».

Кстати, всем известное слово «парад» происходит от французского parade, а последнее от латинского paro, означающего «готовлю». Есть у французского parade и сугубо фехтовальный смысл — парирование, отражение удара, защита. Вся эта цепь языковых ассоциаций для филологически образованного автора существует в слове одновременно. Торжественное шествие войск, означающее высшую готовность и высшее напряжение сил, парирование смертельно опасного выпада противника — таков многослойный смысл этой воинской повести, первоначально названной автором «Сибиряки против СС». Она-то и дала имя всей книге, обозначив исторический взгляд на молодое поколение как на потенциальных защитников Отечества, чьи мужество, честь, отвага куются в мирное время в недрах народной жизни и вблизи незамутненных «ключей живой воды».

Дмитрий МЕРКУЛОВ

Художественный редактор Г. Комаров

Техический редактор Н. Строева

Сдано в набор 19.12.88. Подп. в печ. 24.01.89. А04639. Формат 84×108 1/32. Печать высокая. Усл. печ. л. 15,12. Усл. кр.-отт. 21,0. Уч.-изд. л. 16,2. Тираж 655 000 экз. Заказ 2[illegible]9. Цена 80 коп.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». 103030, Москва, К-30, Сущевская, 21.

